

ДОЧКИ-МАТЕРИ

сборник женской прозы

Москва
Союз российских писателей
2019

ББК 82 (2 Рос=Рус) 6-4
Д71

*Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в рамках
государственной программы Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» в 2019 году*

Д71 Дочки-матери : сборник женской прозы / автор-составитель
Надежда Ажгихина. — М.: Союз российских писателей,
2019. — 400 с.

ISBN 978-5-901511-49-7

Матери воспитывают дочерей, но и дочери — в свою очередь — по-своему — воспитывают старших. Непростые, подчас драматические отношения женщин разных поколений, связанных узами родства, — не познанный пока еще материк, очертания которого только намечены. История страны пронизывает их судьбы, как незримые меридианы и параллели. Присмотримся к новым точкам на карте.

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-4

*В оформлении обложки
использована фотография Лидии Григорьевой*

ISBN 978-5-901511-49-7

© Н. И. Ажгихина, составление, 2019
© Екатерина Арт (Омельченко),
обложка, 2019

От составителей

О том, что в литературе начинается время женщин, говорили еще в последние десятилетия прошлого, XX века. Именно тогда во всех странах, на Западе и на Востоке, стали появляться новые книги, возникать новые имена. Писательницы всех континентов начали одна за другой получать самые престижные международные и национальные премии, а также занимать лидирующие позиции в издательских и читательских рейтингах, в самых разных жанрах. «Новая волна» и новые имена вызывали жаркие дискуссии, в которые, помимо литературоведов, включились философы, социологи, психологи...

Молодые русские писательницы, участницы первых сборников «новой женской прозы» на рубеже 1980—1990 годов — «Не помнящая зла», «Новые амазонки», «Женская логика» — практически ничего о заграничных спорах не знали. Но их поиск и стремление расширить границы творческого познания развивался в том же направлении. И это лишний раз подтвердило всеобщность закономерностей движения литературного процесса, а также верность давнего тезиса Лидии Гинзбург о неизбежном «расширении литературы», которая вбирает в себя все новые голоса и формы.

Сегодня о женском творчестве написаны тома, проходят серьезные академические дискуссии, создаются университетские курсы, в том числе и в России.

А женщины продолжают раздвигать границы привычных представлений о мире, привносят в разговор о вечном и сиюминутном все новые краски, нюансы, детали.

Сборников женской прозы за последние тридцать лет в России вышло несколько десятков, самых разных. Премия имени Анны Ахматовой, учрежденная Союзом российских

писателей в 2012 году совместно с Союзом журналистов России, стала важным событием в культурной жизни страны.

Когда Союз российских писателей выпустил двухтомник «Я научила женщин говорить...», стало ясно, что голоса женщин — не куртуазная виньетка, но неотъемлемая составляющая современной отечественной литературы, без них современный ландшафт не полон, что в нашей огромной и разной стране писательницы разных поколений проторяют дорогу новому знанию и пониманию мира, уверенно чувствуя себя в многообразии форм, отмечая важнейшие приметы быстроменяющейся жизни, быта и бытия... Примечательно, что в сборнике приняли участие не только авторы разных поколений, но также пишущие матери и дочери: Нина Веселова и Анастасия Астафьева, Татьяна и Аглая Набатниковы, Светлана Мосова и Арина Обух, Валентина Кизило и Елизавета Разинкина... Как говорится, привет светлой памяти великих британских писательниц Мэри Уолстонкрафт (матери) и Мэри Шелли (дочери), основоположниц «женской линии» британской литературы... Двухтомник дал живой импульс многим писательницам в самых разных городах и регионах страны.

Новый проект СРП в значительной мере — его продолжение. Но не только. Наметившаяся коллизия «матери — дочери», восходящая к знаменитым британкам, выходит далеко за пределы чисто биографических рамок, побуждает внимательнее присмотреться к трансформации женского опыта и его интерпретации в целом, увидеть ускользающие приметы эпох и традиций, знаки нового осмысления материнства и родства, воспитания чувств и преодоления несовершенства и стремления к идеалу в стремительном меняющемся мире. Матери воспитывают дочерей, но и дочери — в свою очередь — по-своему — воспитывают старших. Непростые, подчас драматические отношения женщин разных поколений, связанных узами родства, — не познанный пока еще материк, очертания которого только намечены. История страны пронизывает их судьбы, как незримые меридианы и параллели. Присмотримся к новым точкам на карте.

Надежда Ажгихина

Мама и парад Победы

Мама и парад Победы

Сегодня (9 мая) возила маму и нашу соседку тетю Галю (им обеим по 87 лет) как участников войны на парад Победы. Парад проходил на площади Королёва. Их посадили на трибуну, где сидели ветераны войны. Потом пригласили в кафе, налили фронтовые сто грамм, которые они одолеть, конечно, не смогли. Надарили им цветов, пели песни военных лет, сфотографировались с генералом, одним из основателей ракетного полигона Капустин Яр. Вернулись очень довольные.

Мама, Василенко Мария Савельевна, встретила войну 15-летней девчонкой в совхозе «Красная заря» Боковского района Ростовской области. Через год туда пришли немцы. На соседнем хуторе, где жила родная тетка мамы — безногая тетка Харита скрывались наши советские разведчики. Они совершали диверсии в тылу врага: пускали под откос поезда, взрывали военные объекты, перерезали электрические провода. Все это они описывали в своем дневнике.

Мама с младшей сестренкой Мариной носила им на хутор еду. Однажды, когда она шла обратно, ее догнал на телеге староста, назначенный немцами, и пригласил подвезти до дома. Между разговором он сказал: «Девочка, а что это у твоей тетки солдатские гимнастерки на веревке сушатся? Или она совсем ничего не боится? Немцы же придут, проверят». Мама отговорила тем, что ничего не знает.

В ту же ночь арестовали всех разведчиков вместе с теткой Харитой и маму. Отправили их в тюрьму в горо-

де Миллерово в той же Ростовской области. Сначала маму посадили в одиночку, потом пытали (сжимали железным обручем голову, засовывали пистолет в рот, грозя пристрелить), заставляли ее рассказать о том, что она знает о разведчиках и чем она им помогала. Мама молчала. Она уже из газет знала о Зое Космодемьянской и хотела быть, как она. Однажды на допрос притащили безногую тетку Хариту. Та пронзительно кричала немцам: «Делайте со мной, что хотите, только дэтыну не трогайте!» Тетку Хариту в тот же день расстреляли. Харитина Ивановна Василенко похоронена в братской могиле, которая находится в городе Миллерово.

Мама случайно в тюремном коридоре увиделась и с одним из разведчиков — Сашей. Он дал ей припрятанный в кармане хлеб и сказал, что они во всем признались, так как немцы нашли их дневник, где были описаны все их действия. Там же было написано и о маме, что она приносила им еду. Маме сказали, что всех разведчиков расстреляли. Сашу тоже расстреляли, но мама до сих пор верит, что он жив.

Маму же отправили в концлагерь для политических пленнх под Миллерово. Уже нашей победой закончилась Сталинградская битва и началось наступление на запад. Там, в лагере, мама вместе с другими узниками выходила в степь и под пулями копала могилы для убитых немцев. Однажды увидели в небе воздушный бой двух самолетов — нашего с немецким. Наш самолет этот бой выиграл, и мама с другими пленными громко радовалась этому. Один из пленнх, пожилой мужчина, их остерег, мол, немцы увидят, тише, молодежь.

В один из дней прилетели советские самолеты и начали бомбить Миллерово. В городе и лагере началась паника. Немцы и румыны бежали из города на грузовиках и автомобилях. Лагерь на время остался без охраны и многие пленные стали разбегаться. Мама с одной из девушек, с которой сдружилась уже в лагере, тоже бежала. Девушку звали Женей, она была старше мамы на восемь лет и была коммунисткой. Она жила в станице Вё-

шенской, им с мамой было в одну сторону, и они решили добираться вместе.

Был февраль, шли, обходя населенные пункты стороной, скрываясь от немцев. Ночью попросились в одну из хат станицы. Хозяйка дверь не открыла, стала их прогонять. Но мама с Женей очень устали, замерзли, оголодали, сил идти дальше у них не было. Они сели, укрывшись лагерным одеялом, которое взяли с собой, на ступеньки крыльца и решили здесь заночевать. Но начала брехать хозяйская собака. Через какое-то время хозяйка вышла вновь, вынесла им поесть и попросила уйти, иначе расстреляют семью. Делать нечего, пошли дальше.

Видимо, от безысходности Женя предложила зайти к ее брату, полицаяу, который жил в этой станице. Женя считала, что брат сестру не выдаст. Мама сомневалась, но деваться было некуда: или замерзнуть, или идти к брату Жени. Брат их встретил приветливо, Женю напоил чаем. Мама как стояла на пороге, так и осталась стоять. Ей чаю не предложили, и она мучительно завидовала Жене. Брат расспрашивал сестру про жизнь в лагере, сочувствовал, а сам послал сына за немцами, и через полчаса за мамой и Женей пришли полицай и арестовали их. Их отвезли опять в Миллерово, но уже не в лагерь, а в ту тюрьму, где мама сидела сначала.

После Сталинградской битвы румыны стали относиться к узникам тюрьмы лучше, даже заискивали перед ними, говорили, что они не виноваты в развязывании войны, кормили галетами. Потом началась битва за Миллерово, которая продолжалась трое суток. И румынские, и немецкие охранники тюрьмы сбежали, мама с другими узниками сидела трое суток голодная, не зная, что будет дальше. Слышались только разрывы гранат, свист пуль, артиллерийские залпы. Наконец, двери тюрьмы открылись: на пороге стояли наши, русские советские солдаты! Сколько было радости! Каждому узнику солдаты раздавали немецкие галеты и выпустили на свободу.

Мама с Женей опять пошли домой вместе, везли домой санки с галетами. По дороге их подвез грузовик. Сначала водитель отвез маму до «Красной зари», потом

повез Женю до Вёшенской. Отец мамы, мой дед Савва, страшно плакал, увидев маму живой и невредимой: он думал, что ее расстреляли.

После войны мама закончила строительный техникум в городе Ворошиловграде (ныне город Луганск) и была направлена в Астраханскую область — в молодой строящийся военный город Капустин Яр. Работала в КЭУ инженером, отвечала за водоснабжение города и ракетных площадок. Ее называли Маша Холодная, так как она заведовала холодной водой. А была еще Маша Горячая, та заведовала соответственно водой горячей. Мама гордится тем, что вместе с другими построила наш удивительный, вечно молодой Знаменск.

Скворцы прилетели!

В Астраханской области не тепло, а по-летнему жарко. Словно доказывая себе и миру после столь холодной зимы, что выжили, живы, разом начали цвести в саду вишни, яблони, расцвели тюльпаны, ландыши, сирень.

Муж по моей просьбе смастерил два скворечника, один привязали к вишне, другой — к яблоне. На другой день в скворечниках поселились скворцы. Три дня они, сидя чуть выше скворечников, пели брачные песни (или песни новоселов).

Мама после перенесенного инсульта в свои 86 лет обошла с палочкой весь наш цветущий сад и осталась очень довольна. Однажды в письме астраханскому начальству, где она просила провести в дом газ и воду, она написала: «Я вместе со своим народом победила в войне (была партизанкой), построила в степи город (ракетный полигон Капустин Яр), воспитала дочь-писательницу (то есть меня) и вырастила сад». Вот так: для нее Победа, Город, Дочь и Сад — как главные свершения жизни.

Сегодня скворцы устав от собственных песен, начали деловито таскать в домики разные прутики — стали гнездиться.

Весна, сад, счастье.

Маринка

Мама после инсульта путает, кто жив, а кто нет. Спрашивает у меня. Я говорю ей, что тот или эта умерли. Мама недоверчиво смотрит на меня. «И Вовка?» — спрашивает мама. «И Вовка», — отвечаю я. Вовка — это мой отец, которого она любила всю свою жизнь. Мама замолкает. А потом через день опять спрашивает.

Вот и сегодня. Зашла соседка Надя. Разговариваем о том о сём. А мама все невзначай нас среди разговора спрашивала, мол, где же Маринка? Соседка не понимала, что за Маринка. Но потом сказала, что, видимо, мама ее дочку Лену называет Маринкой. Но я-то знаю, что это пунктик такой появился недавно у мамы насчет девочки Маринки, которая живет якобы с нами. И мама все время беспокоится, что Маринка эта то ушла, то спит, то еще что-нибудь с ней происходит. Может быть, это ее умершая в этом году сестра, а моя тетя Марина, теперь девочкой у нас в доме поселилась? И мама ее видит, а я нет? Например, недавно она спросила, где ее тетка Харыта. Я ей сказала, что тетку Харыту расстреляли немцы во время войны. Но мама твердо и уверенно мне сказала, что тетка Харыта жива. Я уж не посмела ее разубеждать. То есть она всех мертвых видит живыми. Может быть, оно так и есть, и ей они видимы. Ведь все живы у Бога. А значит, просто живы.

Белые туфли

Нашей соседке, тете Гале, в августе исполнилось 88 лет. А моей маме 87 с половиной. И вот они соревнуются: кто из них проживет дольше. Причем мама о смерти говорить не любит. Тетя Галя же напротив, любит пропеть в конце застолья в честь своего дня рождения, куда приглашаются старушки из соседних домов и улиц: «Эх! Пить будем, гулять будем! А смерть придет — по-

мирать будем!» Собравшиеся старушки машут на нее руками: типун, мол, тебе на язык, Галина Васильевна! А тетя Галя помолчит-помолчит, потом добавит: «Смерть придет — меня дома не найдет! А найдет в кабаке — с поллитровочкой в руке! За нее, родимую, и выпьем на посошок!» Эта песенная добавочка всем нравится, разрямянившиеся старушки расходятся довольные.

Причем о смерти тете Гале говорить рано: она бодра, разумна, у нее прекрасная память, она шьет, вяжет, содержит дом в чистоте, готовит и по субботам два раза в месяц ездит со мной на такси в городскую баню, парится в парилке с веником долго, дольше всех. Любит тетя Галя прийти к нам в гости вечером, когда ее дочка Света уйдет на работу в ночную смену, и поговорить о «смертном» — об одежде, которую припасла себе на смерть. Платье она заказала у портнихи на резиночке — чтобы одевать ее, тетю Галю, мертвую, было бы удобно. Хвасталась, что уже купила ритуальные трусы, рейтузы, майку, белые гольфы. Загвоздка была одна — не было туфель на смерть. И вот однажды на воскресном базаре она, наконец-то, купила белые туфли. Радостно рассказывала мне и маме, какие эти туфли красивые, белые: не в гроб ложись, а на свадьбу в них невестой беги.

И вот прошло полгода и вдруг тетя Галя приходит к нам в гости с этими самыми белыми туфлями: мол, малы стали, ноги у нее распухли. И не подойдут ли ее белые смертные туфли Савельевне — моей маме? Я обмерла вся. И моя подруга Юля, которая к нам приехала из Калмыкии, тоже. Ведь примета-то плохая! Мама болеет, лежит, не встает, а тут ей смертные туфли приносят и просят примерить. Но вида не подаю. Беру у тети Гали туфли и с остановившимся сердцем подхожу с ними к маме. Держу их в руках, как смерть. Меряю. Туфли маме малы! Я облегченно выдыхаю, нервно смеюсь и радостно кричу: «Туфли маме малы!» Тетя Галя огорчена: что же ей с ними делать? Мы советуем ей пойти на базар и отдать тем, у кого она их купила. И когда тетя Галя уходит, вечер мы с подругой и мамой проводим празднично:

радостно бродим по дому, целуем маму в щеки, произносим «белые туфли!» и невпопад хохочем. Мама впервые за время своей болезни смеется тоже.

Доктор

В нашей городской бане по субботам собирается цвет города: врачихи, учительницы, солдатки-контрактницы, торговки, ипэ (индивидуальные предпринимательницы). Здесь можно узнать обо всем. Сегодня говорили, естественно, о гречке. Потом перешли на дела больничные. И вот рассказали про местного доктора-невропатолога. Он всем пациентам своего отделения, преимущественно инсультникам, выписывает один рецепт: на завтрак — орех, на обед — тоже орех, на ужин — орех снова. Однажды приехал по вызову, увидел у той на тумбочке суп с мясом, скривился весь: вы трупы едите, я с такими не разговариваю, — и на выход. Дочь больной его догнала, амбразуру двери собой закрыла, не выпускает доктора. Говорит, это не мясо, доктор, это уха, посмотрите маму, мы мяса не едим, а только рыбу. «Рыбу?! — вскричал доктор. — Да вы убийца! Ноги моей у вас больше не будет». «Да я ее не ловлю! — удивилась та. — В магазине покупаю». «Да вы вдвойне убийца! — говорит доктор. — Вы заказчик убийства!» С этими словами он отодвинул женщину — и был таков.

Причем этого доктора-вегетарианца я знаю. Он был лечащим врачом у мамы, когда она получила инсульт. Мне он тоже объяснял тихо и настойчиво: «Мясо маме не давайте. Вы же не знаете, от кого это мясо, от коровы или быка...». «А это так важно?» — спросила я его. «Очень! — сказал он. — Представьте, если вы, женщина, скушаете мясо быка». — «И что со мной случится?» «В мясе быка — мужские гормоны, — терпеливо объяснял мне доктор. — Они перемешаются с вашими, женскими. Вы, женщина, станете на время как бы быком...».

Одна из женщина рассказала, что однажды вечером увидела его в сетевом магазине «Магнит» и пошла за ним, чтобы посмотреть, что же он купил себе на ужин. Оказалось, что детское питание, такие маленькие баночки.

Другая женщина рассказала, что мать свою он заморил этой диетой. Кормил одной капустой. Недавно та умерла в не старых еще годах. В то же время всю свою зарплату тратил на экзотические растения, которые высаживал у своей пятиэтажки. Выросли целые джунгли из странных, как он, растений.

А одна из банниц вот что рассказала. Однажды доктор вышел зимой из бани с непокрытой мокрой головой. Та его спросила: «Как же вы без шапки зимой, да после бани? Простудитесь, заболеете». «Заболеть я не могу, — сказал доктор. — Ведь я общаюсь с самим Космосом!»

Тепло, красиво

Уже наступала весна, днем было плюс одиннадцать, набухли почки сирени и калины, в саду из земли вылезли листья тюльпанов, прилетел скворец и начинал пробовать голос, сидя на старой яблоне, как вдруг — бац — опять зима. Вечером убирала в кучи прошлогоднюю листву, смотрела на стволы яблонь и вишен, собираясь их назавтра побелить. А утром вышла — все стволы уже побелены, но так, словно бы кто из ведра небрежно выплеснул на них побелку. У меня даже голова закружилась от нереальности произошедшего. Кто это сделал, зачем? Кто мог подслушать мои вчерашние мысли? Потом присмотрелась — а это снег. Лежит в углублениях старой коры яблони, словно бы мел.

А утром следующего дня сломался газовый котел, отапливающий весь дом. Приехали газовщики и отключили его, сказав, что нужен новый котел. Температура — минус девять. Хорошо, что когда — десять лет назад — проводили газ, мы не сломали старую печку-голландку. Хорошо, что в сарае все эти годы нетронутыми пролежали дрова,

а в душевой — уголь антрацит. Натопили, как раньше, печь, сидим с мамой в тепле, смотрим в окно на свежевывавший снег. Тепло, красиво.

Прабабушка

Сегодня разговаривала со своим внуком Яном по скайпу. Ему два года и два месяца. Рассказала ему сказку про колобка. Он внимательно слушал. Потом вместе с ним прочитали стихотворение про «гуси-гуси-га-га-га», причем я произносила первые слова, а он радостно гоготал — «га-га-га!» «Есть хотите?» — спрашивала я этих гусей. «Да-да-да!» — радостно отзывался он.

Когда подошла к компьютеру моя мама, а его прабабушка, он насторожился, замолчал и начал, как всегда, едичиться. Никак не поймет, кто это. «Это твоя прабабушка!» — говорю ему. Он крутит головой, ища объяснения у родителей. Не понимает. «Это бабушка Маша», — опять пытаюсь объяснить ему. Не понимает. Тут меня осеняет: «Это моя мама», — говорю я и обнимаю маму. Ян удивленно смотрит на нас, потом радостно смеется и обнимает свою маму. Наконец-то понял. Что эта незнакомая ему женщина — моя мама. И у него тоже есть мама. И их обеих зовут — Маша. Мама Маша. И у меня. И у него. Теперь понятно.

Веранда

Веду полномасштабный ремонт в доме. Дошла очередь и до ветхой деревянной веранды: старые вещи выбросили, потолок покрасили, стены оклеили обоями, пол покрыли линолеумом, — просто новая красивая комната получилась, можно в ней жить. Показала с гордостью веранду маме. Вот что, мол, мамочка, получилось. Мама говорит: а где же моя веранда? Я показываю на пустую веранду, говорю — да вот же. Нет, говорит, это не моя веранда.

У нее там всегда травы сушились, зерно для гуся хранилось, веники дубовые висели, кошки на мешках с зерном сидели и в окошко смотрели, ну и т. д. — прямо сказочным местом была эта веранда волшебная. А теперь просто пустая комната. Еще не знаю, что туда и поставить.

Подсолнух

Еле я доехала из Волгограда, что-то мне было трудно ехать, задыхалась и очень жарко было, хотя уже было 17:30, когда я выехала. Приехала, и до ночи поливала за двором картошку и вишни. А мама стояла на крыльце и кричала в темноту: «Света. Света!» Я отзывалась, что поливаю, и скоро приду. А она опять: «Света, Света!»

Уже сорвала первые свои огурчики — три штуки. И помидорчик позавчера свой сорвала. И абрикосы пошли, хотя мало, но есть. А в том году не было ни одной штучки ни у кого. И еще у нас подсолнух расцвел, который Ёжик посадил. Он в темноте мне и светил.

Имаго в сером, или Всадник Апокалипсиса

У нас в Нижнем Поволжье жара страшная. Только вечером и живем. Вечера южные — роскошные. Цикады поют, звезды с полтинник, запахи одуряющие от цветов: лилия расцвела и петунья. Еще циннии цветут очень красиво: желтые, красные, розовые, сиреневые. Их у нас в военном городке называют майорами — оттого, что стебель прямой, а цветок жесткий, мужской, — и выглядит так, как раньше выглядела большая майорская звездочка на офицерских погонах.

Сегодня еще, когда днем сидели с мамой и ее подругой Ирой под шелковицей (у нас она называется тутовником) и пили чай с мятой, навестил нас разведчик — имаго саранчи. Такой огромный экземпляр в сером

сюртуке прилетел и сел на побеленную стену дома. Лошадиное узкое лицо интеллектуала, внимательный взгляд огромных глаз, словно бы из-под окуляров. Всадник Апокалипсиса. Явно рассматривал нас, людей, сидящих за столом. Кошка его заметила и попыталась поймать, но он оказался намного ее умнее и упругий телом. Стрельнул — и улетел далеко в сад. Что он высматривал? О чем доложит Всевышнему? Ждать ли нам нашествия? Конца света? Или всё обойдется?

Бассейн

Сегодня наконец-то поставила бассейн в саду. Он полтора месяца бесполезно валялся на специально забетонированной для него площадке, потому что в надувных бортах где-то был прокол, через который выходил воздух, и вода из бассейна выливалась. Сегодня накачала воздух в борта, намылила их и сантиметр за сантиметром проверяла, где же эта дырка. Нашла. Малюсенькая такая. Кое-как залатала изолентой, и бассейн готов. Позвала маму. Ей 87 лет, но она очень любит плавать в бассейне. Плещется, смеется. Плавали с ней минут сорок. Чудесно! Совершенно другое качество жизни — и всё благодаря небольшому китайскому надувному бассейну.

Папайя

Вот трудно быть даже наполовину хохлушкой. Всему верю, всем доверяю. И в МММ в девяностые годы участвовала, и в Чару деньги относилa. Верила звонкам по телефону, что мой номер выиграл мерседес: осталось только положить на некий счет небольшую денежку. И уже шла «ложить», да сын остановил.

И опять, уже на новом этапе развития остапобендеровской мысли, мне навязали чудо-лекарство: папайю. Мол, лечился ею сам папа римский, спасла папайя его от болез-

ни Паркинсона и стал римский папа почти святым. Лечит, мол, эта папая от многих болезней мозга, и в том числе от инсульта. Вот тут я и повелась, так как мама полтора года назад перенесла инсульт и так от него и не оправилась.

Встречу мне назначили за городом на автовокзале. Приехала: стоит задрипанный ободранный запорожец времен Очакова и покоренья Крыма. Внутри внушительный мужчина, царским жестом приглашает войти в салон его иномарки. Скрючившись, влезла, и полчаса на солнцепеке, под тарахтенье самодельного вентилятора, слушала его байки про биодобавки и чудесные исцеления тех, кто их ест.

Спросила, кем он раньше работал, до всего этого... чего «этого», сформулировать не смогла. Военным был, а теперь на пенсии, подрабатывает. В общем, колоритный мужик, уболтал он меня, купила я эту папайю в виде порошка, одну пачку на месяц. Эксперимент ставлю на себе: пока эффекта ноль. Видимо, просто мел.

День тигра

Вчера на обед сварила борщ, стараясь, чтобы все овощи были из нашего огорода. Готовила его почему-то как-то тщательней, что ли, чем обычно. Потом наготовила фаршированных перчиков, целые две огромные чугунные сковороды. Подумала еще: на поминки обычно перчики эти делают у нас в Астраханской области. Настрого салат. Накрыла на стол. Поставила бокалы для вишневого вина, которое сама сделала и только что сняла: разлила из десятилитровой бутылки по бутылкам.

— Ну что, говорю, мама, отметим День тигра?

И только-только начала в бокалы наливать темно-красное вино, как тут же вспомнила, что в этот день, 29 июля, 20 лет назад, умер мой отец Владимир Георгиевич Морев. Вот и помянули его с мамой.

Он бросил нас, когда мне было десять лет, уехал в Ригу, где учился в военной академии, там женился, там умер, там и похоронен. Мне не сообщили, когда он умер,

позже сказали только день, когда это случилось. Несколькими годами назад, когда я по работе была в Риге, то с его вдовой посетила кладбище Яна Райниса, постояла у могилы отца. Мама сказала, что когда он сообщил нам, что уезжает навсегда, я рыдала и страшно кричала, схватив его за колени: «Папочка, не уезжай!» Я этого не помню. Мозг вытеснил некомфортные воспоминания. И вот и теперь: умом про его поминки не вспомнила, а подсознание (или душа?) помнит.

Га!

Сегодня с утра тепло, даже припекает. Мама сидит на улице за столом на солнышке. Пришла соцработница, принесла продукты. Сидит, считает, сколько я ей должна. Спрашивает, а где же ваш гусь Кеша? Раньше он всегда здесь у стола с Ежом сидел, разговаривал с ним. Слушал человеческую речь того и отвечал, соглашаясь, тихо, по-мужски раздумчиво «Ке-ке-ке», — посмотришь на них, словно за жизнь два мужика калякают. А сегодня Еж уехал, и гусь спрятался в саду — горевать.

Я зову гуся: «Кеша! Иди сюда!» Гусь, вытянув шею, слушает меня и молчит. Опять кричу: «Кеша!» На этот раз отвечает громко и недовольно: «Га!» (Так в украинских селениях жена зовет мужа-лежебоку: «Петро!» А тот отвечает, зевая: «Га?!» Типа: отстань, баба, не видишь, казак думу думает!)

Опять зову: «Кеша!» Гусь отвечает, скрипуче и гортанно, словно несмазанная телега: «Га!» и, переваливаясь с бока на бок, словно белоснежный корабль, уходит от нас еще дальше — в темную глубь сада.

Бимка

Сегодня поехала на Раковое озеро ловить брошенного там кем-то рыжего котенка. Взяла ему поесть: банку ухи, кефир, хлеб и сухой корм. Подъехала, позвала, он

откликнулся. Покормила его, кидая ему намоченный хлеб. Он поел с удовольствием. Но в руки так и не дался. Залез в непроходимые заросли бурьяна и мяукает, но уже не так, как вчера, а поспокойнее. Решила съездить на речку, искупаться, а потом уже поймать котенка и везти домой. Проплыла вдоль всего берега: мимо заросшего старого городского пляжа, где уже никто не купается, и мимо солдатского пляжа, где тоже никого. Только двое дядечек рыбу сидят ловят. Поинтересовались у меня, есть ли рыба там, где я плыву. Наконец, увидела прекрасный песчаный пляж и большое скопление народа, приехавшего на нескольких машинах, — и решила тут и выйти. Вышла и увидела под кустом совсем маленького кутенка, черного, с белой шеей, белой звездочкой на лбу. Спросила у рыбака, не его ли собачка. Сказал, что нет. Обошла все компании, спрашивая, чья собачка и не хотят ли они ее забрать. Все отказались. В общем, взяла я ту собачку. И долго шла с ней, прижав ее к себе, по берегу к моему велосипеду. Котенка решила отловить завтра или просто ездить к нему каждый день и кормить его, пока он ко мне не привыкнет. Так что у меня теперь есть маленькая собачка, даже не умеет еще есть, кормлю ее из ложки. Красивая такая девочка. Назвали ее с мамой — Бимкой. Но мама упорно называет Димкой.

— Мама, может, я ее завтра на базар отвезу, отдам в добрые руки? — спросила я.

— Нет, — сказала мама, — самим пригодится!

А вечером пришла тетя Галя. Собак она не любит. Но нашу одобрила.

— Нарядная собачка! — сказала она.

Шапито

С мамой ходили в цирк-шапито вчера, и нам очень он понравился. Там были и дрессированные собачки (как наш Грей, пудели) — они особенно понравились маме, были обезьянки, еноты, маленькая кенгуру стремитель-

но носилась по арене в платьице и так же стремительно умчалась за золотые кулисы, и были волки, и даже медведица в русском сарафане плясала «русскую» вместе с дрессировщиком. И были еще гимнастки под куполом, прямо до слез меня довели своим искусством, и клоуны очень смешные были, завели всех детей и нас тоже. Давно мы так не смеялись.

В общем, мы с мамой очень довольны остались представлением. И вышли, и пока шли, то нас перегнали молодые артисты из этого цирка и спросили, понравилось ли нам. Я сказала им, что очень, очень, и они, радостные и гордые, побежали в свое общежитие. Молодость, любовь, творчество! И труд огромный.

А еще несколько дней назад я шла мимо городского рынка и их еще не поставленного шапито, и они так грустно все сидели рядом. Жара, степь, пустыня и артисты, приехавшие в незнакомую местность. Придут ли зрители? Заплатят ли деньги за билет? Хорошо ли все пройдет?

И звери ходили ходуном по клетке, высунув языки, от жары изнывая. И я подумала, неужели вот из этого может что-то получиться? И специально пошла, думаю, ну, халтура приехала. И вот вдруг прямо на глазах из вот этого «сора» вырос прекрасный цветок искусства и творчества. Очень я была рада как-то даже философски.

Двойня

Вчера поздно вечером, когда мы с мамой уже легли спать, пришла к нам наша соседка по улице, тетя Галя, бодрая и веселая бабушка 88 лет. Дочь ее, Света — на работу на сутки, а она к нам — в гости. Ну, повскакали мы с мамой с постелей — чай, гостья пришла! Пришла она с кучей рекламных листовок и «Российской газетой», которую они со Светой выписывают. Пока мама с тетей Галей о ценах на базаре говорили, я «Российскую газету» проштудировала. В конце наткнулась на гороскоп. Про-

читала вслух свой гороскоп на неделю: типа, чтобы не разбрасывалась деньгами в эту неделю, а сэкономила, потом мамин. Тут и тетя Галя просит, чтобы и ее гороскоп был мною озвучен. Она Лев по гороскопу. Читаю: ждет вас на этой неделе любовь, амурное свидание и огненная страсть, мол, не пропустите момент. Смеемся с мамой. А тетя Галя не смеется, задумчиво говорит нам: «Чего ржете? Момент действительно серьезный, пропустить никак нельзя. Если кто попадетя, то пойду навстречу страсти, может еще, и двойню рожу, как Пугачева!»

Торжественно, как королева, поднялась и ушла в ночь.

Павлик

Утром, без десяти десять, позвонила мамина подруга и сказала, что умер Павлик, наш бывший сосед по улице, что сегодня его хоронят и ровно в десять его привезут на нашу улицу к его дому, где он когда-то жил.

Сначала я не поверила. Павлик только что был у нас, в это воскресенье, 27 октября. Приходил занимать деньги. Павлик был моим ровесником, мы дружили. Он был офицером, ракетчиком, недавно ушел в отставку. Главным же в его жизни была музыка. Он играл в духовом оркестре, играл на всех свадьбах, похоронах и парадах. И он пел. Пел на городских концертах в Доме офицеров или в Доме культуры. Пел так, как не снилось никому. Он перепел весь репертуар «Песняров», его любимой песней была «Олеся». Павлик в нашей городке был артист от Бога. Ну и как все артисты, конечно, любил выпить. В последнее время он пил больше, чем раньше. Ходил уже по кромочке. Часто приходил к нам с другого конца города, чтобы занять деньги. Он всегда занимал 200 рублей. И в тот день попросил 200 рублей. Сидел на себя не похожий: строгий, в черном, трезвый. А обычно приходил праздничный, веселый, разговорчивый. Сказал, что вчера похоронил друга. А я в тот день только что пришла с базара, где потратила все свои деньги, до копеечки, и в первый

раз в жизни не заняла Павлику. Он посидел-посидел, да как-то тихо и ушел. Сказал, что его на улице ждут товарищи. Правда, уже от входных дверей вернулся и расцеловал мою маму. Это было в воскресенье. И вот в четверг его уже хоронят. Я подумала, что вот, наверное, всё же где-то занял он деньги, выпил да и помер от сердца.

Тут же перезвонила соседям с этим скорбным сообщением, потом взяла велосипед и поехала к моргу. Не успела проехать и двести метров, как увидела приближающуюся процессию из целой вереницы серых «Волг» и автобуса, в его окнах за занавесками расцветали искусственными цветами венки, — и всё стало понятно: едут хоронить Павлика. Я поехала следом.

Отпевали Павлика в Георгиевской церкви на горе. Это любимая моя церковь с детства, дощатая, вся покрашена в синий цвет. Обычно здесь крестят детишек, и сквозь щели в досках хлещут лучи солнца. Сегодня тоже светило солнце.

Гроб был почему-то закрытый.

Когда вышли на улицу, я сказала женщине, которая пела на клиресе, что вот как же так, ведь он только что был у меня, заходил в воскресенье. Она спросила: деньги занимал? — Ну да, — сказала я.

— И ко мне заходил, — сказала она. — Я дала ему 200 рублей. А может быть, не надо было ему их давать...

— Ну, да, — сказала я. — Он в последнее время много пил. Наверное, сердце не выдержало... Женщина как-то странно посмотрела на меня и спросила: «А вы знаете, от чего он умер?» «Нет, — сказала я и спросила: — А от чего он умер?» Она помолчала и сказала: «Павлика зарезал его сын». И земля накренилась.

Сына Павлика тоже звали Павлик. Ему только что исполнилось 19 лет. Павлик воспитывал его один, так как жена сначала попала в какую-то секту, а потом — в психушку. Мальчик не ходил до 13 лет в школу, так велела секта. С трудом забрали мальчика у матери. Но школу он так и не закончил, вступил в дурную компанию, обворовали магазин. Павлик несколько лет расплачивался за укра-

денные сыном мобильники. А потом вроде выправился парень, так говорили, помогает отцу во всем. Да и сам Павлик совсем недавно хвастался нам, что сын хочет пойти служить в армию, а потом стать контрактником. И вот...

Далее было всё, как во сне. На кладбище вдруг появился военный духовой оркестр, где раньше служил Павлик, ударил похоронным маршем в самую душу. Мать Павлика, тетя Зоя, страшно рыдала и кричала над гробом сына, проклиная внука. Две ее дочери, сестры Павлика, Таня и Надя, оттаскивали мать от гроба и сами ложились на гроб и так же рыдали там, как мать. Плакали все. Все почему-то просили прощенье у Павлика, что не уберегли. Что не пришли во время. Из криков и рыданий я поняла, что сын ранил отца и убежал, оставив его умирать одного. И что тот, видимо, погиб от потери крови. Что его можно было спасти. И никто не встревожился, не стал искать, куда пропал Павлик. Нашли его только через четыре дня. И дата его смерти точно не определена.

Когда водружали крест, я вдруг увидела дату смерти: 24 октября. То есть он умер в четверг. А 27 октября, в воскресенье, он приходил к нам занять деньги. Весь в черном, не похожим на себя. Заходил он в тот день еще и к другим соседям — тете Гале и Свете. У них тоже не было денег после базара и они тоже не заняли ему, хотя всегда до этого занимали. И тоже сказали потом мне, что он был не похож на себя, сказала Света, — и душа уже просвечивала.

Так может, приходил к нам не он, Павлик, а его душа, прощалась и просила, чтобы мы нашли его истекающее кровью или уже мертвое тело? Ведь на другой день, в понедельник, его и нашли в квартире мертвым?

Поминки были в кафе «Березка», около базара. Хотел о Павлике сказать слово тщедушный мужичок, тоже музыкант, с которым они играли на свадьбах, да не смог, разрыдался. Все зашептались, что это самый его лучший друг. После поминок я подошла к нему, спросила, кто из их с Павликом друзей умер совсем недавно и был похоронен в субботу. Тот дико взглянул на меня и сказал: никто. Никто не умер, кроме его друга — Павлика.

Я пришла домой и стала вспоминать, что же он говорил нам, Павлик, в свой последний приход. И вспомнила. Он говорил, что как жалко, что они с матерью переехали из финского домика с садом в две отдельные однокомнатные квартирki в хрущевке. Что как бы он хотел жить с матерью в своем доме и выходить в цветущий яблоневый сад.

Теперь я точно знаю, что со мной в тот миг говорила его душа.

Цветочек

Всю прошлую зиму жила у нас моя подруга детства Юля. У нее никого нет: родители давно умерли, а год назад умер и ее муж Сережа. Третьего марта у Юли был день рождения, и я подарила ей живой цветочек в пластмассовом горшочке. Он уже зацвел голубенькими цветами. И цвел, пока она не уехала в свою Калмыкию. А уехала, он захирел, поник, листья его пожелтели, и я выставила его на улицу: вдруг да оклемается. Ну и забыла про него напрочь. Прошли весна, лето, осень, и вот несколько дней назад смотрю, среди сухой травы стоит Юлин крепенький такой и зелененький цветочек в горшочке. Хотя уже и заморозки были, минус пять градусов. Принесла его домой, полила. А тут мне уехать из дома надо было на несколько дней, и я Юле позвонила, мол, приезжай, за мамой присмотри. Она с радостью: приеду. Вот сегодня, в понедельник, должна приехать. А вчера, в воскресенье, смотрю: цветочек вдруг зацвел — голубенькими цветами, — как раз к ее приезду. Вот и встретятся.

Черныш

Пока были мы с мамой на концерте в Доме офицеров, умер наш старый черный кот Черныш. Он до конца сидел рядом со мной, я его гладила, потому что он плохо себя с утра чувствовал, кашлял, и сопливился, и трудно ды-

шал, но потом я чем-то отвлеклась, и смотрю, его уже нет, посмотрела, он спрятался за диваном моим в комнате, где телевизор, и лежит там. Я думала, что отлежится.

Но после концерта пришла, посмотрела за диван, а он уже лежит недвижим. Достала и похоронила пока в саду, прямо в снегу, там, где летом бассейн ставим, у забора соседей. Сегодня оттепель, надо бы перезахоронить. Я его помню огромным красивым молодым котом, совершенно блистательным. Черный кот с белой бабочкой. И теперь помню его уже больным, очень похудевшим за последнее время добрым старичком, который всех лечил. Если болеет кто, обязательно подойдет и ляжет там, где болит. Недавно он сидел рядом с молодой кошечкой Катей на диване и чой-то ей мурчал на ушко. И она прямо как девушка улыбалась. И он улыбался тоже. Таким я его и запомнила. Лет десять он все же прожил. И если бы не болезнь, может быть, и еще жил. Подруга Юлька говорила мне, что надо бы поколоть ему антибиотики, но я не стала его мучить. Правда, не думала, что так быстро он после этого разговора уйдет.

Ушел в свою страну кошачью.

Домой!

Пятого февраля моей мамочки (Марии Савельевны Василенко) не стало. Я не успела приехать из Москвы, чтобы увидеть ее живой. Моя подруга Юля, которая с ней сидела, сказала, что мама в два часа ночи в самый мороз (— 27) ушла из дома (у мамы в последнее время была навязчивая идея (синдром ухода), что ей ночью надо идти куда-то, как она говорила: «Домой!» — она собирала вещи в узелок и пыталась выйти из дома. Я ее попытки всегда пресекала). Мама дошла до соседнего дома и упала. Тут сиделка проснулась, кинулась ее искать, побежала и нашла маму лежащей на снегу. Вызвала «скорую» и МЧС. «Скорая» не приехала, а МЧС приехали через час. Мамочка замерзала, так как вышла без варе-

жек и в шлепках и в легкой курточке. МЧСники ее внесли в дом и положили на пол. Утром я позвонила, и Юля сказала, что с мамочкой плохо. Я позвонила соцработнице, и та вызвала уже «скорую». Но сказала, что обморожения легкие, и наш старый и опытный врач-хирург сказал ей, что угрозы для жизни нет И я вместо того, чтобы лететь самолетом, взяла билет на поезд и долго ехала, почти сутки. И не успела. Оказывается, у мамы, видимо, от падения, лопнул сосуд рядом с кишечником и получилось загноение, оно вылилось в гангрену сосудов кишечника, и мамочка скончалась в больнице. Умерла тихо, ее после ужина вечером перепеленали, положили на бочок спать, она дышала-дышала и перестала дышать. Это было в 19 часов 20 минут пятого февраля. А я приехала в Волгоград шестого февраля в 8:25, села в маршрутку и тут мне позвонила соцработница и сказала, что мамы больше нет. Похоронили ее на сельском кладбище на центральной аллейке рядом с могилой ее подруги Никулиной Пелагеи Кузьмовны. Мама тридцать лет ухаживала за этой могилкой и всегда говорила, чтобы если что, то ее положить здесь рядышком. С похоронами помог генерал полигона. Были и автобусы от военных, и венки, и даже духовой оркестр. Как-то мама мне сказала, что хотела бы, чтобы ее провожал духовой оркестр, и так оно и исполнилось. И поминки сделали в кафе «Березка», которое она очень любила из-за вкусных пирожков и тоже высказала как-то мимоходом желание, чтобы там ее помянули. Отпели мамочку в церкви святого Георгия, той, что стоит на горе, церковь вся эта выкрашена в синеголубой цвет, как небо. Священник отпевал ее так проникновенно, что я его после отпевания поблагодарила. Он сказал, что видит, что она человек заслуженный, что мамочка моя — героиня войны (на подушечке лежали ее орден и медаль) и поэтому отпевал ее с чувством благодарности к этому великому поколению. В годы войны мама моя была партизанкой, ее поймали, пытали, она сидела в фашистской тюрьме в городе Миллерово Ростовской области. В 1943 году мамочка убежала из немецкого

плена и шла по февральской заснеженной ростовской степи до своего дома в совхозе «Красная заря» сто километров пешком. Вот и теперь отправилась в февральские морозы — «Домой!» Накануне своего ухода она сказала Юле, что хочет найти свою мать. Не мачеху, добавила она, а свою настоящую мать. Ее мать умерла, когда ей было одиннадцать лет, и потом ее воспитывала мачеха. Теперь она нашла свою родную маму.

22 февраля маме исполнилось бы 88 лет. Царствие ей небесное!

Гусь Кеша

Вчера, 22 июня, в воскресенье, наш сказочный белоснежный гусь-лебедь Кеша умер.

Он дня два был какой-то вялый, плохо ел и почти не пил воду. Но я думала, это из-за жары и мошки. И вот мошка закончилась, Кеша стал выходить в сад (до этого он прятался от мошки в своем домике). Позавчера я его уже поздно нашла далеко от домика в траве под яблоней и загнала обратно. А вчера вышла вечером, чтобы его попить и загнать, и вижу, что собака, вышедшая со мной, вдруг остановилась как вкопанная, — и увидела Кешу лежащим около дорожки недвижимым. Рядом с ним сидел ёжик. Ёжик испугался собаки, убежал.

Я подумав, что ёжик ранил гуся, стала рассматривать Кешу. Но ран не было. Он просто умер. Кеша умер, видимо, и от старости (18 лет исполнилось ему весной), и от тоски по моей ушедшей в феврале этого года маме.

История Кеша такова. Маме в день ее 70-летия ее сестра Марина подарила два гусиных яйца. Яйца подложили под курицу. Вскоре вывелись два гусенка: девочка и мальчик. Девочка рано погибла, а мальчик — Кеша — остался. Мама за ним ухаживала все эти 18 лет, кормила, поила его, разговаривала с ним. Он ей отвечал гортанно: гага-га! И она ему говорила: дада-да! Так они и разговаривали. Он любил обвить ее шею своей и тихо что-то

шептать ей на ухо: хе-хе-хе. Был он романтичный и влюбчивый. Однажды влюбился в расцветшую белую лилию. Видимо, она ему напоминала его погибшую подругу. Приходил к ней утром, садился рядом и, забыв о еде, восторженно смотрел на нее весь день.

Он был такой грустный после маминого ухода, все последнее время. Я даже на днях задумалась, что ему надо купить гусят. И даже вчера утром, в воскресенье, собиралась поехать на базар посмотреть, есть ли там утята или гусята. Когда у нас были утята, Кеша очень трогательно заботился о них: ранним утром бежал к ним, к клетке, где они находились, подолгу стоял рядом и ждал, когда мама выпустит утят, охранял их от ворон, водил на купанье к корыту в саду, поднимал шум, если видел приближающуюся к утятам кошку.

Кешу я похоронила в саду. Потом сказала соседке Рае, что вот, может, надо было его зарубить. «Ты что, — сказала она, — он же у вас как человек был!» Сегодня хожу, маюсь, думаю о Кеше. Что он полетел за мамой, ее догонять. Другая соседка, Света, хотела его забрать на зиму к себе, приготовила ему домик из сарая. Она ухаживала за Кешей в мае, когда я уехала, очень полюбила Кешу и говорила мне, когда я вернулась: «Кеша — мой друг!» Он был и мой друг. Вот, нашего друга Кеши не стало.

Дурной сон

Ехала в поезде из Ставрополя с форума всех творческих союзов. Заснула на второй полке и приснился мне дурной сон. Словно бы сидим мы с мамой (во сне она живая) в своем доме в Капустине Яре, и вдруг дом начинает раскачиваться, на улице бульдозеры рычат, на нас с мамой уже балки сверху летят. Тут я выбежала посмотреть, что же происходит. Смотрю, бульдозеры наш дом ломают. Я их остановила. Влетаю в дом — а там мама под досками кричит. Раскидываю доски, — а там мама моя раненая,

в крови, но живая. Проснулась: вагон раскачивает, как мой дом во сне, скрипит. Говорю попугаям: дурной сон приснился. Они говорят: не берите в голову, все будет хорошо. Тут мне по мобильному телефону звонят, говорят, твои лучшие друзья-писатели на тебя кляузу написали, приедешь, прочтешь.

Плач

Это случилось где-то за два месяца до маминой смерти. Я сидела в своей комнате и вдруг слышала ее тихий плач. Пока я раздумывала, что на этот раз могло стать причиной этого внезапного плача, он становился все громче и громче. В последнее время, после перенесенного инсульта, она часто обижалась на меня. Что-то не так скажу — и она в слезы. Что-то она скажет, а я не пойму ее, — и опять плачет. Но я всегда тут же просила у нее прощения, зацеловывала ее, и она быстро успокаивалась, прощала меня, начинала улыбаться.

Я побежала в мамину комнату. Мама лежала на диване и рыдала. Худенькое тело ее сотрясалось от рыданий, впалые щеки были мокры от слез.

Я бросилась к ней:

— Мама, мамочка! Ты на что-то обиделась?

— Не хочу умирать! — сказала мама.

И я ее стала утешать, что она не умрет, что она же стала выздоравливать, начала ходить сначала по дому, потом гулять на улице... Мама слушала меня сначала недоверчиво, всхлипывая, потом затихла, а я сидела и качивала ее, как ребенка.

Сельское кладбище

Вчера пришла в гости тетя Маша — мамина подруга. Мама ее очень любила. Когда они встречались, то очень радовались друг другу, словно сестры. И так получилось,

что именно тетя Маша была последней, кто видел маму живой. Она моложе мамы на девять лет, и мама считала ее молодой. Но вот и «молодой» тете Маше исполнилось уж 82 года. Слово за слово, и вдруг выяснилось, что она уж два года не может найти могилу мамы на нашем разросшемся капустиноярском сельском кладбище.

Тут же и решили сходить на кладбище с тем, чтобы ей показала мамину могилку. Взяли тяпку, грабли и пошли. На кладбище показала тете Маше, по какой тропинке идти. Она всегда шла по тропинке направо, а надо — налево. Сначала тетя Маша прочитала молитвы у могилы своей любимой подруги, моей мамы, потом начала рыхлить землю, выстраивать из холмика земли подобие гроба. Рыхля, она выпевала молитвы. Молитвой помянули и Пелагею Кузьмовну, знакомую мамы, за могилой которой она ухаживала долгие годы и рядом с которой просила ее похоронить, что и было мною исполнено.

Попрощавшись с мамой, мы пошли к могиле матери тети Маши. Ее мама жила 93 года и один месяц. Умерла сравнительно недавно — в 2000 году. А родилась в 1907-м. Чуть-чуть не дожила до своего столетия. Над ее могилой росла старая акация. А рядом — молодая. «Вот тут, — сказала тетя Маша, — под молодой акацией и похороните меня, так я детям своим приказала». Потом пошли обратно, думая, что придем опять к могилке моей мамы, но вышли на тропинку, по которой всегда ходила тетя Маша, — ту, что шла направо, и к маме уже не попали.

А по дороге тетя Маша показывала мне, где лежат ее родственники — жена старшего сына Володи, умершая в 47 лет от рака, сваты — свекр и свекровь дочки тети Маши Светланы, внучка Алена, первая дочь Светланы, не дожившая и до полгодика...

Мы шли и шли, и тетя Маша мне показывала на памятники и кресты: этот был врачом в поликлинике, хороший был врач и человек, тот хирургом, многих спас, а вот тот военным, дослужился до подполковника и погиб на учениях, Таня Выскубина рядом со своим папой

Иваном, а маме ее, тете Гале, уж 90, еще жива, а где-то здесь могилка другой подруги матери Валентины Редкобаевой, помнишь, горб у нее был, рос и рос, а вот теперь лежит Валя, как все, говорят же, что горбатых могила исправит, а здесь соседи ваши по улице, крест к кресту, весь род Цапковых захоронен...

Увидела гранитный памятник с надписью «майор Чекалин», обрадовалась: «Вот, по этому памятнику мы с твоей мамой и находили могилу Пелагии Кузьмовны, той, с которой мама похоронена!»

И как же она могла забыть этот ориентир — майор Чекалин!

Возвращались с ней домой по пыльной улице села и она вдруг остановилась и со значением глядя мне в глаза вдруг призналась: «Знаешь, обычно я иду с кладбища печальной, а сегодня так радостно на душе. Будто мы с Машей, мамой твоей, и вправду, как раньше, свидетель!»

Инвалидное кресло

Сегодня приснилась мама. Будто везу я ее в инвалидном кресле по Капустину Яру, весна, кругом яблоневые сады, все цветет, и она радостно все оглядывает. Я говорю с ней и вдруг понимаю, что она мне отвечает все правильно, а раньше, после инсульта, что-то не то говорила, не понимала, путалась во времени и пространстве. А теперь вот все понимает и отвечает. И я так радуюсь там, во сне, что вот мама наконец-то выздоровела. И нам так хорошо идти вместе.

Сон этот когда-то был явью. Год назад я повезла ее в сбербанк в инвалидном кресле, и она жадно на все смотрела и комментировала: тут новый дом построили, тут спилили дерево, тут покрасили забор. И меня поражало, что такая память в ней проснулась вдруг, а до этого сидела дома, ничего не помнила и ничего как будто не понимала. Когда вернулись, совершенно уставшие, она сказа-

ла, что как хорошо прогулялись, вот бы так еще. Но больше не получилось — мамы не стало.

И вот приснилась.

Но я утром этот сон забыла, заспала. А днем пришла соседка, мамина ровесница, тетя Галя, посмотреть мой ремонт и вдруг, увидев мамино инвалидное кресло, захотела в него сесть. Мы сначала ее отговаривали, а потом все же посадили ее в него, и она радостно затихла и я вдруг сразу вспомнила сегодняшний мой сон, цветущие сады на нашей улице и маму, — и то тонкое, волшебное чувство родства, когда два родных и любящих человека идут сквозь этот цветущий мир, разговаривают и понимают друг друга, — даже если один из них здесь, еще на земле, а другой — уже там, на небе.

Бессмертный полк

Сегодня шла по площади Ленина г. Знаменска (Капустин Яр) Астраханской области на военном параде в рядах «Бессмертного полка». Школьники и взрослые люди несли фотографии участников Великой Отечественной войны, погибших на войне и умерших после нее.

Я несла фотографию мамы — Василенко Марии Савельевны. Девчонкой она помогала нашим разведчикам на оккупированной фашистами территории (Боковский район Ростовской области). Немцы арестовали ее и ее родную тетку Харыту и бросили в тюрьму г. Миллерово. Ее пытали, тетку Харыту расстреляли. Освободили маму в 1943 году бойцы Советской армии. Еще год назад мы с ней ходили на парад Победы. В феврале ее не стало. И в этом году я прошла с ее портретом по площади.

Рядом шли люди, которые несли портреты своих отцов и дедушек. Перед парадом многие из нас перезнакомились. Рассказывали друг другу о своих близких и родных людях. Девушка, которая стояла рядом со мной, несла портреты двух своих дедов. Фамилии их здесь, в Кап-Яре, очень распространенные — Выскубин и Буря-

ков. Жили, сказала она, один на улице Крестьянская, а другой — на Кооперативной. И сразу они стали для меня тоже очень близкими людьми.

Мы беспокоились, как пройдем, ведь не репетировали. Но когда подняли портреты и пошли, то я почувствовала, как сама собой выпрямилась спина и появилась необыкновенная гордость и стать. Прошагали мы мимо трибун, чеканя шаг и высоко подняв портреты. Потом мне сказали, что наш «Бессмертный полк» шел лучше всех.

2013—2016

Детеныш Ксюха

— Откуда вообще все взялось? И кто раньше появился: люди или насекомые, а, папа?

Детеныш Ксюха — новенькая в группе. Ее папа так и сказал Софье Вячеславовне:

— Вот вам детеныш Ксюха.

Софья Вячеславовна не обрадовалась — у нее и так 34 ребенка в группе. Слишком много! перевозбуждаются, шумят. Еще хорошо, что от «Маугли» засыпают. Текст сложный для пятилеток, поэтому приходится каждый раз его читать перед сном.

— Откуда оно взялось все? — то и дело спрашивала у всех детеныш Ксюха.

— Рыбы вышли на сушу, когда им стало воздуха не хватать, — на ходу объяснила Софья Вячеславовна.

Ксюха в свои пять лет в каждой божьей луже на прогулке смотрела на свое отражение. Еще она переназвала многих детей в группе: Дашу — Дахой, Рому — Ромахой, а Наташу — Натахой.

С Натахой она подружилась. Бегут, кричат: мол, Вадик хочет целоваться!

Софья Вячеславовна посмотрела: Вадик играет экскаватором меланхолично так.

— Ну что вы, девочки, наговариваете на него! Он играет экскаватором.

Раздался рассудительный голос Вадика:

— Я им сказал, что поиграю, а потом уже буду их догонять.

«Н-да, — подумала Софья Вячеславовна, — для Вадика первым делом самолеты, ну а девочки, а девочки потом. — А они уже трепещут все!»

— Мой брат по телевизору смотрел голых женщин, а папа вошел — он их под мультики спрятал, — сказала Натаха.

«Надо срочно сменить тему», — подумала Софья Вячеславовна и спросила у Вадика:

— А ты вырастешь — кем будешь?

— Миллиардером.

Ничего себе — сменили тему! У Софьи Вячеславовны и так денежные проблемы: свекрови предстояла операция — ногу отнимут... Нужно платить ночной сиделке, а зарплата такая... такая... Хорошо, что пора на прогулку, и направление мыслей у Софьи Вячеславовны сменилось само собой.

Их детский сад был на самой окраине Перми, напротив через дорогу — уже лес. И вдруг на прогулке увидели они зайца — он вышел на опушку и замер.

— Это кто — маленький олень? — спросила детеныш Ксюха. — Все смотрите-смотрите: маленький олень!

Почему-то в этот миг Ксюха стала очень дорога Софье Вячеславовне.

Но однажды за Ксюхой никто не пришел. Софья Вячеславовна забрала двух своих сыновей в других группах, и все вместе они поплелись домой к Ксюхе, там было закрыто, но соседка согласилась взять девочку до прихода кого-нибудь.

На другой день в ответ на «Доброе утро» детеныш Ксюха буркнула: «Недоброе» и целый час потом сидела в туалете — на коленях, — плакала и ничего не говорила. Лишь перед сном сказала Софье Вячеславовне:

— А в воскресенье я поеду к папе в гости!

Так стало понятно, что ее родители развелись.

— Вот и хорошо!

— А что хорошего! До воскресенья еще три дня.

— Ну, подумаешь — всего три дня!

— Софья Вячеславовна, ждать три дня — это очень других три дня!

На следующий день Софья Вячеславовна объясняла детям (по программе), что такое горение, какую роль играет тут кислород.

Она принесла две разных банки и две одинаковых свечи. Зажгла и закрыла банками. Ну, ясно, что в большой банке свеча горела дольше, потому что кислорода больше.

Повторила опыт, повторила словами. А теперь — проверка: все поняли, что такое кислород?

— Кислород — это лимон, — сказала Ксюха.

— Почему лимон?

— От лимона — кислый рот...

Все понятно: девочка не может никак сосредоточиться — думает о своем.

На следующей неделе детеныш Ксюха начала вообще бить детей, скоро стала так агрессивна, что ударила по голове Вику. А Вика росла без папы, мама у нее — пьющая, и Вика до сих пор знак «плюс» называла «скорая помощь». И хохлону от палеха отличить не может. Раньше требовали, чтоб дети перед школой отличали Брежнева от Ленина, а нынче — чтоб хохлону отличали от палеха. Но ладно уж — бог с ней, хохломой, дни недели Вика запомнить не может.

Софья Вячеславовна говорит, что на прогулку не пойдут, пока не скажут, какой сегодня день недели. Так Вика еще ни разу не назвала правильно... Но она не унывает, даже если что-то не поймет, то с улыбкой спрашивает:

— Софья Вячеславовна, мы идем гулять?

— Нет, Вика. Мы идем на гимнастику.

Стихи для утренника Вика тоже не в состоянии запомнить, но мама ее очень просила, и Софья Вячеславовна все же дала ей две строчки к 8 марта. «Лучше мамы моей никого не знаю, ведь она у меня самая родная». Вика с восторгом прочитала:

— Я мамы своей вообще не знаю,

Потому что она самая родная!

Но зато только окликнешь ее, Вика обернется-улыбнется: «Ась?» и летит — руки раскинет, через секунду — она уже в объятиях Софьи Вячеславовны. Так вот получается. Или полетит вдруг обниматься со всеми проверяющими! А проверки очень часто случаются!

Видимо, так ее мама обнимается со всеми своими гостями (водку принесли ведь они). И вот только тети-дяди входят в группу, Вика руки раскинула — уже летит к ним со своей свекольной улыбкой: зда-а-а-сте! И начинает обнимать их за ноги!

— Какие у вас дети гостеприимные, — говорят тут проверяющие, — нигде мы не встречали таких детей!

Мама Вики — тоже со свекольной улыбкой, но логопед дал задание вырезать слова с буквой «л» из газет — не вырезали...

И вот эту Вику ударила детеныш Ксюха, а разве можно обижать такую! Софья Вячеславовна целый день спрашивала, почему она ударила Вику.

— У меня без папы все облупилось: сапоги облупились, ранец облупился и нос облупился, — ответила наконец детеныш Ксюха.

— Нос облупился от солнца — при папе он мог тоже облупиться.

— Нет, папа напоминал, чтоб я бейсболку надевала...

Это была первая жаркая неделя — на площадке пахло протухшей рыбой. Видимо, бомжи ели, зарыли остатки. Запах раздражал сильно, все воспитательницы на своих участках искали-обыскались, где зарыто, — не нашли ничего.

И вдруг Вадик приносит Софье Вячеславовне ветку цветущего боярышника — сорвал у ворот — вот он — этот запах! Так пахнет боярышник! Почему-то рыбой. Просто нынче в первый раз много цветов — разросся по всей территории.

— А когда мы ездили в Питер, там на всех улицах города сильно-сильно пахло свежими огурцами, но оказалось — корюшкой! — сказала нянечка Лида, когда дети ей все рассказали в группе.

— Еще раз расскажите, — попросил Вадик.

— Надоел! — детеныш Ксюха с размаху ударила его ногой по яйцам.

— Ты с ума сошла, — зашипела на нее нянечка, — у него же детей может не быть.

Даха тут оч-чень заинтересовалась словами няни:

мол, как это — интересно — у Вадика вообще могли быть дети, он ведь не женщина!

Это была среда, в четверг был день рождения Селестины, ее папа — коммерсант — всегда устраивает роскошный стол вечером — праздник для всей группы.

Мама с завязанными глазами должны были угадать своих детей. И вот Софья Вячеславовна заметила: дети, имеющие пап, долго пересаживались, шутя, подсовывая «слепой» маме одного ребенка много раз, а безототцовщина... о, они совсем иначе себя вели — рвались к мамам, быстрее хотели попасть в родные руки!

И после всего подходит к Софье Вячеславовне папа Вадика. У них фамилия Сверко. Он неизменно сверкал серьгой в ухе, серьгой в губе, а сегодня вдруг в белой рубашке с галстуком.

— Я на новой работе, там требуют, чтоб строго... Софья Вячеславовна, вы приедете в суд — сказать, что я всегда Вадика приводил и забирал?

— А что случилось?

— Жена от меня ушла к... (прозвучала фамилия известного миллионера) и хочет сына забрать.

— А может, с мамой Вадику будет лучше?

— Но я с ума сойду!

А в это время Софья Вячеславовна поссорилась с мужем, он несколько дней жил у своей матери, и ей как-то было не до суда — дел невпроворот. Да еще ее старший сын — четырехлетний — описался в группе, не спал... И она поняла, что он так переволновался из-за ссоры родителей. Всего-то три дня и длилась эта ссора, а уже сын описался! Нельзя ссориться.

А у детеныша Ксюхи вообще развелись мама и папа — это еще страшнее. Значит, надо как-то ей помочь успокоиться, но как — вот в чем вопрос...

В раздевалке, как всегда, сидели два ребенка-тормоза и беседовали:

— Я потеряла носок, — говорила Вика.

— А ты в шкафу смотрела? — спрашивал Вадик.

— Я и под шкафом смотрела.

Детеныш Ксюха подлетела к ним и начала их буквально встряхивать: мол, надоели вы — растяпы, из-за вас всегда на прогулку долго не выходим.

Софья Вячеславовна подошла к ней и в наэлектризованном воздухе громко сказала:

— Слушай, ты одна, что ли, тут несчастная такая?

— А?

— Ты не одна такая! Чего уж так нервничать — у всех ведь проблемы! У Кати папа ушел, у Вадика — наоборот — мама ушла от папы и забрала сына в другую семью вообще...

Дальше вдруг такое началось! Произошло то, чего не ожидала сама Софья Вячеславовна: дети на прогулке просто бросились рассказывать Ксюхе о своих проблемах.

— У нас папа маме зуб выбил позавчера! Они дрались-дрались, а потом зуб на полу я полчаса искала...

— А у меня папа маму ударил, и ее парализовало!

— Как это?

— А так: половину лица... парализовало.

— Парализовало?

— Да.

Дети все окружили детеныша Ксюху и сыпали, и сыпали все свои горести:

— Мама моя выгнала папу, нашла дядю Леву! Папа часто блюет, а дядя Лева редко блюет!

— А мой папа гадал в Новый год по книжке, ему выпало знаете что — «внимание противоположного пола». И я сказал: «Папа, противоположное полу — это потолок. Ты должен внимание ремонту потолка уделить!» А он меня схватил за уши! А что я такого сказал?

И только одна Оля Нежненечко имела план — как наладить в семье снова хорошую жизнь. Она хотела... нарисовать родителям свадьбу, чтоб не ссорились.

— Нежненечко ты моя! — обняла Олю Софья Вячеславовна.

Вдруг детеныш Ксюха сказала: она тоже нарисует родителям свадьбу!

С тех пор детеныш Ксюха опять повеселела, носилась по группе с Натахой, хорошо ела и отлично отвечала на

занятиях. Когда нужно было назвать признаки осени, а все 34 ребенка уже назвали, Ксюха нашлась: «батареи отопления включают!» И покраснела от похвалы.

Это называется «разделенность опыта». Софья Вячеславовна слышала, что есть на Западе целые уроки такие: о смерти, о страхе... все дети друг другу рассказывают.

На следующий день детеныш Ксюха принесла в группу горшочек:

— Это детеныш фиалки!

Моя Украина

Началось с Фроси, с Ефросиньи Авксентьевны Бублик, нашей «домработницы». Теперь, кажется, избегают этого слова, а тогда, в незапамятные времена — до войны — именно так называлась ее должность. Даже в официальных документах. Видимо, чтобы избежать старорежимного слова «прислуга». Фрося появилась у нас в Лосинке, не помню когда — наверно, я уже была, но еще не говорила. Знаю из рассказов взрослых, что бабушка была против «чужого человека в доме», тем более — деревенского, тем более — с Украины, но что было делать? Все работали. Отец работал и еще учился в аспирантуре, мама тоже вышла на работу, отсидев положенный (со мной) отпуск, бабушка преподавала английский язык в институте, и все они ездили в Москву электричкой с платформы «Лось». А кто будет огород копать, дрова заготавливать, растапливать печь и плиту, воду таскать из колодца? В конце концов, бабушка сдалась, когда увидела Фросю, белозубую статную красавицу с толстой косой вокруг головы. Она была из Кировоградской области, из какого-то села, и все деревенские работы ей были по плечу.

Мне нравилось, как она говорила, ее мягкий украинский выговор, а бабушка опасалась, что я заговорю неправильно, украинский язык она за язык не считала. Потом рассказывали, что первые слова я усвоила от Фроси, с удовольствием произносила «нэмае», дразнила бабушку, и она сердилась. Мама моя Елена Ивановна тоже выросла на Украине, в Сновске, но это совсем другая, северная Украина, ближе к Белоруссии, там была смесь языков, так называемый суржик.

Война нас застала в деревне Рязанцево, под Александровом, по Ярославской дороге. Мне не было трех лет, но я отлично помню и русскую печь, и больного деда на печи, но как мы узнали, что напали немцы — совсем не помню. Там не было даже радио — черной тарелки, что висела в каждом доме. Мы выбирались из этой деревни долго. Помню — наш грузовик застрял в грязи, и мужчины его толкали, а я собирала цветочки на лугу, и меня чуть не забыли, передавали с рук на руки. Потом нас пихнули в какой-то поезд, а домой, в Лосинку, мы вернулись на дрезине.

Лето сорок первого выпало из памяти, представляю его только по бабушкиным дневникам, а осенью Лосинку уже бомбили. В нашем огороде вырыли «щель», через два дома по Ульяновскому проезду, рядом с железнодорожным маневровым тупиком — оказался пруд — лягушатник, собирали воду, чтобы тушить зажигалки. Дежурные проверяли наши шторы, чтобы было полное затемнение. Отобрали наш огромный синий радиоприемник, у всех их отбирали под расписку. Исчезли верхние наши соседи, они были Шмидты, то есть немцы, давно обрусевшие, а всех немцев, без разбора, выселяли. Отец уже не работал в Москве, все управление «Московской железной дороги» срочно эвакуировали в Ярославль. Москва готовилась принять удар. Хуже всех было Фросе. Ее Кировоградская область давно была под немцами. Помню общую панику и бесконечные разговоры про эвакуацию. Мне полагалось не путаться под ногами у взрослых. Мама не хотела никуда уезжать, она была беременна на восьмом месяце и все дни проводила в очередях, в Москве, на Каланчовке. Все запасались мукой, мылом, постным маслом.

Старший брат отца, дядя Митя, отсидев пару лет в тюрьме, был выслан в Томск. Ему повезло — он как радист оказался ценным специалистом и попал в Колпашево — городок под Томском, где был какой-то важный объект, так называемая шарашка. Там он работал по специальности, еще смог учиться заочно и обзавестись хо-

зьяйством. Туда и отправили нашу Фросю, когда уже начались бомбежки. Каждый вечер выла сирена, черная тарелка оповещала: «Граждане, воздушная тревога», — Фрося вскрикивала и залезала под кровать. А кровать была пружинистая, и прекрасная Фросина коса зацеплялась за что-то, и, как сейчас помню, — мама тащит ее оттуда, приговаривает: «Бежим, бежим в щель», — а Фрося не может вылезти, зацепилась.

А мне нравилась воздушная тревога, «щель» в огороде я называла ямкой и охотно бежала туда. Это я прочла в бабушкином дневнике, уже взрослой. А вот Фросю под кроватью хорошо помню.

Мы вернулись из Ярославля в сорок третьем году, и примерно тогда же приехала из Колпашево наша Фрося. Взяла на себя всю тяжелую работу по дому — таскала воду из колодца, топила печь и плиту.

Мама презирала общественные бани. Нас мыли прямо в кухне, меня — в корыте, маленького брата — в детской ванночке. Фрося ходила в баню — далеко, в Лосиноостровскую, «на ту сторону» — через пешеходный мост над железнодорожными путями. Фрося предлагала взять меня с собой, но мама категорически запретила — «там только вшей наберешься». Сама ездила мыться в Москву, к подруге, жившей недалеко от вокзала. Сейчас кажется, что недовольство Фросей началось со споров о помывке детей, но помню и другие ссоры, подслушанные. «Не ходи к Мезенцевым, у них самогон глушат и закусывают ворованным. И курят! И тебя видели с папиросой! Вчера, у колодца. Нашла себе подружек, на них пробы негде ставить! Может, и ты по вагонам лазила?»

Фрося отпиралась и божилась, что не лазила она по вагонам, а спиртного — белого, то есть водки, в рот не берет. На нашем маневровом тупике скапливались товарные вагоны, иногда в них было что-то полезное — продукты, ткани, и откуда-то соседи узнавали, какой вагон с каким товаром и каким инструментом его вскрыть. Фрося, конечно, не воровала, но подружилась с соседками, у которых допоздна пили, и пели, и плясали, и мама

строго приносивалась, и однажды — о, ужас! — нашла в фартуке Фроси махорочные папиросы.

Фросе пора было замуж, ей было под тридцать. Немцев еще не прогнали из Украины. Возвращаться ей было некуда. Я помню огромный сундук с ее приданым. Она мне показывала блестящие шелковые шали, комплекты нового белья и «отрезы». Особенно мне нравился парашютный шелк болотного цвета, явно уворованный из товарняка.

Мамины родственники — семья ее арестованного в тридцать седьмом брата — оставались на Украине, в городе Сновске, и никаких вестей от них не было. И вдруг пришло письмо от тети Кати — отчаянное! Пока они жили в оккупации, при немцах, Катя работала в столовой, таким образом, могла прокормить трех дочерей. В сорок четвертом году их погнали куда-то в Германию, и целый год девочки провели в вагонах, в теплушках так называемых, нигде не учились, ели какие-то отбросы, нигде никому не пригодились. Вернулись — из Риги почему-то — в свой Сосновск и оказались совсем нищими — ведь Катя работала при немцах, к тому же жена репрессированного, то есть совсем бесправный, беззащитный человек. Они жили в какой-то землянке и пытались заработать — собирали веники и продавали их. Кто-то, из жалости к детям, платил им мелочь или давал поесть. Три сестры: старшей, Вале, одиннадцать, Шуре — девять, Тамаре — семь. В письме была фотография трех аккуратных, худющих, хорошеньких девчонок.

Мама расплакалась и поехала в Сновск спасать детей, пока Катя устроится, вырвется из своего Сновска, поменяет документы. У нее были родственники в Угличе, она рассчитывала на их помощь. Мама привезла двух девочек, старшую — Валу, и младшую — Тамару, а средняя — Шура — отправилась с матерью в Углич.

Конечно, я не помню разговоры взрослых, а может, и ссоры в нашей перенаселенной квартире. Девочек уложили на широкой тахте в «большой» комнате, а Фросе уже негде было спать, только на сундуке в кухне.

Вот сундук с Фросиным приданым запомнился, как волшебные сундуки в цирковых представлениях. Там были блестящие шали с кистями — лиловая и желтая, искусственные тряпичные цветы, которых бабушка не терпела, букетики крашеного ковыля, бусы и колечки в коробках из-под духов и одеколонов.

Помню долгие хлопоты с бумагами — Фросе нужно было явиться в освобожденную Украину чистенькой, с трудовым стажем, подтвержденным справками с печатями, и со своим заветным сундуком. Его, кажется, отправили малой скоростью, в багажном вагоне.

Прощались, помню, со слезами на глазах, мама просила прощения у Фроси, если чем-то ее обидела, и Фрося плакала, что мы теперь как одна семья, а если что не так — все плохое забудется, а хорошее запомнится.

2

Вскоре пришло от нее короткое письмо — писать она все-таки за войну научилась, неграмотно, коряво, ну, и так это меня уже не удивляло — полстраны было неграмотных, едва умели свою подпись поставить, а тут еще и Украина.

Фросе было чем похвалиться — она устроилась на работу и вышла замуж. Прислала фотографию. Муж — просто красавец, чернобровый хлопец, чуть моложе ее, правда, они пока «не расписаны», но она ждет ребенка, хочет девочку. Назовет Наташей, в честь меня, любимой.

И родила, и назвала Наташей, но с мужем разошлась — оказалось, у него много таких жен, она у него девятая, и почти у всех — дети.

И это уже никого не удивляло. Мужиков стало мало, а баб — много. В моем классе, например, больше половины девочек росли без отцов. Все говорили — «отец погиб на фронте» или «пропал без вести» и тактичные учительницы больше не расспрашивали, хотя знали, конечно, у кого отца посадили еще до войны, а у кого вообще прочерк в метрике — отец был, да сплыл, а то и вообще неизвестен.

Редко, обычно к праздникам, приходили от Фроси открытки, и вдруг, лет через пятнадцать, получили мы толстое письмо с фотографиями. Наташа Бублик позировала в разных театральных костюмах. Она хочет стать артисткой, записалась в театральную студию в каком-то доме культуры, хорошо танцует и поет. Она к вам придет на зимние каникулы, посмотрите, стоит ли ей учиться на артистку.

На фотографиях была коренастая девочка, хорошенькая, но в опереточных шляпках, в каких-то перьях и с веером. Наташу, конечно, встретили, у нее был большой багаж. В багаже был петух — слегка ощипанный, банки с вареньем и компотом — это Фрося прислала гостинцы к Новому году.

Родители жили в то время напротив Киевского вокзала, в «круглом доме», в четырехкомнатной квартире, отец стал крупным начальником, нужды в продуктах не испытывали, но, видимо, для Фроси время остановилось в те голодные годы, когда люди слали друг другу продовольственные посылки. На праздники родители уезжали в свой «совминовский» пансионат, и я оставалась за старшую. На каникулы, как всегда, приехал из Львова наш двоюродный брат Боря.

Брат Юра, встретив Наташу на вокзале, скрылся в своей комнате и сказал, что он ни за что не отвечает. И он был прав. Наташа оказалась разбитной девицей крепкого телосложения, можно сказать, «секс-бомба», и как только родители отвалили, сказала, ничуть не смущаясь: «Сейчас ко мне мальчики придут, ничего, что я дала адрес?» И пришли мальчики — трое, учащиеся ПТУ. Наташа похозяйничала в кухне, потом слегка переставила мебель в моей комнате, и они сели играть в дурака.

Братья мои озаботились: «Мальчики, а вам есть где ночевать? Куда вы пойдете?»

Оказалось, что Наташа познакомилась с мальчиками в поезде. Они всю дорогу играли в карты — «на шелобаны». Один из мальчиков был москвич, или родственники

у него в Москве, двое — из Украины. Наташа влюбилась в одного, а другие — в нее. Они пришли и на другой день.

Помню — возвращалась из магазина, мороз, метель — а у нас на седьмом этаже окно открыто, и на весь двор звучит музыка. Наташа выставила на подоконник проигрыватель — огромный, тяжелый, чтобы все соседи знали, как у нас весело. «А что, нельзя?» — Наташа велела мальчикам перетащить музыку в большую родительскую комнату, а я, наконец, получила доступ к своему письменному столу.

Я жила тогда в Ленинграде и задержалась у родителей по каким-то неотложным московским делам. Ночью печатала что-то на машинке под веселую музыку и Наташин визг — они там резвились, как дети, — уже не на шелобаны играли, а на раздевание.

Родители продумали «культурную программу» на все каникулы, взяли билеты в театры, в том числе и в Большой, на какой-то балет. Львовскому нашему брату Боре было поручено повести Наташу в Большой. Он долго наблюдал, как красotka одевалась, меняла блузки и юбки, зимние ботинки — на туфли, торопил ее, и, наконец, они уже доехали с пересадкой до Театральной площади, а когда перешли площадь, в сквере у Большого, Наташа сказала: «Я никуда не пойду», села на скамейку и стала вытирать снегом свои капроновые чулки. «Мы уже опаздываем!» — «Я не пойду, у меня чулки забрызганы!» И не пошла.

Не помню, чем дело кончилось. Боря метался по скверу в сомнениях — и билеты уже не продать, и оставить девочку на скамейке посреди Москвы — она и домой может не вернуться, заблудится, познакомится с какими-нибудь придурками...

Много лет прошло. Борис Анатольевич Остудин, хотя и пенсионер (по возрасту), преподает во Львовском университете математику. Говорит по-украински, может и по-польски, и по-английски. Наташу Бублик вспоминает как «исчадь ада». Тот вечер в театре помнит в деталях. Уже тогда догадался, что она и в театр идти не хоте-

ла, у нее были свои планы на вечер, а забрызганные чулки она по дороге придумала...

Наташа потом появлялась в Москве проездом — много раз. После школы вышла замуж за какого-то мотоциклиста, путешествовала у него за спиной в шлеме — по всей стране, кажется, он был из Сибири. Бросила сибиряка, влюбилась в кого-то другого, пыталась создать семью.

Последний раз я видела ее уже в другой родительской квартире, в Неопалимовском переулке. Она драила кухонную посуду — кастрюльки, сковородки каким-то своим «общепитовским» методом. Она работала в разных столовых — посудомойкой, уборщицей. Про театральные свои мечты забыла — «а туда только по блату принимают!» Она не унывала — «ой, да я нигде не пропаду, всюду же людям надо питаться», — она рассказывала «бабе Леле», моей маме, про свои любовные приключения, но никогда не жаловалась, считала себя победительницей. Свободный человек — Наташа Бублик, хозяйка своей судьбы.

За минуту до счастья

Упал

— Уууууу... — тихонечко заводит, — уууууу... — забирает сильнее, отчаянней... уууууууууууу...!

Прохожие озираются, он орет, захлебывается, она психует, тянет за варежку, варежка на резиночке, бычок на веревочке. Стыдно, скажут, подумают все, что за мать? мать их, господи! Холодно-то как, скользко, мерзко... Проклятый февраль, пропади он пропадом, чертовы сумки, яйца бы не побить, он упирается, не идет, что ему надо? Что?!? что он орет? какая муха его? господи помилуй, да когда же все это кон...

Но все только начинается, и уже ничего не слышно, что она думает, так он орет. Она, наконец, останавливается, опускается рядом на корточки:

— Что случилось, а? что ревешь? — слезы ручьями, фонтанами, как у клоуна, и нос как у клоуна, бесплатное представление, елки-палки...

— Уууууууууууууууууууууууу... — на всю улицу.

— Не реви! — она встряхивает его, встряхивает его, он на секунду замолкает и в трижды:

— уууууууууууууууууууууууу...

— не реви, не реви же ты, не...

— Уууууууууууууууууууууууу...

— Скажешь ты? скажешь, нет? что случилось?

— уууууу... уууууу... уууу... — он всхлипывает, ртом хватая стеклянного воздуха, прерывает вой, разделяет: — у... уууу... у-уууу... пал.

— Упал? — ошеломленно спрашивает она. Но ведь он когда еще упал? там еще упал, у аптеки, она думала, заревет, но нет, поднялся, потяпал за ней, не пискнул ведь даже. Это что же, только сейчас дошло?

— Ну и что? — растерянно спрашивает она. — Больно тебе? больно тебе, да? где? где, покажи?!

Но показать, где больно, не знает, в глазах такое недоумение, обида, горе великое. Упал.

Ни за что упал, в первый раз.

Непьющий

— Как он тебе, мам?

— Ничего... непьющий.

— Да при чем тут это, мам?! Как вообще?

— И вообще... интеллигентный, непьющий такой... Но не мне с ним жить, слава богу.

Отомстила

Господи! это вот из-за такого-то она тогда, да? и ведь еле же откачали... и ведь если б одна она, а Сергей? ведь его вообще могло и не быть... и четыре аборта.

— Ну а как вообще у тебя дела?

— Ничего...

— Женат?

— Был я, да... скоротечный рак, скоро год...

— Ох, прости!

— Ничего.

Ничего, хорошего, слава богу....

— Ну а дети есть у вас?

— Был, да, Вася...

— В смысле, был?

— В смысле был, Оксан, лейкемия...

Господи! Господи! ты меня не знаешь, но спасибо тебе! есть же ты! есть ты все-таки, слава богу...

- Ну а это кто у нас там? дочка, сын?
- Что ты, Вень, это внук, Алеша.
- У, какой... Боец! молодец... богатырь...
- А ты изменился. Пьешь?
- Что ты Ося, какое там, диабет...

Диабет, а несет «веселенькой» за версту, разнесло... спасибо, Господи! слава тебе! Аллилуйя!

- Ты прекрасно выглядишь, кстати...
- Да? Ну, спасибо на добром слове...

И всей жизнью проклятой, одиночеством, этим всем, за часы, за недели, за годы, она ему:

- Ты прости меня, Венечка, нам пора...
- Это ты меня прости... Здесь гуляешь?
- Это тут случайно пошли...
- Ося?
- А?
- Может быть, еще увидимся?
- Вряд ли...

Повернула коляску, пошла. Каблучки. Вся точеная, восемнадцати не дашь со спины, а кленовая осень в пятнах. Обернулась у светофора — он смотрит, смотрит, стоит! Улыбнулась, отвернулась, погремешку поправила, светофор зеленый, опять пошла, внука собственно его увозя, столько лет ждала отомстить. Дождалась.

Отомстила.

Паразитка

Это даже не ради себя она, ради сына. Чтобы понял, какая скотина его отец, чтоб таким же дерьмом не вырос.

Он сидит напротив, навозный жук, амeba, микроб. Жует и жалуется на жизнь, режет блинчик, жир на губах, брюхо в стол не влезает, сволочь! того и гляди, родит или лопнет. Мыльный пузырь. Как их там, у Алешки в природоведение? — Паразиты.

— «Паразиты — организмы, питающиеся за чужой счет», в переводе — «около пищи», как папа твой, присосутся, и жрут, и жрут...

— Смотри, как на папу твоего вот этот похож... «Паразитическое простейшее, слизень». Брюхоногий моллюск, главное, чтобы ты таким же не вырос.

У него его гены, а гены как зараза, болезнь. Их не вытравишь разом...

Встретились, сходили в кино, посмотрели мультик, попкорн, кока-кола, пиво, билеты, кафешка, все на ее. Пусть Алешка полюбуется, пусть увидит, сравнит, он хоть маленький, а все понимает. А этот, тьфу ты, господи! тошно смотреть... хоть бы поперхнулся заказывать с семгой блин, хоть бы с сыром заказал, сволочь. Чупа-чупс Алешке подарил, разорился...

— Долго копил?

— Ты о чем?

— Вон какие конфеты даришь дорогие, балуешь...

— Зачем ты так, Лен?

— Хоть на «чупа-чупс» у матери не просить... или, может, сам заработал?

А Алешка сидит, приставкой пищит, чупа-чупсом щеку раздул, уткнулся в экран, зря она, дурра, вообще приставку эту ему купила.

— Ты зачем меня сюда вообще позвала?

— Как зачем? Ради сына. Сын же должен видеть отца? — вот и пусть полюбуется на папулю...

— Лена, что ты делаешь, а?

— Работаю как проклятая, Витя. А ты? Посмотри на себя! Здоровый мужик, на тебе цистерны возить...

— Тебе легче от этого, да?

— Мне не легче, Виктор, мне пофиг. Одевайся, Алеша, пойдем. С меня хватит этого цирка.

Торговый центр, эскалатор вниз.

— Вынь ты палку эту чертову изо рта! Там же нет уже ничего, на щепки разгрыз, может быть, на память оставишь, а? Хочешь стать таким же, как он, скажи, да? Скажи! Таким же вот, как он, слабаком? Тряпкой вот такой? паразитом...?!?

И Алеша, изнизу, со слезами злыми ее, в его глазах...

— Папа добрый! он хороший! он мой! а ты, а ты... паразитка.

Катя

В первый день он запомнил море, огромное, в половину неба, без той земли, дядька с трубкой и маской плавал далеко и краба поймал, все столпились, смотрели краба. Разобрали по шкафам чемоданы, ему досталась тумбочка у окна, море не было видно, а только какие-то развалины или стройку. Шторы были зеленые, телевизор показывал первый канал. Папа в шахматы свои с каким-то тоже бородатым на пляже играл, у того была жена очень толстая, в соломенной шляпе. У мамы сразу же на солнце обгорел нос, и купальник ей не шел, они спросили, где у них тут и что, после ужина ходили на рынок, купили купальник, который шел, папе разливного вина, и очень много черешни. Посидели в кафе и ели шашлык, потом еще и мороженое, мама сказала, что они транжиры.

Во второй день, после обеда, когда самая жара и нельзя загорать, он пошел обследовать территорию санатория. Под тентом — теннисные столы, но все заняты, да и играть ему было не с кем. Он сказал потом папе про эти столы, но папа сказал «давай потом», втроем поиграли в карты.

На третий день он опять забрел к тем столам, думал, если будет свободный, то добежать за папой. Столы были заняты как вчера, но там стояла девочка, видно было, что ей тоже очень хочется поиграть, и тоже не с кем, и он решился, подошел к ней, и предложил, она обрадовалась, согласилась. Он сказал, что он из Москвы, — а ты? — она ответила — Катя, а откуда, он не запомнил.

Стол освободился, но оба совсем не умели играть, и все время воронили мячик, он отлетал, отлетал, а потом целых тридцать раз отбить получилось. Потом мячик отлетел, закатился под чужой стол, они оба побежали за ним, и под столом треснулись лбами в искры. Потом мама с папой его позвали на пляж, он пошел, обернулся, девочка все еще стояла у их стола, на него смотрела, мама сказала — какая красивая, — он ответил,

что ее зовут Катя. Откуда она? — спросила мама, он ответил — не знаю.

На пляже он все ждал, что Катя тоже придет, но ее так и не было. Вечером в санатории концерт и танцы. Ради интереса решили пойти. Катя тоже пришла, но потанцевать предложить было как-то не по-мужски, то есть было еще труднее решиться, чем в теннис. Папа с мамой танцевали, он подошел к Кате, сказал привет. Она улыбнулась, спросила — пойдём танцевать? Он ответил, что не умеет.

— Пойдем тогда к морю? — и они пошли к морю.

На площадке танцевальной музыка заиграла какой-то вальс, но они далеко уже отошли, и вальс здесь играл очень тихо, и громче вальса шуршало море.

— Тут очень много звезд, — сказала она, он посмотрел на небо, звезд и правда было столько, сколько она сказала.

Еще стрекоз, пахло морем, Катя поймала в траве светлячка, светлячок светился у нее на ладони. Они еще побродили.

Потом на танцевальной площадке погасли огни, он проводил ее до того корпуса, где она жила, корпус был от ихнего справа, в соснах. Они стояли в иголках от сосен, на иголках лежало желтое пятно от окна.

— А мы завтра утром уже уезжаем, — сказала она.

— Жалко... — ответил он, думая, что завтра снова не с кем будет играть. Не зная, что больше никогда ее не увидит.

23 февраля

Мороз под тридцать, девятый вечера, воздух стеклянный, ни черта лысого транспорт не ходит, народ курит паром, табаком, перегаром. 23 февраля у страны. Наконец идет, идет! 691-й, гадина. Очередь мрачно топчется, залезает, пихается, огрызается. Обустраивается. Кое-как. Повернуться негде.

Вдруг две дурищи заводят в передние пьяного. Такого пьяного, хоть куда. Налакался, скотина, защитничек, смотреть тошно. Глаза стеклянные, пальто затоптано, все загажено, шарф в ногах, шапка съехала, перегарище, дышать нечем.

— Вот куда вы такого к людям в салон его?

— Он же лыка не вяжет, боец, пусть ногами топает, хоть продышится...

— Вот скотина...

— У мужчины жена умерла.

Ах ты, господи, ясно...

Разлюбила

— Ты чего опять не пришла?

— Ничего.

— Заболела?

— Не...

— А чего?

— Ничего.

— А к нам придешь?

— Не смогу.

— А завтра?

— Не.

— Почему?

— Не смогу, да и все, не смогу.

— Хочешь, я к вам зайду?

— Не, не надо.

Разлюбила. Разлюбила она тебя. Разлюбила.

Целый день и следующий до вечера с этим словом жить протерпел, геометрию сделал, русский, портфель собрал, а потом окно открыл, дурак такой, и туда, там шестнадцатый у них этаж, новостройка.

Она как проснулась, сразу к носу зеркальце поднесла, ничего уже не видно, почти прошел! прыщице был такой, хоть топись, как с таким украшением на носу целоваться?

Первое слово

— Пойди сюда. Иди сюда, я кому сказала?

Пришел. Коленочки в складочку, палец в рот, вот-вот заревет...

— Это что такое? Что это такое, я тебя спрашиваю? вот это? что такое вот это, вот это вот?!?

«МАМА» — процарапал чем-то на новенькой икеевской табуретке, процарапал, что не сотрешь, написал на обоях фломастером, идиот, вредитель...

Смена

— А старушка та, наверное, умерла...

— Какая старушка?

— Она тут сидела, помнишь, всегда на лавочке?

— А, ну да...

— А теперь сумки есть где поставить.

Изменила

Пожились, двое детей. Маша старшая, Мишка в коляске.

А потом привели мальчика со спортивной машинкой с антенной и на пульте. И она ушла с ним на качелях качаться.

Кораблик

Черно-белая фотка, какой-то забор, в его полосатой тени обернулись к фотографу двое с коляской.

Обернулись, вместе сказали в камеру «чи-и-з....», а потом посмотрели друг на друга и рассмеялись.

Впереди дорога свернула за поворот. Все в каких-то солнечных вспышках, как будто фотографируют даже окна.

Угол третьего дома, черно-белый прямоугольник двора в серой картонке фотоальбома, лишенный цвета, только лучше передает — весна! и деревья уходят по лужам в небо. Между двух тротуаров застыл полосатого цвета кот, гаражи, «запорожец», дальше приемный макулатурный пункт, почта, детский сад, шестая детская районная поликлиника и аптека.

Оседают, седеет снег, и сосульки тают. Газетный кораблик уткнулся носом в трещину асфальтового ручья, так и хочется пальцем его подтолкнуть, но здесь, слава богу, все останется так, как раньше.

Девочка

Девочка некрасивая, в полосатом свитере, стрижка «равнение под горшок», криво зажала рот, вцепилась пальцами в сдвинутые складками формы колени. Не крылышке белого фартука октябрятский значок, в глазах-буравчиках ожидание, недоверие, ей фотограф сказал только что, что сейчас из стеклянного глаза на трех ногах вылетит какая-то птичка.

Будут рыбки

Это где-то было раньше? Было, ага, но очень давно. Он из школы домой бегом, и с порога на пол мешок, портфель...

Всем привет! — а в прихожей обедом пахнет, тепло, зима, выйдет с кухни бабушка с полотенцем. Если вечером, с конструирования когда, уже дома все: папа, бабушка, мама. И потом уже Нина, Павлик. После Нины с Павликом Тобик, отличный пес, тоже сдох, собака.

Ну, зима, зима скотинюга, говорят, еще холода, а когда жара — тоже худо, просто некуда дальше жить. Так и есть, что некуда, собственно говоря. Так и есть, что некуда, братцы. Может, рыбок тебе завести? — заведи. Будут рыбки.

За минуту до счастья

Где-то видела эту фотку.

Лето, чей-то дачный забор, антоновка падает стволом на подпор, мальчик зареванный, брюшко-мячик обтягивает тельняшка, дедушка прячет за пиджачной спиной щенка, фотография называлась «За минуту до счастья».

Бабушка в командировке

Трое небольших внуков у меня на даче. Шум, возня, ссоры, ушибы, занозы, вопросы, просьбы. Мешают работать, черти. Но я слишком хорошо знаю: это и есть счастье. И, кстати, здоровье: природа не выдаст человека, который жив ет не для себя одного.

Я однажды в Швейцарии хотела сказать одной даме приятное: «Даты на здешнем кладбище показывают, что люди в этом здоровом климате живут по 100 лет. Вы опережаете нас на 20 лет жизни!»

А дама горячо — но почему-то горестно — закивала мне в ответ: «Да, вы знаете, это форменное бедствие. Медицина прекрасная, уход отменный, и старики — уже в полной деменции — живут в домах престарелых годами! Десятилетиями!»

Э, да здравствует Россия и ее оздоровительная пенсионная реформа, которая не допустит такого безобразия!

В нашей швейцарской резиденции переводчиков раз в неделю — общий ужин. Однажды рассказывали, кто что переводит. Один сознался, что поэзию. Спросили его, можно ли на это жить. Ответил: «Нельзя, но надо!» Вот это по-нашему.

Как-то и мои внуки затеяли выбирать себе профессии. Игнат (9 лет) готовится в инженеры, Тихон (6 лет) хочет быть полицейским или военным, жилистый и подтянутый. А вот Ариадна (7 лет) заявила в писатели. И мы подняли ее на смех. Я изуверски заметила, что писатель в перечне профессий не значит. Игнат злобно подтвердил: «Писатель — это хобби!» Он ревниво следит за «конкуренцией» родителей, у него оба делают ком-

пьютерную анимацию, а у Аришки оба литераторы. Но Аришка быстро нашла выход: «Тогда я буду врачом, как мой дедушка!» Молодец, не растерялась, годится в писатели.

Я между тем перевожу роман Алекса Капю «Королевские дети». Супружеская пара в «Тойоте» застряла в снежную бурю на горном перевале и ведет ленивую перебранку в ожидании утра. Утром обязательно придет снегоочиститель, это же Швейцария, и им, конечно, выпишут штраф за то, что пустились на ночь глядя в такую погоду в горы, но опасности для жизни нет, это ведь не перевал Дятлова. И не Россия, где человек испокон веку остается один на один перед голым ледяным космосом.

И если выбирать, я, конечно же, выберу Россию.

Поскольку Цюрих — интеллектуальная столица Швейцарии, тут происходит много литературных событий, и переводчиков на эти события тоже приглашают.

Фонд Джеймса Джойса устроил чтения сравнительных переводов «Улисса» на немецкий язык. Всем раздали бумажные листы формата А3: слева фраза Джойса, справа классический перевод на немецкий, а еще правее — усовершенствованные переводы тех, кто никак не может успокоиться. И ценители изысканно смаковали ритмику, топику, изотопику каждой фразы... Потом пили вино.

Что я хочу сказать: шоб нам так жить.

Но лучше все-таки нет. Нехорошо это.

У меня есть друг юности, физик, летел из Праги в Москву, купил в дьюти-фри бутылку виски — побаловать своих сотрудников, — но уронил пакет, бутылка разбилась. Но пакет-то остался цел! В такой ситуации все поступили бы по-разному. Я бы поступила в точности как он — по-сибирски и по-крестьянски. Не пропадать же добру!

Когда он мне рассказывал — заплетающимся языком — эту историю по ватсапу, выяснилось, что я не в Москве, а под Цюрихом, и он — неповоротливыми мозгами — вспомнил, что ему тоже скоро лететь в Цюрих,

и даже выяснилось, что улететь отсюда мы будем в один день! И еще хорошо, что не одним рейсом, а то было бы, как в том анекдоте: «Я вас (сибиряков) три года в один самолет собирал!»

Анекдот от моей чешской коллеги, рассказанный по дороге из Берлина в Лейпциг, на книжную ярмарку: «У человека с техническим образованием главный вопрос к жизни: как заставить это работать? У человека с естественнонаучным образованием: почему это работает?»

А у человека с гуманитарным образованием к миру только один вопрос: с кетчупом или с горчицей?»

Между тем высокие технологии добрались и до сферы торговли: в сети «Пятерочка» установили автоматы для самооплаты: набрал товаров в тележку, подкатил к автомату, отсканировал все покупки, расплатился картой, автомат тебе распечатал чек — и ты идешь домой потреблять. Как сказали однажды в казино Василию Ивановичу Чапаеву, «у нас здесь верят на слово». Ну, тут Василию Ивановичу карта и поперла...

А вот дедушка двух девочек-подростков из книжки Франциски Гем «Сестры-вампириши» работал в автосалоне. Из его автосалона никто не уходил без новой машины. Главный аргумент у него был такой: «Известно ли вам, что женщина покупает себе в среднем шесть пар обуви в год. И что, после этого мы, мужчины, не можем себе позволить одну новую машину раз в несколько лет? Да я вас умоляю!» Главное — найти верные слова. Хотя шесть пар обуви в год могут стаптывать разве что футболисты.

У этой Франциски Гем я переводила книжки не только про девочек-вампириш, но еще и про маленьких вулканарцев, мальчика и девочку, живущих со своими семьями внутри вулканов. Эти дети — Вулко и Фламбия — попадали в разные приключения, и всюду их спасала то реактивная, то тепловая сила их огненных пуков. Издательство, ознакомившись с содержанием этих книжек уже не на пальцах, а на деле, гонорар мне заплатило, но осталось в сомнениях, издавать ли эти книжки. Не навлечет ли оно

на себя обвинения в нарушении приличий и некоторых табу. Не сместит ли таким образом окно Овертона в сторону некоторой распушенности.

Но трое моих внуков приносят мне с улицы много сокровищ детского фольклора. «Что зыришь? В штаны напузыришь!» Но они уже «просвещенные» настолько, что хорошо знают, какие слова нельзя тащить в дом. Чтобы в доме не завелась какая-нибудь зараза.

В этом отношении я придерживаюсь вековых предрассудков моей крестьянской семьи. У Чуковского: «Моя бабушка ругается: черт, черт, черт!» — «А моя ругается: господи, господи, господи!» Вот я как вторая. Хотя меня — как переводчицу с немецкого — очаровывает отсутствие у немцев разделения на цензурную и нецензурную лексику, есть только разные лексические уровни.

Готовя внукам обед, ломаю голову, как лучше перевести для детской книжки имя рыцаря-разбойника Rodrigo Raubein: то ли Родриго Гробуян, то ли Грубиан. В юморе сдержанность всегда лучше кислотной выпуклости, немцы скорее сдержанны: *dezent*.

Внуки между тем рассаживаются за столом, заводят важный разговор о том, что полезно, что бесполезно. Я пресекаю эти рассуждения на корню

— Все полезно, что в рот полезло!

Они смеются и на все лады повторяют мою пещерную мудрость, добытую у костра в промежутке между охотой на мамонта и ловлей рыбы на плетеную корчажку. Потом ведь будут вспоминать: «Как говорила наша малограмотная бабушка...»

Одну насыщенную неделю я провела в Берлине на семинаре переводчиков с немецкого. Съехались со всего мира тридцать с гаком разновозрастных людей — и за краткостью времени и плотностью взаимодействий образовалось настоящее сообщество. Моментально, как в окопах.

Выделилась немедленно «пионервожатая», англичанка Роза. Она всех организовывала. Например, когда в конце срока у нашей хохотушки Ан (Таиланд) в магази-

не вырезали из сумки кошелек со всеми ее деньгами, именно Роза пустила по рядам конверт, и мы этот конверт быстренько наполнили. Даже не сомневаюсь, что в нем оказалось больше, чем было в утраченном кошельке.

Выделился сразу «душа общества», бразильянец Альдо Бонифацио, школьный учитель немецкого, поэт с гитарой, грустный клоун, который без улыбки сыпал шутками. В последний наш вечер в сирийском ресторане он нам пел, между песнями бормоча под перебор струн что-нибудь вроде: «А это будет самая большая наглость этого вечера, в следующей песне моим соавтором выступит Райнер, сами понимаете, Мария Рильке; благодарю вас за незабываемую ночь, простите, вечер...»

А самым болтливым был индиец, он говорил на самом нечленораздельном немецком, зато непрерывно. Кто бывал в Индии, знает, на каком жеваном английском говорит вся страна.

Самой молчаливой была я, потому что я и по-русски то плохо говорю. Тем не менее, как только мы разъехались по домам, все, не сговариваясь выползли в Фейсбук и разыскали даже меня, хотя у меня нет латинского никнейма. И все зафрендились.

Ну разве это не чудо?

А на первом общем ужине за длинными столами наш организатор Юрген для знакомства поднимал каждого из переводчиков (Сенегал, Бразилия, Монголия, Польша, Италия...), просил назваться и рассказать, кто откуда, что переводит с немецкого и на какой язык. Одна девушка сказала, что она из Македонии, и уточнила: «Из Северной Македонии». И переводит на македонский. Юрген немедленно выдал встречное уточнение: «На северо-македонский?»

Я спросила у сидевшей рядом канадки, какая у них там погода. Она ответила: «Снег вот посюда», — и провела ребром ладони под носом.

А англичанка, которой уже надоело на каждом углу отвечать, что там с брекзитом, встала и жалобно представилась: «А я из страны брекзита...»

Аэрофлот — как выяснилось в полете на Берлин — теперь тоже экономит, как и каждый из нас: на обед дали сверток с сэндвичем и яблоком. Мне это только на пользу, но за державу обидно.

Германская держава тоже не выказывает никакого богатства: скромная, притихшая. Только румыны в вагоне эс-бана перекрикивались на полную громкость.

Арифметика. За январь-февраль наши колониальные хозяева откачали из страны 20 миллиардов долларов. По 10 миллиардов в месяц. В рублях это 700 миллиардов. Разделим на 140 миллионов населения колонии, получится по 5 тысяч рублей с носа в месяц.

Если медианный доход по России 27 тысяч рублей в месяц, то подушная подать супостатам составляет почти 20%.

А татаро-монголам платили десятину. Все ж побожески было.

У меня был муж, который посмеивался над моими ежедневниками и четкими расписаниями. Сам он ничего не записывал — на том основании, что про важное событие он не забудет, а если про какое забыл — значит, оно не так уж и важно.

И пока что наши принципы нас не подвели.

У моего поколения, а я родилась в 1948 году, детские болезни — корь, скарлатина — считались обязательными и не влекли за собой никаких тяжелых последствий. Ну, недельку поваляешься в постели. Когда потом при заполнении медицинских карточек у меня спрашивали, чем я болела, я стандартно отвечала: ничем, только детскими. Не понимаю, откуда сейчас берется паника «эпидемии кори».

Одна моя дочь — против прививок, другая — за. Я занимаю нейтральную позицию и просто слежу за тремя внуками, растущими в одинаковых условиях. Пока что никак не сказывается.

Как гласит медицинский анекдот: «Вы считаете себя здоровым? Это мы вас просто не дообследовали».

А я тут открыла лучшее средство от радикулита: убирать снег после трехдневного снегопада на площади в три сотки. А что делать, выехать-то на машине надо со двора.

Вот так делаются не только физические открытия типа яблока Ньютона и «эврики» Архимеда, но и медицинские типа моего.

Была сегодня у младшей дочери и ее мужа, получила в подарок IX книгу. Оказывается, это даже обозначено на обороте титула: «Роман написан по идее режиссера Аглаи Курносенко».

Что ж, в браке рождаются не только дети.

Начала читать «Финист — ясный сокол» Андрея Рубанова — и пропала. Не понимаю, как у него это сделано! Просто ошалела. А уж я ли не читывала книжек этих...

В книге есть веселая, но истинная характеристика нашего народа: «Четвертой, и, возможно, важнейшей, корневой практикой этих людей является всеобщее угрюмство: особое состояние духа и рассудка, когда ни ты сам, ни другие вокруг тебя не ждут от будущего ничего хорошего.

Они называют это — «ровная дрежа».

Каждый новый год может быть холоднее предыдущего.

Каждая новая лютая зима может погубить всех.

С самых ранних лет любой дикарь думает как воин: как тот, кто уже мертв.

...Смерть всегда здесь, вокруг, рядом, за плечом.

Дикари живут внутри смерти, как мы живем внутри сытости, самолюбия и довольства.

...Они, эти люди внизу, — действительно почти всегда очень угрюмы и оживляются обычно только после того, как выпьют несколько ковшей хмельной браги.

...Они чаще молчат, а если говорят — то скупой и кратко. И если можно ничего не сказать, но ответить жестом — они всегда отвечают жестом».

Это в точности мое ощущение от этой книги: она написана по этому рецепту, скупой и кратко. Практически жестами. Не понимаю, откуда набралось 568 страниц. Ни одного лишнего слова.

Уже говорил кто-то: эта книга — славянский ответ на «Игру престолов». И только читая «Финиста», я поняла, какая сила гнала меня к экрану смотреть по сезону в ночь.

Та же, что и к этой книге: жажда счастья. Счастливым делает человека постижение мира; как будто все твое эмпирическое знание и все догадки о мироустройстве у тебя на глазах получают научное подтверждение. Почему-то это происходит на вещах, далеких от реализма.

А ведь я не сказать чтоб любитель фантастики.

И совсем не любитель читать своих родственников. Это вообще первая из одиннадцати книг моего зятя, которую я прочитала. Тут работает как раз другое правило: меньше знаешь — лучше спишь. Когда-то прочитала 3—4 страницы из одной его книги, убедилась, что он очень хороший писатель — и успокоилась на этом.

Когда-то поэт Леонид Овчинников подарил свою первую книжку матери в деревне. Утром проснулся — мать его книжкой уже накрыла крынку с молоком. От мух. И это правильно!

Но вернемся к «Финисту»: забавно было обнаружить, например, что автор — явный феминист. Хотя Галина Юзефович и писала, что девка Марья не особо проявляет себя в книге как личность, но ведь короля играет свита. Ни один из троих рассказчиков не посмел настоять перед этой Марьей на своей воле; ждал ее решения. «Она не хочет». «Я хотел, но я ей не понравился».

А старая ведьма Язва и прямым текстом объявляет, что мироустройство, коловрат мира определяется женщинами.

И еще одна деталь не укроется от близкого — а может, и от далекого читателя: автор — сам отец «малой девки». Это заметно по осторожности его жеста, по обдуманному подбору слова.

Кстати, вот зря на задней стороне обложки напечатано: «Содержит нецензурную брань». Не содержит.

В советские времена, в мою инженерную бытность семидесятых годов, мне приходилось летать в командировки из Новосибирска в города с электронной промышленностью (Смоленск, Вильнюс, Зеленоград). Интернета не было, а самолеты и гостиницы были дешевы, но дефицитны, поэтому обязательно с подселением. В гостини-

цах ВДНХ были номера и по шесть коек, и на каждой спал командировочный.

Я, честно говоря, любила эти случайные знакомства, а одну свою «сокамерницу» запомнила на всю жизнь. Теоретически я знала, что есть сорт женщин, которые встают на час раньше, чтобы привести себя в порядок. Мне-то всегда этот час был дороже для «поспать», о завтраке не было и речи, а из косметики — только умыться.

И вот моя соседка уже проснулась — и начала приводить себя в порядок. Это был самый сладкий час сна в моей жизни. Пощелкивали какие-то резинки, потрескивали какие-то застёжки, шуршала щетка для волос, пшикал пульверизатор, откручивались колпачки помад и щеточек, захлопывалась пудреница — а мне все еще можно было спать под этот баюкающий шелест шелков и шорохов приспособлений, о которых я понятия не имела. Как говорила моя подруга Надя Гайдук, «хорошо вам, брюнеткам, вы только встали — у вас уже и брови, и ресницы, а у нас все это появляется только потом!»

Вся моя женская жизнь прошла бездарно, в сплошных трудах. Как говорила еще одна моя подруга, вдова адмирала Гришанова: «Что ты хочешь, я жена офицера, мне больше пяти минут на сборы никогда не давали».

Перевожу в очередной книжке: «На одном заседании комиссии Евросоюза говорилось о нестабильности европейской электросети. Докладчик то и дело упоминал законы Кирхгофа, которые ограничивают передачу электроэнергии по проводам. Некоторым депутатам это не понравилось. Они возмутились: „Какие еще законы? Законы ведь можно изменить!“»

Как вы поняли, законы Кирхгофа, касающиеся электричества, есть неумолимые законы природы, их не меняешь государственным постановлением.

И вот наша Дума скоропостижно одобряет законопроект №503785-7 об отъеме земель под любыми жилыми домами. По сравнению с этим законом собянинская реновация — как кисейная барышня по сравнению с уличным бандитом.

Они вознамерились подчинить себе законы Кирхгофа.

Не слишком ли хорошо я живу, если ночами ворочаюсь без сна из-за противостояния героического Кунцева с вражеским ПИКом. Как пел Окуджава: «Не сладко ль я живу, тобой лишь дорожа?»

Да и стыдно мне, человеку с высшим техническим образованием, настолько не доверять законам природы и диалектики. Столько нервных сил угробить на волнение из-за реновации, уплотнения Москвы и уничтожения права собственности.

У меня и собственности-то нет, если не считать моего крохотного ДЭУ-Матиза.

Накапливается, накапливается количество — и переходит в качество. Вот снесли природы роскошное здание «Литературки» в Костянском, 13, — да оно одно займет половину мусорного полигона. Утопнет ПИК в собственных отходах, прежде чем загадит своими «человейниками» всю Москву.

Не попустит Господь (ну окей, диалектика).

Году так в 1990 одна американская славистка хотела со мной побеседовать — и мы поехали из ЦДЛ ко мне домой. С нами увязалась моя любимая подруга, а она «львица»: когда она берет слово, остальные могут спокойно выпивать и закусывать, очередь выступать до них уже не дойдет.

Славистка наша слушала ее, удивлялась, восхищалась и — если удавалось — вставляла свое слово: «Я думаю иначе, но мне очень интересен ход ваших мыслей!»

Я получила незабываемый урок.

Еще бы научиться им пользоваться: «Я думаю иначе! Но мне очень интересен ход ваших мыслей».

А еще лучше — совсем не вступать в дискуссии. Как у Бродского в «Не выходи из комнаты»: «инкогнито эргосум» — вместо «когитоэргосум». Главный рецепт счастья.

Ехала на будничной вечерней электричке из Москвы, сидела у прохода, а наискосок напротив — у окна — сидел артист Евгений Цыганов (сериал «Оттепель», если что),

разговаривая с пожилой родственницей. Он разговаривал негромко, но очень эмоционально и с выразительной мимикой. У актеров ведь очень хорошо размяты лица, залюбуешься, я и любовалась, не могла не пялиться на него.

Понимаю, как мы им надоедаем, когда таращимся на них, не даем покоя; и он старался отворачиваться от меня к темному окну, оберегая своеличное пространство, но в какой-то момент я поняла, что он через отражение в окне ревниво следит, слежу ли я еще за ним, не наскучил ли мне его маленький моноспектакль, умеет ли он «держать зал».

Как видно, я не подвела актера, потому что когда я со своей шестилетней Аришкой поднялась выходить, он одарил моего ребенка своей неповторимой обаятельной улыбкой. И невдомек ему было, что Аришка — дочка той девочки Аглаи Набатниковой, с которой он — подростком — учился вместе в киношколе на Воробьевых горах.

Первенец

Шесть лет назад я родила своего первенца Ариадну, не знаю, будут ли у меня еще дети, но такого переворота уже не будет.

Я хотела родить дома, а семья была крайне против — и мама, и муж. Я не стала с ними бороться, решила их обхитрить. Переехала в конце срока на дачу, дождалась, пока мама уехала на радио давать интервью, а муж поехал по делам.

В этот день умер Эдуард Володарский. Я была очень чувствительна и умывалась слезами, слушая музыку из «Свой среди чужих, чужой среди своих». Под эту тему ребенок начал процесс. Я сообщила родственникам смской, чтобы они меня больше не беспокоили, и пошла устраивать себе роды соло. Я ходила на курсы подготовки и была уверена, что справлюсь. Страшно не было. Боли я не чувствовала, все глубже погружалась в транс. Я приняла теплую ванну, выпила отвар трав, исторгла из себя всю пищу, и укрылась в дальней комнате, проживая волны, проходившие через тело. Не знаю, сколько прошло часов, но родственники в какой-то момент появились вихрем, схватили меня и повезли на машине в роддом. Муж суетился, говорил по телефону — моя жена рожает! Ему было страшно, и эта эмоция мне очень мешала. Вообще я против присутствия мужчины при родах. Идеальная схема в Африке: отец не только не путается под ногами, но и уходит на сутки в пустыню, подальше от родной деревни.

Мы неслись по пробкам, по разделительной полосе через Кутузовский проспект, меня уже скручивала боль,

отпускала на минуту и начиналась снова, в перерывах я успевала глубоко дышать.

— Уехала перед родами на дачу! И я ее послушал! Это было в последний раз! — ругался муж.

Отошли воды. Я кричала, окна в машине запотели.

— Ни дня не стала ждать, — сказал муж о дочери. Был вечер накануне предполагаемого дня родов, его определяют в женской консультации.

Возле роддома, куда я продвигалась шагом, останавливаясь, чтобы перетерпеть потугу, нас встретила пожилая нянечка, улыбнулась во весь рот и сказала:

— Ждем с нетерпением!

Дальше началось уже то, чего я хотела избежать: холодное казенное учреждение с резким электрическим светом, допросы для заполнения бумаг, капельница с окситоцином, роботизировавшая движения матки. Однако я одержала часть победы — зайдя в роддом глубоко в процессе, я закрыла возможность опасных манипуляций, которые они проделывают с теми, кто попал туда заранее. Ариадна же рождалась в свое время.

Мы были с мамой одни в темном зале, мама вообще не мешала, вела себя тихо и звала врача, когда я просила. Врач ругалась, на мои слова об усталости заметила:

— Потому-то вы такие любимые, что мы вас так тяжело рождем. — Потом прикрикнула: — Соберись, тряпка! Это роды, а не шутка!

Я пролепетала:

— Извините...

Собралась и родила Ариадну. Она была с густыми темными волосами, настоящей прической. Первой ее подержала мама, а потом голого ребенка положили мне на живот.

Счастье, захлестнувшее меня, возможно, было восторгом по окончании муки.

Я позвонила Андрею и поздравила его.

Его голос звучал растерянно — это был его второй ребенок, вторая жена, но он по-прежнему не понимал, что такое роды, инстинктивно боясь всего, что с этим связано.

Меня везли на каталке в палату, через грохочущие железные лифты и этажи, а я с гордостью прижимала к себе Ариадну.

Она вся поместилась на подушку. Зашла та самая нянечка, что меня приветствовала, и показала, как давать ребенку грудь.

— А можно куда-то сдать девочку, я хочу поспать? — спросила я.

— Сдать? Все, мамаша, родила — терпи. Теперь она всегда с тобой.

И я все поняла.

Ложь во спасение

Когда я была маленькая, моя мама работала учительницей английского языка в училище для медсестер. Ей там ужасно не нравилось. Ну, заниматься английским с девочками — это еще ничего. А вот всякие собрания, заседания и педсоветы мама просто терпеть не могла.

И вот однажды...

Пять уроков закончились. Половина второго. Мы с Ирккой и Верой Ильинской идем по Садовому. В булочной куплены свежие булочки с изюмом, идем и едим на ходу — красота, наслаждение, жизнь, товарищи, совсем хорошая, как верно заметил писатель Гайдар в рассказе «Голубая чашка».

Верка Ильинская грустит — получила двойку по математике, а дома ее всегда ругают за плохие отметки.

— Убегу из дому, — решает Верка. — На стройку. На БАМ. Там нужны рабочие руки.

— Не надо, — отговариваю я. — Там плохо. На БАМе люди болеют и умирают, потому что им не привозят еду и лекарства. Так мой брат говорит, а он жутко умный, он даже родился с открытыми глазами.

— Почему не привозят еду? — Верка удивляется. — Потому что далеко, что ли?

— Воруют много, — с набитым булкой ртом объясняет Ирка. — Это все потому, что вредителей всяких расстреливать перестали. Вот порядка и нет. Так мой дедушка говорит. Вот при Сталине...

Так беседуем мы, десятилетние пионерки. Прощаемся на углу Каретного и Садовой. Верка вздыхает:

— Везучая ты, Ксюшка... Никогда за отметки не ругают.

Да, за отметки меня не ругают. Но у меня свои, «личные трудности».

Рано утром, когда я собиралась в школу, а мама на работу в училище, она дала мне важное и ответственное задание.

— Сегодня у нас в училище после занятий собрание, — сказала мама. — Мне совершенно не хочется там сидеть лишних два часа. Поэтому, пожалуйста, Ксюша, когда придешь из школы, позвони мне на работу, в учительскую, и скажи, что у тебя болит живот и что ты просишь меня скорее прийти домой.

— Но у меня не болит живот!

— А ты скажи, что болит. Это никакое не вранье, а ложь во спасение, — строго сказала мама. — Всё, ровно в полчетвертого звони в учительскую. Я уже буду сидеть там у телефона.

Время подходит к половине четвертого. Я в ужасе тарашусь на телефонный аппарат и даже несколько раз снимаю трубку. Но я не могу!!! Все поймут, что я вру, и вообще, я стесняюсь.

Время идет. Я мучаюсь.

Звонит телефон.

— Что это значит? — сквозь зубы, то ли от раздражения, то ли чтобы никто не услышал, шипит мама. — Я кому сказала? Немедленно звони сюда...

Ой, что-то я волнуюсь, — максимально громко и встревожено говорит она, теперь наоборот, чтобы все слышали. — Дочка трубку не берёт... Ой... Она сегодня с утра что-то плохо себя чувствовала... Животик... А вдруг аппендицит?.. Она ведь там одна, нет у нас никого...

Мама приходит домой. Отпустили с собрания, ведь дома дочка одна с больным животиком.

— А если бы была война?! — взыскательно спрашивает она, и глаза у нее от злости становятся «зеленые, как крыжовник» (правильно папа в рассказах про Дениску написал). — А если бы фашисты тебя спросили, куда побежали партизаны? Ты бы тоже им правду сказала? Бывает просто ложь, а бывает ложь во спасение... Ты видела,

что партизаны побежали в ту сторону. И вот приходят враги и спрашивают: «Куда побежали партизаны?» Ты что, им ответишь, как было на самом деле?

— Нет, — пишу я.

— Правильно! Ты скажешь врагам, что они побежали совсем в другую сторону, туда, где непроходимые болота, чтобы враги в них потонули. Это и есть ложь во спасение.

Мне очень стыдно, что я не умею врать, что у меня никак не получается научиться, я чувствую себя ужасно, ужасно виноватой, и не решаюсь спросить у мамы:

— А почему партизаны именно побежали? Разве они могут бегать? Партизанам положено передвигаться ползком, по-пластунски, так в кино показывают...

Некоторые взрослые, конечно, скажут — да не может такого быть, чтобы мама учила врать!

Может.

Может! И в моей жизни полно такого, чего быть никак не может, а оно было и есть.

Другие некоторые взрослые скажут — как это нехорошо, писать про маму, что она так непедагогично себя вела, учила врать, ай-яй-яй...

Но ведь так и не научила. Именно поэтому мои истории — честные. Это честные истории, понятно? Не нравится — читайте другие, мне-то что!

До свидания. До новых встреч.

Отец Александр

В церковь нужно было ехать с тремя пересадками: автобусом, потом трамваем, потом несколько остановок на троллейбусе, петлявшем по переулкам. Народу было много, еще не ушли люди после первой воскресной заутрени, а уже собирался народ на обедню. На исповедь была большая очередь, хотя исповедовали обновременно два батюшки.

Она не была прихожанкой этого храма, просто этот был относительно недалеко по городским немеряным масштабам, поэтому осмотревшись, она стала в хвост очереди, показавшейся ей не такой уж и длинной. Она как всегда робела, боялась сделать что-нибудь не так, не по правилам и канонам, и вызвать в очередной раз злобное шипение всезнающих, мышкующих по храму старушек.

Все, кажется, было как надо: вчера весь день ела понемногу и только постное, потом отстояла вечерню в недавно открывшемся, с дырявой еще крышей, храмике возле дома свекрови, которую навещала крайне редко. Перед сном прочла по молитвеннику малопонятные, но все же тронувшие душу вскользь, по касательной, длинные передпричастные молитвы. Сегодня с ура ничего не ела и не пила... «Как перед операцией!» — тут же вошло в бунтующий ум.

В том-то и была, как она сама считала, ее беда и проблема, что не могла она в себе решительно ничем ослабить дерзкого своего отношения к жизни. Даже здесь, в золотом мерцающем мраке, столь умиряюще благоуханном, ее личный черт — ладана не боялся.

Она, давно уверенная в особом интересе к себе темных сил, была обезоружена и подавлена тем, как неожиданно, явно помимо ее собственной воли, проскакивали во время церковной службы мысли не только сторонние, опасные и богохульные, но и явно ей не принадлежащие!

То, что в миру делало ее личностью заметной и преуспевающей, было здесь совершенно неуместным и, как ей представлялось, богопротивным...

До сих пор с судорогой стыда она вспоминала, как однажды, отстояв вечернюю Крещенскую службу, с трудом сопротивляясь могучей давке и толчее, продвигалась к чанам со святой водой. На душе было светло. В храме душно. И казалось, что забыто все дурное, что видела и чувствовала перед тем как войти в храм: какую-то свалку, драку из окна троллейбуса, перекошенное ненавистью лицо свекрови, холодный, отстраняющий ласку жест мужа и главное — мрачное молчание дочери, болезненно удрученной жестким и неотвратимым натиском полового созревания.

Дочь была рядом, крупная, большая. Для девочки тринадцати лет у нее было слишком много тела и, как представлялось Ираиде, эта ранняя женственность унижала и подавляла бывшее ангелоподобное дитя. Видимо, сознание обреченной невозвратности происходящих перемен убивало в ней радостную готовность к улыбке, на которую дочь была так гораздо еще совсем недавно, год-два назад.

Храм недавно отреставрировали и какой-то умник догадался выложить обновленные своды синтетической мозаикой. В мерцании свечей эта дешевая бижутерия не бросалась в глаза, тем более, что Ираида чаще всего стояла, как и полагалось, в молитвенной позе, склонив голову. Но сейчас образовалось как бы праздное время, заполненное стуком ковшиков о края подносимых посуды, утробным урчанием сразу же обмиревшей толпы, упорно и давяще тянущей Ираиду в узкий проход, где на длинных столах стояли сосуды со святой водой, разливаемой шумными бабушками в белоснежных платочках на головах.

Служба давно кончилась. Слышались голоса: «Не давитесь вы, всем хватит!». Ираида старалась ничего не видеть и не слышать, бережно кутала теплое цыплячье чувство любви ко всем, кто стоял рядом, кто некогда обижал ее или был ею самой когда-то проклинаем, а сейчас вот нежно и тянуще любим. Сосед ли по толпе, лысый, пахнувший конским потом дядечка, бывший ли муж, приславший дочери вызов в Италию, где сумел поджениться. Он звал дочь как бы погостить, но ведь она-то, Ираида, знала, что он хочет ее украсть! Как украли у ее подруги Ванечку. Просто не вернули ребенка с каникул в Австрии — и всё. Дескать, там ему, в бездетной и богатой новой семье с родным папой в прикуску, дадут лучшее образование и «отмоют» от армии, от страшной и неминуемой Чечни.

Девочке ее тут ничего не угрожало, но на беду мужнина Габриэлла тоже оказалась и богатой, и бездетной. И смотрела на Лизу жадными глазами, когда они встретились все в Москве для утряски дел с бывшесемейной недвижимостью. Но вот сейчас, в эту почти святую минуту, она их всех прощает, и, более того, понимает и сочувствует. И помнит десятой памятью своей, что тоже перед ними виновата: любила мало, больше о себе думала, погрязла в грехах непростимых.

«Постница ты этакая!» — опять внезапно подумалось ей, словно ветер сквозной прошел над душой и возмутил, взморщил покойные воды. И почудилась ей невольная кривая улыбка на ее собственных губах. Хотя она знала, что в церкви всегда мрачнеет и падает духом от осознания совершенно неподъемной для одной души греховности. И уж точно, что никогда не улыбается.

Тут лысый дядечка налег на нее своим огромным животом. Ираида проскользила несколько метров и как бы вплыла по мокрому каменному полу в узкий, столь долгожданный проход, едва удерживаясь на ослабевших от усталости ногах и при этом судорожно выворачивая свою шею, чтобы увидеть дочь за великаньей тушей любезного соседа.

Бутылки из-под финской водки громко клацнули в сумке, а ее уже торопили: почему не достает, не отвинчивает крышки, люди ждут, сколько же можно...

И тут вдруг зажглась прямо над ее головой огромная хрустальная люстра, и Ираида, вставшая на цыпочки и вытянувшая шею, чтобы увидеть дочь, беспомощно барахтавшуюся в стиснувшей ее толпе, на мгновение ослепла и подала свою бутылку мимо стола. Конечно же, звон битой посуды не вызвал общего ликования. Ираиду обругали «дамочкой». Но дочь уже была рядом и протягивала бабушке бутылку из-под «Золотого кольца», бережно хранимую в доме бог весть с каких времен из-за удобной литой ручки на вместительном стеклянном теле.

Но все это проскользнуло мимо сознания Ираиды: со скрежетом старой киноплёнки прокрутилось в усталом уме это отнюдь не немое кино, а в образовавшуюся душевную щель просочился незванный и неизвесно кем накликаемый сквозняк. В сердце словно вонзился острый ледяной осколок: ослепительный блеск синтетической мозаики на потолке обновленного храма. И чужая, нехорошая, перечеркнувшая все усилия души стать лучше и выше себя самой, трезво оценивающая это неуместное алмазное сверкание над бранчливой, готовой взорваться скандальным визгом, толпой, как молния сверкнула и исчезла незваная грубая мысль...

Ох, и сейчас еще обжигает душу стыд сожаления. Ираида убеждена была в материальности мысли, издавна изо всех сил старалась ни о ком и ни о чем не думать дурно. Контролировала себя, как ей казалось.

И вдруг... Ну, в общем... Ни к селу ни к городу... Ни что не предвещало, так сказать... Тихо было на душе, бережно... Или это была только иллюзия? А как же: постница ты такая? Вот где уже были истоки этой... ну просто неуместной, что ли, и несправедливой, если честно сказать, мысли.

А слова эти сказаны были как бы вслух и кем-то другим, но и это не оправдание. Короче: «Рисованный бала-

ган!» Вот что прокричалось в полный голос в мозгу Ираиды. И она ужаснулась услышанному.

Ну да бог с ним, давно это было, почти полгода прошло. А сейчас лето, скоро Троица. После того, злополучного для нее Водосвятия, Ираида стала ходить именно в этот храм, как бы заглаживая свою вину перед ним. Но, нечего греха таить, бывала на службах от случая к случаю — не было ни привычки, ни времени. Была только потребность, и ежедневная домашняя молитва покрывала эту недостачу.

Исповедующиеся, словно стараясь выговориться на все времена, подолгу нашептывали что-то на ухо священнику, видимо перечисляя грехи, грешки и малюсенькие грешочки, приволокшиеся за ними в храм Божий, как прилипший к подошве мокрый лист. Уже прозвучало оглашение, состоялся вынос Чаши, а очередь, как ей казалось, почти не укорачивалась. Опять она ничего не увидит, не услышит и не пропустит сквозь сердце. Вот ведь, печемся об отпущении грехов, но суетно как-то, по неписаным законам захрамья.

И словно в подтверждение ее догадки, именно к их священнику стал пробиваться сквозь толпу некий малорослый крепыш средних лет. Он был так бледен, так чувствовалась в нем непогашенная лютая ярость, что толпа, словно почуяв нетаимую злую силу, расступилась перед ним, пропуская. Священник тоже его приметил и дал рукою знак, приблизил.

Ираида видела издалека, как быстро и твердо зашевелились губы нежданного пришлеца, как побледнел и отшатнулся священник. «Убийство! — подумала она. — Как они все это через себя пропускают?! Как им, наверное, тяжело. Как хирургам в онкологии, не меньше... — воссочувствовала она маленькому и щуплому настоятелю этого храма, как донесли до ее ушей перешептывания в толпе верующих, отцу Александру. — Вот и хорошо. Буду знать, как его зовут».

Пришелец отговорил быстро, как отбарабанил и прогорнил, и в ожидании ответного слова набычил тяжелую,

крупную голову. Священник, словно бы изумленно смотря на нечто невиданное, наконец разомкнул сошедшиеся в мучительном спазме уста, и сказал несколько слов. Был ли монолог незнакомца покаянным или это было простое сообщение о соделанном, вольно или невольно — не нам решать, но отец Александр не дал ему разрешительной молитвы, не допустил, как видно, к причастию. Отпустил с Богом, в возможном уповании на более глубокое покаяние, может быть...

Мужчина резко, по армейски, повернулся на каблуках и вновь прошел сквозь толпу, будто бы нож сквозь масло.

Перед ней стояли уже только два человека и она, потрясенная увиденным, забыла зачем пришла и стала рассматривать священника, чего обычно не делала, погруженная в собственные душевные глубины.

Вид у него был измученный, он был такой щупленький и худой, что этого не могло скрыть даже парчевое облачение, обычно прибавляющее священнослужителям и веса, и объема. Маленькие, пронзительно голубые, глазки и остренький нос с покрасневшим, неизвестно отчего, кончиком. Вид не внушительный, не авторитетный...

Да как ей не стыдно, спохватилась она, да какая ей разница, в самом деле!

«Пятеро детей. Пятеро детей... — услышав она сзади себя старательный шепот. — Да еще брат у него, военный, недавно погиб, и они взяли к себе двух племянников. А матушка последними родами изболелась вся...»

Ира хоть и предполагала, как наверное, что это шепчутся всезнающие старушки, но все-таки ей захотелось самой увидеть столь приближенных к семье настоятеля келейных шептунов. Она сделала вид, что поправляет большой, вечно сползающий с головы шарф, и украдкой оглянулась. Сзади нее стояла, потупившись и шепча, высокая красавица супер-модельного вида. Головка ее, аккуратно забранная в шелковую косынку, как у Мерлин Монро в стадии развода с Артуром Миллером, склони-

лась к плечу еще более высокого господина, разве что не «от Версаче»!

«Новые! Вот те раз! Но откуда такая плавная полуцерковная речь: изболелась вся... Надо же, что творится. А я и не заметила, как мир перевернулся!» — успела вскользь подумать Ираида и шагнула к священнику.

Облегченная исповедью и осчастливленная причастием, она с рассеяной полуулыбкой смотрела из окна троллейбуса на почти безлюдные, пыльные летние улицы. Она вспомнила, что забыла в церкви дочь, только пересаживаясь в трамвай. Забыла или та сама потерялась, какая теперь разница. Уже не маленькая, сама придет. Она и так ее теряет с каждым днем, во всех смыслах. Родители — тоже люди, в конце концов!

Подумала и обиделась заранее, потому что знала, что Лиза, не обнаружив ее в храме, поедет к свекрови. Той еще, первой, ненавидящей всех кроме внучки. Там-то, в недрах бабушкиной спальни, и вызревает, и готовится тайный заговор с целью побега к отцу родному.

Дочь все неохотнее сопровождала ее в церковь, и росла стремительно, как на дрожжах. Еще немного и уже не сможет соответствовать роли игрушечного, заказного ребенка, которого хищно поджидает в огромной усадьбе под Падуей скучающая итальянская мачеха. Может отступятся, наконец, уймутся...

«А если это все-таки был убийца, то ведь священник даже оповестить никого не имеет права! — вспомнила она сегодняшнего каменного какого-то, гранитного, беспросветного дядьку. — Ну, зачем же так уж сразу... — попробовала сама себя уговорить Ираида, пробивая талончик в автобусе. — Может он контрактник из горячей точки или ему просто что-то важное и больное высказать было некому. Вот он и пришел к отцу Александру. И может быть не в первый раз. Не то, что некоторые...»

Ей казалось, что священник и слушал ее впол-уха, и смотрел как бы поверх головы, а думал, может быть, об этом кремнистом, приземистом носителе страшной и опасной тайны.

На фоне этого стремительного завоевательного набега человека, словно бы обладавшего правом раздвигать толпу и потрясать сердца исповедников сокрушительной мощью совершенного греха, ее собственные, зажатые, как в кулачке, в скукожившейся в ожидании правого суда душе, накопившиеся прегрешения, как бы уменьшились и полегчали в весе.

А принесла она, как ей казалось, ношу немалую. И возложила к стопам. Выслушав ее торопливые (уже давно пропели Херувимскую) сбивчивые признания, отец Александр на мновение задумался и задал ей только один вопрос: «А муж ваш знает об этом? Не пошатнулась ли семья?». Получив ожидаемый, видно, ответ, он ни с того ни с сего, как бы про себя, отрешенно и рассеянно добавил: «Но деяние-то... прелюбо...».

И возложил на нее, коленопреклоненную, епитрахиль. И прочитал долгожданную, слезами покаяния омытую, разрешительную молитву.

Что Ти принесу?

Что Ти воздам, Владыко?

Дядю мыть надо

Маленькие дети всегда очень забавны, хотя говорят они правду, причем такую, что мы, взрослые, не решаемся произнести вслух. Взять, например, мои похождения и подвиги в детском возрасте.

Помню, что я всегда была очень смышленным ребенком и своими рассуждениями приводила взрослых в щепетивый восторг.

Как вы думаете, что должен ответить пятилетний ребенок, которого спрашивают, кем он хочет стать? Правильно, капитаном дальнего плавания, врачом, продавцом мороженого, космонавтом, балериной...

Когда у нас в доме в очередной раз собрались на пьянку мамыны-папины друзья и ласково спросили меня, дыша перегаром, кем я хочу стать, я на минуту задумалась, выдержала художественную паузу (весьма профессионально, надо заметить) и гордо ответила (после того, как все взоры были обращены на меня и глупые разговоры затухли на корню):

— Лучше не работать.

После этого все давай хохотать в лежку, и смеялись, наверно, с полчаса. А что я такого, собственно, сказала? Озвучила лишь мечту большинства женщин, дойдя до этого своим пятилетним умишком и все. Чего тут хохотать? Что до меня это дошло раньше, чем до большинства в зрелом возрасте? Так это вам плакать надо, дорогие взрослые, а не изгаляться над умным дитем.

Или, вот, случай в самолете (в этом же нежном возрасте). Летели мы как-то в Болгарию. Захотелось человеку (мне то есть) в туалет. Ребенком я была самостоятельным

и направилась туда одна. После получаса ожидания, моя мама, наконец (с материнским инстинктом у нее всегда были проблемы), пошла на разведку. Хотела выяснить, не успела ли я угнать самолет или совершить какой-либо иной подвиг в этом же духе (а я могла, между прочим!). Рядом с туалетной комнатой клубилась толпа, и раздавались взрывы смеха (этакое бесплатное представление). Протолкавшись поближе, в поисках непутевого дитяти, моя мама лицезрела следующую картину. В самом центре стояла пятилетняя Ириша (то есть я) и азартно грозила пальчиком полному плюговому мужчине с нависшим над ремнем животиком и громко кричала, тыкая дядю, время от времени в пухлое пузо (после чего он пытался втянуть живот и как-то съежиться и усохнуть):

— Ну, разве же так можно? Вам что мама не говорила, что надо каждый день делать зарядку? Как вы себя распустили! А ну, давайте мне ваш телефон — я буду вам каждый день звонить и проверять, как вы делаете упражнения.

Под громкий смех стюардов и пассажиров дядечка дал мне свой телефон, после чего я, наконец, гордо прошествовала на свое место, став предметом восхищения пассажиров и любимицей экипажа корабля.

«Ну и что тут такого? — спрошу вас я. — Разве я была не права? Заботилась ведь исключительно о здоровье неизвестного мужчины, а что вогнала его в краску, так это ему очень даже полезно, может все ж похудеет, а то так бы и не сподобился».

Еще один забавный случай произошел в ресторане. Мама, папа и какие-то их друзья сидели в ресторане, взяв меня с собой (оставить было не с кем). Естественно, их разговоры совершенно меня не привлекали, и я пошла бродить по ресторану в поисках новых знакомств. Конечно, я тут же нашла объект, к которому и решила применить все свои юные девичьи чары. Им оказался молодой гитарист, сидевший на сцене и развлекавший посетителей. Культурно дождавшись, когда у него будет перерыв, я подошла и вручила ему портрет, тут же нарисованный мною на салфетке за неимением холста. Портрет скорее смахи-

вал на шарж, но гитарист остался доволен и тут же спел в мою честь серенаду, объявив об этом всему залу. Обрадовавшись, я решила закрепить успех и потребовала его номер телефона. Гитарист телефон дал, причем не ломался даже для виду, из чего я сделала вывод, что я чертовски обаятельна и привлекательна и вполне могу ему позвонить и назначить свиданку. Если вы думаете, что я постеснялась и не стала звонить, то вы глубоко ошибаетесь. Я ЗВОНИЛА!!! И даже познакомилась с его матерью, душевно поговорив с нею пару раз, представившись его новой подружкой. Потом, к сожалению, бумажка с телефоном потерялась, и наш роман угас, не успев начаться.

Мой ребенок тоже решил пойти по моим стопам (вот что значит гены!) и теперь тоже радуется меня многочисленными выступлениями и выражениями.

Однажды, когда мы ехали в электричке в гости к бабушке, произошел такой случай. Сидим мы, значит, никого не трогаем, в окошко смотрим. Вагон, между прочим, полупустой. Тут на остановке заходит в вагон мужчина и садится напротив нас. Все бы ничего, но одежда на дяде была грязная, это притом, что сам он был не русский, а какой-то восточной национальности, смуглокожий, с черными волосами и с такой же, соответственно, черной недельной небритости щетиной на физиономии. Моя умненькая доченька к тому времени прекрасно знала НАИЗУСТЬ (это в два года!) сказку про Мойдодыра. Естественно, ребенок никак не мог стерпеть того, что сей мужчина, позволяет себе появляться в общественных местах в таком непотребном виде, поэтому она набрала в легкие побольше воздуха и с возмущением громко крикнула на весь вагон:

— Дядю мыть надо!

И была, между прочим, права на все сто! Действительно, его надо было мыть! Изо всех сил. И что тут, скажите на милость смешного? Ничего. Простая констатация факта.

Если возвращаться к преемственности поколений, то надо и упомянуть, что ответила моя Машуля на вопрос о том, кем она будет, когда вырастет:

— Я буду Баба-Яга, старая и страшная.

Если вы мне попытаетесь доказать, что это не гениально — я вам не поверю. Потому что вижу, что маленькие дети зрят в корень и понимают все и сразу, они на диво умны, не ищут никакой подоплеки и видят истину.

А вот еще один пример детской логики (безупречной, на мой взгляд):

— Когда я была маленькая и хитрая, — сказала Маша, — я лежала в колясочке.

Комментарии здесь, по-моему, не нужны.

Вы знаете, что двух-трехлетний ребенок уже умеет делать выводы? Вот вам пример.

Я бужу утром свою дочку, щекочу ее, чтобы быстрее проснулась (надо бежать в садик) и говорю:

— Машка-Машка, я тебя съем.

— И Машки не будет, — со слезами на глазах отвечает мой ребенок, после чего я сконфуженно ухожу прочь, дав хитрому ребенку на досып еще пятнадцать минут.

Маленькие дети совершенно не любят глупостей и резко критикуют взрослых за то, что они не относятся к детям серьезно (за что и получают от детей по полной программе).

Как-то раз, идя в сад, моя дочка заявила мне, что она не Маша, а Аленушка и теперь будет отзываться только на это имя. Решив не заострять на этом внимание, я согласилась. Когда мы пришли в сад, я проинформировала воспитателей о том, что наша дочка сегодня Аленушка. Все воспитательницы, а их было четыре человека, наперебой стали спрашивать Машулю:

— Аленушка, а где твой Иванушка?

Ребенок героически терпел тупоумие взрослых и вежливо улыбнувшись, прошествовал дальше к своей группе. Когда же ей вдогонку в очередной раз полетел тот же вопрос от Надежды Васильевны (нашего вахтера), она не выдержала, оглянулась и, уперев руки в боки, укоризненно сказала:

— Васильна, займись лучше делом!

«Разбитое сердце»

— Мне Марьяна написала на днях, я думала, уже не напишет, не простит. Что я Эльку в психушку сдала. Они с Маликом теперь в Маниле, реабилитируют женщин после секс-торговли. Малик менеджером. Удочерили двух девочек, Марию и Изабеллу. Филиппинки, на английском не говорят. Их родной дядя продал в бордель на Макао. Почти как Никитич Марьяну. Теперь у них пятеро, старший Патрик, из Конго, скоро школу закончит, хочет быть доктором. Витька прав был, он мне все время говорил — жди, она простит. Я его вообще мало уважала, не ценила. Так и жизнь почти прошла...

— Как она с мусульманином живет, не понимаю.

— Витька во мне и вернулся, когда я Марьяну удочерила. Сказал, у девчонки должен быть отец. И свою мелкую стал приводить, они даже подружились, та, кстати, тоже в медицинский пошла потом. В новом роддоме работает, анестезиолог уже. Хорошо, что наш Пуфик, ну, так нашего мэра за глаза зовут, наконец роддом построил, а то пятнадцать лет мыкались... Скажи, ты меня тоже осуждаешь? А что мне оставалось делать? В детдом ее отправлять? Элька бы и без психушки с бодуна на себя руки наложила. Конченная была уже, иначе не допустила бы, чтобы ее родственник девчонкой попользовался, а потом за полкило дури продал. Не было у меня выбора!

— Все же мусульманин. Отца духи убили, а она с мусульманином, да еще с чеченцем. Тьфу.

— А Элька на простыне повесилась, как ломка началась. Марьяна с Маликом уже в Индии были. Они не мусульмане, бахаисты. Новая религия. И оттуда идут по

всему миру. Марьяна мне три года не писала, как узнала про Эльку, я от Маликовой тетки, она у нас на рынке ларек держит, узнавала, как они и что, и что стали детей брать. В Кении первую девочку, ей насильно обрезание сделали, потом Патрика...

— Негры лучше, чем мусульмане, у моего буржуина кассирша вышла за негра, душевнейший человек, ветеринар, как говорится, от бога. Русские песни поет. Мусульмане работники плохие, даже мой буржуй в рабы к себе на плантации только вьетнамцев берет. Мама-покойница в гробу бы перевернулась, если бы узнала, во что единственный внучок превратился. Думала, будет академиком, философом. На лекции возила в Пушкинский музей по выходным на электричке. А это мурло капитализма теперь в школу новый компьютер жидится купить, скотина. Сколько я абортос после Сережки сделала, мать все настаивала — учись, дочь, ученье свет, а не пеленки... Не надо было, наверное, мне его рожать, эту прореху на цивилизованном человечестве... И я ему не указ, и все наши педагоги, а в библиотеку ко мне носу не показывает, не то что ремонт сделать. А сынка своего, моего внука, в платный лицей возит на «лексусе» тестя, начальника районного УВД, форменного мафиози. Тьфу!

Люба невольно прислушивалась к разговору двух женщин на переднем сиденье, обратила на них внимание, как только вошли в маршрутку. Одна солидная, в макияже, с укладкой, дорогая сумка и удобные, но стильные туфли фирмы «Ара», полуортопедические. Взгляд уверенный. Видимо, чиновница, или местная бизнесвумен. Другая явно постарше, неухоженная, седые волосы торчком, рваные кеды, джинсы, толстовка, рюкзачок. Из пенсионерок, приезжающих вспомнить молодость на бардовские фестивали. С некоторых пор Люба стала приглядываться к женщинам постарше, прислушиваться, как будто примеряясь сама к неотвратимому будущему. Вот той крупной точно за пятьдесят, может быть, даже пятьдесят три или вовсе пятьдесят пять. На восемь или десять лет стар-

ше Любы. Что с ней самой будет через десять лет? Где она будет, с кем, кто будет ее окружать?

Маршрутка остановилась на светофоре, перед поворотом на Саввинское шоссе, у сквера возле Дома бракосочетаний. В сквере играли дети, на ступеньках здания подросток говорил по мобильнику, энергично жестикулируя. Пышная ветка рябины с набирающими цвет гроздьями почти касалась окна маршрутки. Все-таки здорово, что сегодня совещание отменили, и она вырвалась сюда, никого не предупредив, ничего не запланировав. Даже Вере не сказала. Свобода! И август просто великолепный — не жарко, почти без дождей, можно не включать надоевший кондиционер дома, а тут, в Подмосковье, просто рай! Подумать только, полчаса на электричке— и другой мир... Как раз то, что нужно, чтобы собраться с мыслями и приготовиться к дальнему путешествию... Молодец Люба!

Кто-то постучал в дверь маршрутки. Водитель открыл. Пожилая женщина медленно забралась в кабину.

— Не положено, знаете ведь!

— Знаю, знаю, мне бы только до кладбища.

Неопрятный платок, замызганная матерчатая сумка. Морщинистое худое лицо без выражения. Пьет?

— Мне по социальной.

— Не принимаем,— водитель снова распахнул дверь. — Или платите, или ждите автобус.

— Да мне бы только до кладбища, к сынку, он афганец,— заверещала женщина.

Люба вытащила кошелек, пытаясь расстегнуть отделение для мелочи, «молния» заела.

— Не волнуйтесь, возьмите деньги,— «чиновница» уже протягивала пятидесятирублевую бумажку.— Проходите.

— Спасибо, милая, мне сегодня надо до кладбища, у сынка день рождения... В Афгане погиб, у Кабула, всего полгода прослужил.

— Вы субсидию-то получаете регулярно?— деловито спросила «чиновница». — Недавно прибавили. Принеси-

те документы, все что есть, в пенсионный фонд, там специальное окошко.

— А наш тоже в Афгане, — вдруг подала голос «пенсioenерка с рюкзачком», — он тоже всего год там был, из Кандагара привезли в цинковом. У него сегодня день рождения.

— А кто он вам, родимые? — заинтересовалась женщина.

— Друг, — неожиданно хором, после минутной паузы, ответили двое. — Одноклассник, — добавила «чиновница». — Сергей Павлишин.

Маршрутка подпрыгнула и покатила дальше.

Вот уже десять лет после смерти бабушки, не часто, раз или два в год, Люба приезжала сюда — не в день рождения Степаниды Николаевны, никогда не получалось, так как сессия, а как сегодня — незапланированно, для себя самой неожиданно, и всякий раз оказывалось, что эта поездка оказывалась важной. Не то чтобы в Любиной жизни что-то менялось или решались насущные дела, но что-то выравнивалось, «устаканивалось», как сама Степанида Николаевна говорила. Она не говорила никому об этих поездках ни Вере, ни Шандору, ни сыну, вот даже отцу, они были почти как тайна. Хотя какая там тайна, к бабушке на кладбище приехать...

За окном мелькали знакомые с детства места — незасеянное поле, за которым виднелся нарядный, недавно покрашенный синий купол Саввинской церкви (ах, какой там изразцовый иконостас, просто чудо, она показывала в прошлом году коллегам-американцам), выстроенный на месте сгоревшей больницы новенький перинатальный центр, долгожданный подарок мэра жителям города, который предварительно снес все детские дома и старенький роддом, в котором родилось не одно поколение жителей, оставленный хозяевами дворец в восточном стиле — резиденция пять лет назад убитого в перестрелке с местной братвой цыганского барона, брошенный, с разбитыми окнами... Главная остановка — деревня Пуршево, тут большой по местным понятиям торговый центр, строймаркет, пиццерия...

Бабушка. Степанида Николаевна. Несгибаемая коммунистка, представительница мира, которого больше нет... Что, в сущности, Люба помнит о ней? Красная помада, тщательно уложенные локоны седых волос, неизменный лак на пальцах, которые так ловко лепят сотни пельменей на заморозку, мнут капусту (Люба всегда трет морковку в помощь), моют пол, подписывают протоколы партийных собраний? Бабушка работала в Кузбассе на шахте, была первой женщиной — главным геологом, — наверное, первой в мире, которая работала в таких условиях. Из нищей рабочей семьи, поэтому ее в 1938-м и направили на эту ответственную работу, когда всех старых спецов пересажали или просто убили. Она мало рассказывала. Но всегда говорила о том, что после пятнадцати километров под землей — а это была ее еженедельная, смертельно опасная кстати, прогулка — в глазах, ушах, под ногтями оставался уголь. А она все равно делала маникюр. Маникюр делали тогда ссыльные немки из Поволжья или западные украинки. И одежду шили западные украинцы, и Любиной маме в музыкальной школе преподавала профессорша из Львовской консерватории. Послевоенная реальность, Кузбасс... Люба жалела, что не расспросила больше. Далекая жизнь, советский проект, все это далеко... Бабушка была очень четким человеком, всегда активным — стала в поселке, куда они после двадцати пяти лет работы в Сибири приехали с дедушкой, секретарем партийной организации, возглавила работу по проведению водопровода и газа в поселке еще в 1970-е. Как ей это удалось, кстати? Дедушку уже парализовало после инсульта, Люба только что родилась. Ее родители-геологи работали на Севере, бросив малышку на Степаниду Николаевну... Люба даже называла ее мамой лет до четырех... О том, что маминым отцом был не дедушка Владимир Иванович (помнит его в полосатой пижаме, с палочкой и папиросой, от которой так и не смог отказаться), а совсем другой инженер, репрессированный по делу старых специалистов в 1938-м, она узнала уже после развода с Сашей, случайно, от бабушкиной сестры.

Отец подтвердил. И уже перед смертью пытался узнать, кто это был, рассказывал Любе. Она была в это время на стажировке, приехала уже на похороны. Отец сказал, что бабушка отказалась на вопрос отвечать, сказала, что не помнит. Люба так и представила, как она прикрывает веки и тщательно выговаривает: «Не помню». Помнила, конечно. Не захотела. Унесла с собой.

Маршрутка остановилась. Никто не вышел и не зашел, ехали на кладбище, зайдут на пути, но водитель, соблюдая правила, задержался, открыл двери.

— Ты знаешь, что я хотела тебя убить? — вдруг неожиданно громко спросила «чиновница»?

— Конечно, — безразлично ответила «пенсионерка-каэспешница».

Люба невольно вновь прислушалась к странному разговору. Одноклассницы! Никогда бы не подумала.

— Я сразу поняла, когда тебя увидела. Я-то раньше тебя с ним была, у нас любовь, не то что ты со своими ментовскими делами, типа у тебя папаша участковый, а он у него на учете, у нас все было по любви. Но я, конечно, подготовилась, знаешь, как женщины-террористки, Софья Перовская, Вера Засулич... Мне мама о них рассказывала, она же историк. Конечно, бомба — не то, я бритву взяла у отчима... Острая такая. Прятала в трусах.

— Прямо бритву?!

— Готовилась, короче. А потом мы с тобой Эльку застукали, как она за сценой с Серегой, на дискотеке. Вдвоем, помнишь? Он пошел петь, а мы за нее взялись, сучку, а она заори — не тронь, а беременная! Я тогда не знала, что я тоже, от Сереге... Когда узнала, тут же сделала аборт. А потом сколько еще...

— А я не залетела как раз. И пошла к Витьке, он давно помогался. И вдруг! Я ходила, анализ проверяла, тогда было очень редкое дело! От Витьки, дурака! Я на аборт, конечно. Потом — ни разу, ни от кого. Витька думал, я от Сереге аборт сделала, женился. Но какой от него прок, дурак дураком, разбежались. Несостоятельный мужик,

подкаблучник. Мне всегда такого, как Серега, хотелось... Витька снова женился, дочку завел, а когда я Марьяну домой привела — вернулся. Болеет теперь... Пасеку контролирует, мед, пчелы... — «чиновница» громко чихнула. — Аллергия на мед, понимаешь? Сколько лет мы не виделись? Восемь? Десять?

— Я «Карвуазье» купила, помянуть, — «каэспешница» тряхнула рюкзаком, — все-таки день рожденья Сереги. Ты, кстати, с ним «Карвуазье» пила?

— Еще бы!

— После дискотеки, скажи?

— До! У отца была в баре бутылка, кто-то припер, Сережка в окно ко мне пролез, мы бар открыли... Отец потом на племянника грешил, так и не понял, кто бутылку спер...

— А мы после дискотеки, в садике у школы. До этого он мне целый месяц про «Карвуазье» говорил, что после него — рай... — Она засмеялась. — Попьем рай?

— Точно, десять лет. Конечно, попьем!

Маршрутка остановилась у ворот кладбища. Служительница открыла ворота, машина въехала на территорию и остановилась перед кладбищенской конторой, где продавали искусственные букеты и клумбы, чахлые оранжерейные гвоздики и лампадки, несколько женщин предлагали астры и рассаду, уже редкую в августе. Люба не успела купить цветы на вокзале, поспешила к ним и обмерла. «Разбитое сердце!» Любимый бабушкин цветок, рос у самой калитки, перед крыльцом большого вешняковского дома, капризный, в отличие от неприхотливых флоксов и люпинов, долгоиграющих бархатцев и стойких георгинов. Цвел кратко, чах быстро, требовал особого полива, удобрений, но бабушка ценила его не меньше «огоньков» (в Подмосковье их называли «жарками»), которые напоминали ей родные сибирские луга и речку Яю, куда она сама ездила с первым в Кузбассе детским садом, организованным польской педагогиней — подвижницей Марией Лянге, и потом в пионерлагерь отправляла Любину маму, Ангелину... Мама, вдруг вспом-

нила Люба, тоже любила «разбитое сердце». Каждый раз, когда они с отцом приезжали из своих командировок, подолгу сидела у крыльца на лавочке, смотрела на цветок, пропалывала своими тонкими пальцами, думала о чем-то... Мамин образ возникал в памяти редко и наполнял нежностью и печалью. Она погибла давно, когда они еще жили с Сашей, Владик только родился, бурные 1990-е, в магазинах голо, по телевизору революция, книги и журналы громоздятся на столе в кухне, не хватает сил все прочитать, и страшно, мучительно хочется спать, утром, днем в библиотеке за конспектами, в длинной очереди в подвале «Ленинки» за обедом, в очереди за детским питанием, размешивая кашу, с Владиком в одной руке, за столом с друзьями, где Саша гарцует, пересказывает последние публикации, и все перебивают друг друга...

Когда принесли телеграмму об аварии под Вилюйском, там было кратко — отец в больнице, мама скончалась на месте, Люба думала, что у нее расколосось сердце — как будто острой спицей пронзило грудную клетку, нечем было дышать. Хорошо, что бабушка как раз приехала из Вещняков, подхватила, Владика посадила в манеж, вызвала «скорую». Только потом заплакала.

С тех пор у Любы только раз еще прихватывало сердце — когда Саша уехал последний раз в Моздок. Хотя ничего не предвещало беды, да и развелись они уже как три года к тому времени... А когда бабушку хоронила — не болело. Только пустота, леденящая душу пустота... Кажется, она и не отпускает с тех пор окончательно, только притихает на время, даже забывается, но возвращается неизменно, как лихорадка на губе.

— Георгин купите, до октября будет цвести, — продавщица перехватила Любин взгляд.

— Мне бы вот этот. Сколько?

— «Сердечки»? Да за триста отдам. Последний кустик выкопала, надо место для нового парника было освободить. Я вам коробку дам, чтобы легче нести.

Коробка оказалась очень неудобной, пришлось завернуть в контору, попросить маленькую тачку, заодно при-

хватить лопату и лейку. Налегая на тачку, она бодро зашагала по главной аллее. Наверное, довольно нелепо все это выглядело: на каблуках, в белом костюмчике от «Анн Клайн» с этой тачкой, мелькнуло в голове. Ну да ладно! Ну и пусть!

Все-таки здорово, что она сюда вырвалась. А то могла бы не успеть, до отъезда осталось чуть больше недели, а там кафедра, бумажная волокита, передача последних материалов курса Веринной аспирантке — пусть растут молодые кадры! Аспирантка Любе не очень нравилась, амбициозная, резкая, но очень упорная, следила за последними публикациями, использовала их на семинарах, в отличие от преподавателей «со стажем», ее любили студенты. Одна сразу метила на место Любы, как только стало известно, что она уедет на два года в Балтимор по программе обмена. Ладно, пусть развивается. И заведующей, Вере, приятно. Все-таки лучшая подруга, еще со школы, почти близняшка. Удивительно, практически все на кафедре уверены, что она через два года не вернется в университет. А она сама?

Кроны огромных лип над главной аллеей почти смыкались, образуя зеленую арку, солнечный свет лишь местами пробивался сквозь листву, падая на неровный асфальт светлыми пятнами, кое-где сквозь асфальт пробивалась трава. Люба пыталась вспомнить названия всех цветов — самосевок на обочине — вот незабудки, барвинок, поодаль мать-и-мачеха, пижма, аквилегия, лунарий... Когда-то они с бабушкой принимали участие в выставке цветов в Вешняковском клубе, составляли композиции, делились с посетителями (те же поселковые и дачники с детьми) опытом выращивания растений. Люба не очень любила огород, старалась увильнуть от прополки и прореживания морковки и огурцов, но цветами увлекалась, весной считала дни, когда наконец настанет пора высаживать луковицы тюльпанов или гладиолусов... Долгими вечерами в Вешняковском доме, выучив уроки, она читала вместе с «Библиотекой приключений» статьи о растениях мира из «Науки и жиз-

ни», представляла себя в будущем исследователем редких видов где-то в сельве Амазонки или африканских джунглях. До пятого класса она жила у бабушки, ходила в вешняковскую школу, пела в пионерском хоре и выезжала с классом на торжественные утренники в Железнодорожный перед 7 ноября, где сначала все мерзли на линейке у горсовета, а потом шли на концерт, песни-пляски местной самодеятельности. Всегда хотелось в туалет, но он был один в кинотеатре «Родина», и всегда приходилось подолгу ждать, пока освободится кабинка...

Из Вешняков она уехала, когда родители вернулись из Якутии в Москву, и как-то сразу забыла сельскую жизнь, окунувшись в иной ритм, новую школу, друзей... В восьмом классе к ним пришла новенькая, Вера. К бабушке приезжали на выходные, потом — с Верой, Сашей и друзьями, Саша вдруг увлекся историей Балашихинского района, познакомился с краеведами из Кучино, вместе с ними стал собирать материал для музея Андрея Белого, ходил на «субботники» реставрировать храм у Бисеровского озера, где раньше был склад. Тогда же Саша вдруг решил изменить тему диссертации — была вполне приличная, про поэзию Серебряного века и ее отголоски в современных текстах, но он решил написать о фигуре террориста в «Петербурге» Андрея Белого как предтече нового героя. Научный руководитель не понял, возник конфликт, в конце концов Саша вообще ушел из аспирантуры, но это было уже позже... Теперь в музей Андрея Белого приезжают экскурсанты, а церковь, нарядная, отреставрированная, возвышающаяся на берегу озера, как игрушка, уже дважды была объектом внимания прессы — один раз в ней устроили разборку «братки», «балашихинские» схлестнулись с «ногинскими» в конце 1990-х, потом выгнали священника, веселого отца Симеона, за то, что продал все старые доски из иконостаса, собирали несколько лет по всему району, заменив их новоделом... Но не посадили, перевели в дальнюю деревню, теперь в Бисерово новый батюшка, степенный, пожилой...

Она почти дошла до места, когда зазвонил телефон.

— Good morning, my sweety! — звучный баритон Шандора преодолевал километры и часовые пояса.

Поразительно, как он умудряется позвонить не вовремя.

— Good morninh, darling...

Шандор бодро сообщал, как обычно, тщательно выговаривая каждое слово, что к выходному — Дню труда — зарезервировал отель, у чудного озера, так и называется «лейк отель», недорого и очень красиво. И привезет с собой желтые простыни, ей очень понравится. Только что купил по онлайн сейле. Ждет и скучает. А теперь идет на тренировку, приехал новый коуч, они вместе дадут мастер-класс начинающим теннисистам. Очень ждет и скучает.

У Любы вдруг испортилось настроение.

Он учил в школе русский язык, как все тогда в Венгрии. Почему он никогда не разговаривает с ней по-русски? Английское произношение ему дается с трудом, сам жаловался, что к языкам у него способности нет. Ни разу...

С Шандором они познакомились на Всемирном конгрессе славистов в Польше, сотни людей-историков, политологов, филологов, изучающих бывших Восточный блок, из всех стран, такой академический мини-Вавилон. Оказались за одним столиком на завтраке. Социолог, исследователь семейных ценностей. Частный колледж недалеко от Ниагарского водопада, с американской стороны. Только что развелся, жена уехала назад в Будапешт. Сын спортсмен, в сборной штата по бейсболу. Он рассказывал о себе как на собеседовании при приеме на работу, это ее страшно развеселило. Потом он говорил, что заметил ее еще вечером, но не знал, как познакомиться. Несмотря на выигрышную внешность (коллеги-славистки сразу его оценили — высокий, яркий брюнет), он оказался довольно замкнутым человеком. Иногда Любе казалось, что в то утро он подсел к ней только потому, что решил, что ему пора завести приятное знакомство. Он

плохо знал литературу, и в первую ночь Люба пересказывала ему «Одиночество в сети». Больше всего Шандора поразило, что героиня обрела уверенность, надев желтое белье. Он несколько раз переспрашивал, что это значит. Когда через полгода она приехала к нему в гости, он подарил ей желтую ночную рубашку.

Они встречались уже три года, то там, то здесь, благо академические обменные поездки получали поддержку довольно легко, Шандор познакомился с Владиком, когда тот был на каникулах, расспрашивал о Кембридже, мечтал, что его сын когда-нибудь тоже получит стипендию в Кембридж или Оксфорд, но тот пока предпочитал бейсбол. Вера, как только увидела Шандора, вынесла вердикт: это твой шанс. Красавец, доцент и американец. Вера всегда была предельно конкретна и точна в определениях.

Теперь, когда она будет преподавать в Балтиморе, надо будет что-то решать. Пока договорились встречаться каждый второй уикенд. Как это называется, дистанцированный брак? Модно, современно. Практично, наконец. Многие к этому приходят после сорока, живут отдельно, встречаются, когда захочется, не недоедают друг другу. Психологи говорят, это помогает сохранить остроту чувств и радость сексуальных переживаний. С этим у Шандлра все в порядке, не скажешь, что скоро пятьдесят. И к Любе он относится идеально, звонит дважды в неделю, интересуется ее работой, о себе рассказывает все, кажется. Кажется? Может быть, у него там, у водопада, есть какая-нибудь ундина? Молодая кандидатка в спутницы жизни? Вряд ли. Не только потому, что городок маленький, все на виду. Шандор слишком правильный и хорошо организованный для интрижки. И покупает со скидкой желтое белье, со скидкой непременно...

Наконец, дошла. Чуть облупилась оградка, надо будет на обратном пути в конторе заплатить, чтобы покрасили до дождей. Скромные гранитные памятники — бабушка, дедушка, мама (ее памятник в виде тюльпана,

бабушка чудом нашла такой камень в мастерской). Многолетний папоротник, барвинок, отцветшие пионы, заросшая травой цветочница. Как раз место для «разбитого сердца»! Каблуки, конечно, не к месту, и маникюр пропадет, ну и пусть! Люба сбросила жакет, повесила на ветку рябины и принялась за работу.

Через полчаса она с удовлетворением смотрела на результат непривычного труда, тщательно протирая ладони влажной салфеткой. «Разбитое сердце» преобразило участок. Надо будет заплатить рабочим, чтобы поливали цветок.

Люба с детства любила, чтобы во всем был порядок. В огромном бабушкином доме это получалось не всегда, Степанида Николаевна была импульсивна, могла с вечера оставить невымытой посуду, увлечься разговором со своими «коммунистами», радиопередачей, не приготовить вовремя ужин, и Люба грызла сухари, уткнувшись в книжку. Книжки она расставляла и вытирала с ним пыль самостоятельно, составила каталог, все это было полностью разрушено Сашей, который мог втиснуть «толстый журнал» на полку учебников, а раритетную, привезенную еще из Сибири энциклопедию, запихнуть в залежи детективов, которые любила мама. Любу это бесило, она старалась сдерживаться, но не всегда получалось. С общим их с Сашей коротким общим бытом было еще хуже, он не то чтобы ставил ботинки на стол, но разбрасывал вещи повсюду, грязные носки вместе с детским бельем, и на замечания только высокомерно пожимал плечами — не мужское то дело, разбирай сама, если хочешь... И, дымя «Столичной», погружался в чтение, не замечая, что пепел падает мимо. Его родители, так же, как и Любины, были геологи, правда работали не на Севере, а в Казахстане и потом в Африке, оба крупные, веселые, любители шумного застолья... После того как Люба с Сашей развелись, приезжали самостоятельно к Любе и Владу, обожали ходить с внуком в зоопарк, рассказывали, как живут на воле львы и антилопы... Они умерли один за другим неожиданно, свекровь от тромба

после удаления желчного пузыря, он от инфаркта, в один год... Саша оба раза был на Кавказе, он после первой чеченской совсем забросил диссертацию, познакомился с правозащитниками, вместе с ними искал следы пропавших без вести, ездил опознавать останки, ходил на митинги... Люба хоронила, устраивала поминки... Господи, как давно это было! Как она вообще со всем этим справилась? Бабушка не дала бросить аспирантуру, стала продавать книги. Сначала «Библиотеку всемирной литературы», потом Брокгауза и Ефрона, дореволюционные раритеты... Вера, подруга, сестра — всегда была рядом. Больше, чем сестра. Как они похожи — только Вера более целеустремленная, всегда знала, что нужно делать. И Любе помогла не растеряться. До развода. Точнее, до кризиса отношений они были неразлучны — Вера, Люба и Саша, благо учились на одной кафедре, но когда все произошло, Вера стала для Любы главной защитой.

Как она будет в Америке без Веры? Конечно, можно по скайпу разговаривать часами, спасибо технологиям. Но разве это то, что нужно?

Вера молодец, она замужем второй раз, и родила второго ребенка уже в тридцать пять, теперь дочка школьница, муж торгует трубами для газопроводов, души в ней не чаёт. Был почти бомжом, когда Вера с ним встретилась. Женщины делают жизнь, всегда говорила Вера. Она права. Люба тоже старалась. После смерти бабушки дом в Вешняках сдала в аренду, теперь там многодетная семья, деньги каждый месяц переводятся Владу в Кембридж. На одну стипендию там трудно. Владик молодец, скоро получит диплом юриста, уже готовится в магистратуру, выбрал хорошую тему, страхование иностранного бизнеса в Великобритании. И снова Вера тут постаралась, она работала в министерстве, нашла вовремя стипендию в Кембридж для выпускников языковых школ, Владик поехал учиться в цитадель европейской науки... Встречается с русской там, дочерью известных фигуристов. Она тоже учится на юридическом. Скоро встанет на ноги. А у нее будет новая жизнь. Жаль, что ба-

бушка не застала... Кто все-таки был отцом мамы? Почему она никогда о нем не рассказывала?

Снова зазвонил телефон.

— Люба, я ухожу из партии!— срывающийся на крик голос отца. — Они решили поставить памятник Сталину! Убийце! Я уже сказал в нашей ячейке! Как можно ставить памятник убийце в Якутске, где столько людей погибло? Я ползал там на брюхе, я видел там незахороненные кости, я никогда не забуду, никогда не забуду... — он закашлялся.

— Папа, папа, успокойся! Римма с тобой?

— Риммочка как раз пошла в магазин, — отдышался отец,— она мне не разрешает нервничать. Но я точно из партии выхожу! Мне с ними не по пути! Коммунизм и Сталин несовместимы, слышишь?

— Папа, я к тебе сегодня заеду. Передай Римме, что вечером непременно буду. И не забудь напомнить Римме, чтобы твою последнюю эхограмму подготовила, мы должны в Бакулевский съездить до моего отъезда.

— Хорошо, Любаша, скажу, ой, кажется, она уже дверь открывает, целую тебя крепко!

После трагедии по Вилюйском отец долго лечился и как-то резко сдал, перенес два инфаркта, ездить на Север уже не мог, преподавал в институте, где-то консультировал, через какое-то время неожиданно для всех вступил в компартию (до этого считал себя едва ли не диссидентом, презирал коллег, которые ради карьеры стремились в советское время в КПСС), стал ходить на митинги с красными знаменами, ратовал за соединение коммунистических тезисов и христианских. Его бывшая ассистентка, Римма, встретила его на митинге. Риммин сын только что уехал в Хайфу на ПМЖ, она никогда не была замужем, а отца всегда боготворила. Кажется, всю жизнь была влюблена. Лучшей спутницы нельзя было придумать. Римма вкусно готовила, мерила давление трижды в день, напоминала о лекарствах и любимых программах по «Эху Москвы», сопровождала на митинги и с неизменным восторгом случала рассказы о дале-

ких экспедициях, партсобраниях или давно умерших товарищах-геологах. Римма обещала регулярно звонить по скайпу и присматривать за квартирой Любы, которую она в последний момент решила не сдавать, а оставить на всякий случай — вдруг Владик приедет с девушкой или Верина старшая дочка решит пожить отдельно от матери с отчимом.

Отца бабушка не любила, считала, что он виноват в том, что мама страдала и вообще рано погибла. Хотела для нее другого мужа, из партийной номенклатурной семьи, но мама влюбилась в нищего студента — сына раскулаченного, и едва закончила политехнический, укатила за ним в Якутию. Плакала от ревности отца, Люба помнит смутно, сама ревновала, помчалась в Вилюйск, когда написали, что у отца с кем-то из медсестер закрутился роман. Любила отца больше, кажется, чем ее, Любу, так казалось, оттого и придумала ей такое имя, Люба его ненавидела, в начальной школе даже просила называть ее Гелей, типа тоже Ангелина, как мама. На тетрадках писала — Люба-Геля. Потом Саша ей объяснил, что это имя музы Блока, Любви Дмитриевны, и она тоже должна быть музой. Когда к ним приходили гости, просил ее нарядиться в бабушкино платье из тяжелого шелка с панбархатом и сидеть под абажуром в профиль к гостям, сохранились фотографии... Но это еще до Владика, потом все пошло по-другому... Боже, неужели то все было с ней?

Она вдруг вспомнила их малогабаритную кухню, запах табака и кофе, неизменные сухарике в миске, разбросанные конспекты, синий заварочный чайник и две кружки с леопардами, подарок свекров. Это было! Несмотря на то что она хотела вытеснить это из памяти, как будто стереть ластиком... Почему все-таки они развелись? Из-за того, что приставал к Вере, когда она была с Владиком в больнице? Что назвал ее примитивной курице, когда Владик лежал с температурой, а Саша собрался на Соловки изучать наскальные записи расстрелянных? Из-за грязных носков в коробке с ползунками?

Из-за безденежья, наконец, политики, которая увлекала его все больше и больше, так, что он вообще ее перестал замечать, из-за чеченцев, женщин и детей, которые начали приходить в дом и ночевать, не обращая внимания на нее и Владика, как на мебель, будто бы к себе в саклю? Она не могла вспомнить, не хотела. Не хотела помнить тот ужас обиды и одиночества, и пугающее нежелание продолжать жить, соблазн вот так вот все разом покончить... Думала об этом ночами (Саша уже редко бывал дома), в ужасе подсакивала к кровати со спящим малышом, впивалась в перекладыны до боли — нет, надо быть тут, с ним, кто ему еще поможет... В какой-то момент поняла: она должна все закончить, иначе просто не выдержит и сделает страшное. На развод он не пришел, прислал чеченского мальчика с заявлением, что не против и претензий не имеет. Судья, увидев изможденную Любу с Владиком на руках и заляпанное заявление, решили все быстро.

Бабушка на новость не отреагировала никак. И всячески поддержала Любину идею поехать в группе аспирантов в Америку на встречу молодых ученых, взяла Владика к себе. Слушала ее рассказы, качала головой — у нас американцы только в 1930-х были, завод строили. Порусски мало кто говорил, с ними переводчик был, его потом арестовали, вышел уже после войны...

— А вот я возьму и выйду замуж за американца и уеду, ты со мной? — смеялась Люба. — Там тоже коммунисты есть, только больше троцкистов.

— Все равно вернешься, — уверенно отвечала бабушка. — Ты однолюб.

С чего взяла?

Почему-то она никогда не рассказывала про любовь. Про родных, сослуживцев, ссыльных, про свое детство и комсомольскую юность, про бессонные ночи в шахте, потому что Сталин не спит (наверное, он утром отсыпался, а в Кузбассе уже начиналась смена). Про чужие судьбы и драмы. Про то, как дедушку арестовывали, и ее брат, полковник НКВД, его выручил, через год отпустили, а то

закатали бы после аварии как сына старого спеца. Да, дедушка был сыном управляющего шахт, играл на скрипке, пел «Дайте мне за все червонцы папу от станка...» И повторяла: «Успей сказать самое важное тем, кого любишь»... Что, кого имела в виду?

Кто был Любин настоящий дедушка? Отец мамы? Репрессированный инженер? Энкаведешник, как ее брат? Партийный активист, оппозиционер, агитатор? Простой шахтер? Бабушкины фотографии тридцатых, она хорошо помнит, хранятся в дальнем ящике, — гордая посадка головы, ясный взгляд, шляпка... Что от нее передалось сочетанием генов? От того неведомого настоящего дедушки? Как мало она знает о том ушедшем мире, как несправедливо, что невозможно уже спросить.

— Нужно будет через год непременно поехать в город Анжеро — Судженск, — вдруг вслух сказала она, и сама удивилась.

И повторила уже мысленно: я туда поеду. Летом. На каникулах. И улыбнулась.

Телефон снова затренькал.

Люба с неприязнью посмотрела на экран. Но это было всего-навсего сообщение о том, что в Балтиморе начался рабочий день, она заранее поставила соответствующий сигнал.

Как раньше люди жили без смартфонов? Вообще без связи, бегали к автоматам, выстаивали у почтамтов... Еще недавно так жили все, а теперь... Как быстро забывается все неприятное, неудобное...

Пришло сообщение из Балтимора — ее авиабилет направлен на электронную почту, просьба подтвердить.

Люба отряхнула жакет, аккуратно, стараясь не испачкать руки снова, поместила лопату и лейку в тачку и осторожно покатила к выходу.

На лавочке перед воротами, она увидела двух женщин, тех самых недавних попутчиц, «чиновницу» и «пенсионерку-каэспешницу». Они сидели обнявшись, покрасневшиеся, в средней поддатости, и одинаково полутрезво смотрели вдаль, как будто видели там что-то

или кого-то. Два пластмассовых стаканчика сиротливо примостились на лавочке, на траве валялась трехсотграммовая фляжка «Карвуазье».

Как сестры, — вдруг подумала Люба.

Она вытащили телефон, набрала Веру.

— У тебя сохранилась Сашина папка? Про «Петербург»?

Подруга после секундного замешательства отозвалась.

— Лежит. — Еще пауза. — А ты откуда знаешь?

— Он мне звонил, когда улетал в Моздок. Сказал, что у тебя, если что.

— Так и сказал?!

— Да. Не захватишь завтра, я хочу с собой взять, может быть, получится что-то опубликовать там, в Америке в смысле...

— Тогда конечно... Я ее не открывала с тех пор. Слушай, а он правда тебе перед вылетом звонил?

— Ну да. Я сама удивилась тогда.

— Принесу, конечно, — телефон отключился.

Почему, кстати, он оставил папку Вере?

И как странно, что через столько лет так сразу все вспомнила... В груди шевельнулось что-то вроде давно забытой ревности... Ну так что ж! Значит, она его тоже помнит. Но почему она раньше не посмотрела эту папку?! Точно, надо опубликовать, она сделает это.

Любе стало неожиданно легко и радостно. Она теперь точно знает, что надо делать...

Люба сама не заметила, как прошла остановку, не заметила, что оторвалась набойка на босоножках, что песок натер пальцы, что мимо промчалась уже вторая маршрутка, а до трассы, где можно найти такси, еще километр или полтора.

Она шла по разбитой дороге и улыбалась новой жизни, той жизни, которую она сама себе выберет и о которой еще ничего не знает.

Растащи́ха

Растащи́ху хоронили таким количеством народа, что, казалось, действительно — всем миром.

Оля тряслась в их лязгающем дизеле и думала о том, что с ее уходом пропал и последний страх — не упокоить мать по-человечески. Ну не держались у Растащи́хи в кармане ни рубли, ни копейки; пенсия вылетала в трубу за три дня. На все увещевания, что у ответственных старух давно «на смерть» лежит, она на секунду задумывалась, потом махала рукой: уж упокоют как-нибудь... И совсем лихо-весело:

— Небось поверх земли не кинуть!

А вот к смертному узелку относилась очень серьезно. Внучки придут в гости, сядут в комнате за круглый стол чай пить, а она нырнет в ванную, нарядится там: кофта-юбка-платок, тапки специальные, и — бряк на кровать! Ноги вытянет, руки сложит, и спрашивает, не поворачивая головы:

— Так-то ли красивше? А то я гороховую уж Миколане отдала.

Танюшка, как в первый раз увидела этот спектакль, поперхнулась горячим чаем. А Растащи́ха представление обожала: она меняла кофты, платки, и ничего такого в этом не видела. Зачем бояться, когда до главного события, может, всего ничего осталось!

Она и всю жизнь-то не страшилась ни черта, в отличие от собственных дочерей. Осталась вдовой-солдаткой пропавшего без вести в сорок третьем году, и как-никак жила... В колхозе за палочки работала, а дома — огород сорок соток, и двум сопливым девчонкам его полоть-

поливать надо. Ну а куда деваться? Надо. Оля как впряглась с самых ранних лет, так и тащи́ла этот воз, не оставиваясь, а младшая, Нюта, все хныкала: «Давай отдохнем-посидим... Водички попьем... Кушать хочется...». А когда отдыхать-то? Быстрей-быстрей с огородом закончить, и мать с работы ждать, и караулить, как она чугу́нки на за́гнетку поставит. Кто в дверь стукнется — самим, первым на пороге встречать: тогда не всякий зайти решится. Взрослый, бывало, потопчется, да и уходит. А ребятню гнать прямо со двора, не открывая двери. Жичиной. Иначе не успел оглянуться, голытьба чумаза́я шнырк — и уже на лавке за столом сидит, а Растащи́ха всплеснет руками и поет-приговаривает:

— О-ой, да каких ребятишков к нам занесло... Счас исть будим! Оль-чка, Нют-чка, ложки давайтя!

Оля сердито гремела ложками, выбирая самые старые и обкусанные, а Нюта садилась напротив, еле сдерживая слезы. Поплакать бы в уголке, вылить свою обиду — да саранча поганая вмиг все пожрет, крошки не оставит. Вот и терпи, давься слезами, гляди, как они хватают жадными руками, кусают быстрыми зубами, да хрюкают от жадности, да сопли кулаком размазывают. И сама успевай, не то голодная останешься...

Матери пенять было бесполезно. Они ведь по деревенским меркам богатые: 250 рублей в месяц пособия за погибшего отца — Алексея Михайловича Чеботарёва, бывшего колхозного бухгалтера. За простого колхозника — 50 только платят, а им... Только кто ж это богатство видел? Приносила почтальонка деньги пятого числа в полдень, а после обеда толпа деревенских баб почти все до копейки и растаскивала. И злились девчонки, и ревели, и кричали обидные слова — разведет Растащи́ха руки в стороны — и пошла босыми ногами дробить по половицам:

— Не горьтеся, девки-и... Проживем!

Оля допытывалась, отдают ли долги, а потом рукой махнула. Чем отдают — колхоз платит сорным зерном, какое государство не приняло, да и то осенью. А если кто случайно копейки и вернул, то Растащи́ха снова раздаст.

Вот тогда, с раннего детства, в ней страх и поселился. Не в душе, нет, в животе где-то... Тяжелый-претяжелый комок в области пупка; не всегда чувствуешь, но точно знаешь — там он... Как опухоль. СтрАховая опухоль. И как только завизжит-закричит Нюточка: «Растащиха-а-а!..», все! Наливается неподъемным кирпичом, и пышет вверх, в грудь, в горло, и не дает дышать. И перекачивается дрожью туда-сюда, по всему телу.

Не привыкнуть к нему никак.

Ну, кой-чего все-таки и им перепадало. Летом ягоды-грибы в лесу собирали: чернику, малину, боровики. И носили на станцию. Пассажиры выходили из поезда, покупали охотно: девчонки чистенькие, приветливые, глазастые. Так рублек-другой-третий и зарабатывали. Булочку белую брали — там же, на станции. Ох, как хотелось булочки — главной детской сладости... Одну съедали, другую домой несли — матери. Вынимали к вечеру — когда уж темнело и гостей ждать не приходилось. Мать ахала, бежала чай ставить — да какой чай, кипяток с пиленным сахаром. Отщипывала кусочек, другой — подкладывала девчонкам побольше — так они всю ее и приканчивали... Вот каждый день ходили бы на станцию, да нельзя — огород проклятый!

А однажды в ларьке на платформе купили мечту — кругленькое зеркальце в блестящей окантовке, с черепаховым рисунком на оборотной стороне. Ясное, строгое — не из их жизни как будто. И вместе с мечтой купили себе страх. Треском тряслись над ним, и смотрелись даже не часто; где и хранить-то, не знали. Дома ж нельзя — придет кто с дитем, Растащиха все перевернет, чтоб малому в руки дать, позабавить — катушку пустую, ложку, клубок. И зеркальце сунет, не задумается, порадуетса только.

Страх.

Решили держать у Нютки в кармане; платье ситцевое с карманом мать одной ей сшила. С трудом зеркальце в кармашек влезало, зато сидело крепко, потерять нельзя.

И не углядели все равно.

Зимой тетка приехала из Купавны — строгая, большая. Поток гостей к ужину за неделю, пока она гостила, иссяк. Гостинцев навезла — мармелад, печенье, колбасу краковскую. Чай в пачке, янтарно-медовый. Девчонки пальцами водили по стакану, пить красоту такую жалко было. Главный подарок — два ситчика веселеньких, в крапочку и в цветочек, тетка сразу племянницам в руки кинула: радуйтесь, девки! Тут и на платьца, и на платочки... Зима длинная, делать нечего, пошьете небось.

Мать на станцию тетку провожать пошла, а девчонки прыгнули с печки — и к сундуку: зеркальце из кармашка вынуть и поглядеть поближе, матерьял приложить — к лицу ли платьца-платочки будут? А под крышкой ни платья Нюткиного, ни зеркальца.

Младшая перевалилась через борт сундука, уткнулась головой в узел с тряпками, и зарыдала горько, беззвучно, вздрагивая худенькими плечиками... А Оля вдруг поняла смысл утреннего разговора, который слышала сквозь сон: мать бубнила, навязывая что-то, а тетка не соглашалась. Для сопливой Наташки, их двоюродной сестры, выходит, платье Нюткино. Не знала, чем отплатить-отдариться за богатые гостинцы.

Эх, Растащи́ха-Растащи́ха... Как жить-то дальше? Чего ждать? Никогда она не изменится и нет спасенья от ее транжирства. А значит, и от страха. Оля скрючилась на полويке рядом с сундуком, опершись о край, и втиснула кулаки в живот, уталкивая страх, усмиряя, чтобы не расползался по всему телу... А сама вспоминала, как летом Нютка не хотела уходить из домика дедушки и бабушки, плача горькими слезами, цепляясь за углы. Мать сначала с шутками-прибаутками, а потом с обидой тащила девчонку за руку, выпрашивая: чего ж это у них такое есть, что дочка так за эту косую избушку держится? Спят на сундуке и на печке, а в их горнице — кровать просторная с шарами...

«Чего у них есть? — думала Оля, опираясь спиной о сундук. — Знала бы наоборот, чего нету... У них в доме страха нет».

Да, там не было. Старики, отцовы родители, небогато жили, хотя и не жаловались. На завтрак обходились порой огурцами и хлебом. И спали на печке с девчонками под боком... Но только любой лакомый кусочек — капустную кочерыжку, каменный пряник, комочек конфет-подушечек для детской ручки сберегали. И радовались, и таяли от счастья, глядя, как эти ручки хватают гостинец...

...В тот раз ничего матери не сказали, да и пришла она поздно. Чего говорить, не исправишь Расташиху.

Пару раз в год, зимой и осенью, родительница сама ездила в гости в Купавну. Чуть повзрослев, девчонки уже ничего от этих поездок не ждали. Сойдет путешественница с поезда, а до дома-то идти через всю деревню. Почитай, у каждой избы подстерегают — где родня дальняя, где кумовья. Да и кто кому в деревне не родня?

Можно, конечно, и на станции встретить, прямо у вагона. Только все равно потом по улице пойдет по гостям. И в гостях этих все-все раздаст, чего тетка наложила. А ты смотри и кулаки кусай от злости. Лучше уж не видеть...

Один раз только с гостинцем Господь до дома довел. Принесла Расташиха невиданное лакомство — полкирпичика халвы, в грубую коричневую бумагу завернутую. Ахнули девчонки. Разглядывали, дивились, сидя за столом. Взяли по ма-аленькому кусочку — во рту тает! И еще по одному... Решили надолго растянуть, по вечерам с чаем пить вместо сахара.

И тут Людку эту, колчушку, принесло! Сестру их троюродную... Толстую, черную, мохнатую. Шмеля. А они — с халвой! Нюхом, видать, почуяла... Куда деваться — угостили кусочком и Людку. Ох, как она вокруг этой халвы кружила! И нависала над ней, и нюхала, и гудела чего-то толстым басом — по-шмелиному... Зря уж улица прозвище не даст!

А потом Шмель напросилась ночевать. Ёкнуло сердце у Оли, страхом налился живот. Кричало все внутри: «Нет! Нельзя!» А Расташиха обрадовалась, закружилась, и давай ее на лучшее место устраивать!

Халву тем временем завернули в бумагу, потом в газету, и оставили на столе.

А утром нашли одни крошки. Они стояли над развернутой бумагой — мама и дочери, а Людка быстро-быстро-быстро пыхтела-собиралась, платок заматывала и ноги в обутки впихивала.

— Куда халва делась? — звонко крикнула Нюта в Людкину сторону, оперев руки в бока.

— Какая? — невнятно пробубнила Шмель. — Ах, эта... Да она растаяла, ей-бо... Растаяла!!! Она ж такая была... — и покрутила в воздухе толстыми пальцами. — Ой, мамка заругает! — закричала вдруг, хлопнула дверью, и уже из сенцев донеслось: — Олька, Нютка! Теть-Аленочка, до свиданьица!

— Хоть попробовали, — вздохнула Оля, а Растащи́ха спела свое: — Не горьтеся, девки, — и убежала к куме Парашке по какому-то делу.

Девчонки долго и тяжело молчали, сидя за столом, опозоренном мятой бумагой с темным пятном от халвы и налипшими крошками.

— Олька, сестра, — вдруг сказала Нюта, — а нас ведь, Растащи́хиных, и замуж никто путевый не возьмет, так, дурак какой-нибудь...

А Оля промолчала, слушая, как живот наливается страхом и тоской... Страхом перед будущей несчастливой жизнью и тоской от невозможности ее отменить.

...Как сказала тогда Нютка, так все и вышло. Выгребались девчонки из деревни — еле выгреблись. Девятилетку окончили в соседнем селе, в город уехали. В мужья обоим достались пьяницы забубенные, одно только облегчение — померли скоро. По дочке сестры и успели только родить... А то и куда ж больше с алкоголиками! Работали одна на кондитерской фабрике, другая — на железной дороге.

А Растащи́ха жила — завей горе веревочкой! Легко и весело, без страха. Как будто дочери за нее все, что можно, отбоялись. Вдруг придумала замуж выскочить, да за кого! За Ваську Козла, вдовца, отца десятерых детей, известного всем охламона.

— Вы, Олька с Нюткой, — говорила тетка из Купавны, — мать не судите. Ей не Васька нужен — детишков пожалела... Аленочка, она с молодости красивенькая была, даж когда вдовела, многие сватались. Не пошла, а тут перед ребятишками не устояла.

Дети Васькины и правда полюбили Растащиху как мать родную. Особенно младший — годовалый Серенька. Из-за него столько лет в Васькином доме и прожила. Из-за мальчика и терпела, когда Козел с поленом по всей деревне за ней гонялся. А Оля ночами просыпалась, как от толчка: все виделась ей мать с пробитой головой, с залитым кровью лицом... До утра бродила по комнате и уснуть не могла от ужаса.

Но все как-то устроилось: когда совсем этот дурак ополоумел, маленьких детей старшая сестра забрала, а они с Нюткой в город — Растащиху. Купили общими силами на окраине полдомика, развалюшку, и стала там она жить-поживать... Впору и успокоиться, да Козел никак уgomониться не мог — в город наезжал то и дело, под окнами буянил. Растащиха издали его чуяла; только в конце улицы замаячит, сразу внучкам командовала: «Ложись!!!», и вместе с ними залегала на пол под подоконником. Полазит-полазит Васька по окнам — не видать ничего за шторками да за геранями и уйдет обратно, к базару, где автобус в деревню...

А в последний свой приезд такое устроил! Может, чувствовал, что последний, вот и натворил дел. Орал-орал всякое, как обычно, а потом отошел на середину дороги и швырнул в окно — да не камнем, не чурбаком, а бараньей черепушкой! Пробил двойное стекло насквозь... Оля, вытаращив глаза, не могла оторваться потом от этой выбеленной костяной морды на груди стеклянных осколков. Ужас поднялся неудержимой волной изнутри, разорвал горло, еле успела на улицу выбежать... Рвало потом до вечера зеленой желчью, а в душе понималось: страхом, страхом, страхом...

Вскоре после этого помер Васька — ночью пьяный упал в стог и утром не проснулся.

А материну улицу — всю почти — задумали ломать. И оказалась Растащи́ха в новом жилом квартале на первом этаже в однокомнатной хрущевке. Диво дивное!!! Светло, тепло, и главное — вольная вода, сколько хочешь из крана лей! Только про эту вольную воду и твердила день и ночь, никак поверить не могла.

И понеслось... Вся деревня непрерывным потоком потекла в ее квартиру. Двоюродные, троюродные, сватья, кумовья... Козловы дети. Всех Растащи́ха на вольную воду звала — и тех, кто проездом, и кто на базар торговать приехал. А потом выкупанных, разомлевших от вольной воды, потчевала, по своему обыкновению, выволакивая на свет божий все, что в стареньком холодильнике было. А самое главное, поскольку не могла даже представить, что после банных процедур можно на себя грязное надеть, снабжала выкупанных своим же собственным исподним... Нижние рубахи и панталоны разлетались из квартиры, как стаи птиц в теплые края.

Дочери и не ругались уже. Олин страх сжался в слегка ноющую точку, в такое бесконечное беспокойство-досаду: придешь к Растащи́хе за три дня до пенсии — а у той только кипяток с сухарями, и уж неделю как... Сидит-пьет-похохатывает. А сколько у соседей назанимала — лучше не знать. Смотрит круглыми глазами, как дочь молча продукты в холодильник выкладывает, а у самой губы трубочкой, бровки заборчиком, душа поет: «Ахти!!! Гости на пороге!» А как спела душа, тут и гости.

Поток гостей, хоть и не скоро, а все же иссяк. Молодые из деревни по городам разлетелись, старики совсем из нее выезжать перестали. Осталось Растащи́хе одно — с внучками-дошкольницами нянчиться. Не успели дочери порадоваться, что расти их детки наконец будут в тихой квартире, без банного пара, мешков, сваленных в коридоре, старух с прилизанными волосами, хлебающих из блюдец, суеты и болтовни, как мать новый номер отколола.

Придя как-то вечером с работы, Оля с Нютой обнаружили в комнате не только своих дочек, но и трех посто-

ронних — двух мальчиков, одну девочку. Все мирно ползали по тканевому покрывалу, постеленному на полу, и строили что-то из чурбачков и кубиков. Обе застыли на пороге. Олин страх мгновенно вспыхнул внутри и ударил в ноги. Она покачнулась и оперлась о косяк.

— Где ты взяла детей? — закричала Нюта.

— Отцы-матери привели, — невинно отреагировала Растащиha. — Вот Сереженька, — похвасталась она, погладив белую вострепанную головенку, — как мой сыночек...

Оказывается, гуляя с внучками и знакомясь в соседнем сквере с родителями других детей, выслушивая их жалобы на то, что деваТЬ их совершенно некуда и мест в детсадах нету, Растащиha тут же предлагала свои услуги: «А вот я и посижу! Где двое — там и третьему места хватит!» И четвертому, и пятому. Доходило до шести... Деньги, конечно же, брать отказывалась — родители приносили еду и игрушки. Потом внучки в школу пошли, и учили уроки за круглым столом в комнате под детский визг, смех и драки... Ничего, притерпелись как-то, даже весело было.

Потом постепенно и внучки выросли, и маленькие детишки закончились... А может, у Растащиhi у самой сил особых не стало. Но усидеть дома никак не могла.

И придумала она трудиться пойти, в гастроном самообслуживания. Вот ее дом, а вот, напротив, гастроном, первый этаж занимает; остальные — общежитие пединститута. А работа такая: камера хранения. Закуточек при входе, прилавок; а за спиной — клетки-клетки-клетки с номерками. Надо сумку у покупателя принять, в клетку поставить, номерок вместе с проволочной корзинкой для продуктов выдать. До коммунизма далеко пока, некоторые малокультурные могут и сбондить чего... Поэтому сумки свои обширные — пожалте, Растащиha присмотрит.

Дочери радовались — при месте мать, да при продуктах; с едой тяжело стало. Очереди страшные — за молоком, за колбасой. А в магазине самообслуживания уже не

продают, а «выбрасывают» — и расхватывают за полчаса, дольше темная толпа стоит-ждется.

Растащи́ха и брала — молоко, колбасу, батон белого. А потом обопрется на свой прилавок и выглядывает — студентика какого, бедолагу, чтоб похудей да пожалче. В очечках еще, или косоглазенького. Косоглазыми называла казахов, которые готовились на учителей русского языка по направлению. Чего ж такими глазками увидишь — думала. Ну и отзовет потихоньку: иди сюда, сынок, иди... И в руку кусок колбасы сунет — кушай, сынок, поправляйся! Денег не брала по своей привычке, конечно. И так каждый день, да не по одному разу... Радовалась, цвела — нашла себе занятие!

В общем, все традиционно для Растащи́хи — ни денег, ни продуктов... Но уж когда, войдя с сумками, в сумраке подъезда, Оля увидела, как из материнной квартиры выходит молодой негр... И сверкает улыбкой, и она виснет в воздухе, самостоятельно двигаясь к выходу, подкосились ноги, забухало сердце, и страх вернулся с такой мощью, что упала она в коридорчике на старый сундук и долго не могла сказать ничего, а только елозила ногами по полу, собирая комьями домотканые половики.

А потом устроила матери скандал, впервые в жизни. Плакала злыми слезами, кричала. До сих пор стыдно вспоминать. Про негра этого и приемных детей сопливых-голоштаных, про старух «на вольную воду», про вечное ее расточительство и самовольство... Все-все вывалила: детство свое нелепое, вечное беспокойство, тяжелое девичество и замужество, страх извечный. И лупила кулаками по коленям и спрашивала, не переставая: почему, почему, почему? Всю жизнь, всю жизнь, всю жизнь...

— Может, не того боишься, дочка? — спокойно переспросила мать. — Всю жизнь? Эх, девки!.. — и, махнув рукой, пошла в комнату.

Умерла она в один миг, как праведница — упала, и все. По дороге из комнаты в кухню, ясным октябрьским днем. Вот только что тут была и раз — нету.

Народу пришло хоронить — триста с лишним человек. Танюшка, внучка, из окна посчитала. И как узнали только? Полдеревни приехало, и Козловы дети с мужьями-женами, и подростки Растащишины воспитанники, и их родители. Цветами живыми всю могилу устелили — знали, не любила бабушка бумажные. Деньги несли все три дня, под поминки столовую сняли. На все хватило, еще и осталось.

Плакали ее внучки, а горше них еще два человека — взрослый мужик Сереженька, сыночек ее дорогой, и негр Сажечка. Последний сидел около свежей могилы на корточках, и лил слезы, и лил, вместе с осенним дождиком. Не дал себя увести, так и остался, после всех, на поминки не пошел. Может не знал, что положено.

Через полгода вступили в наследство — двадцать пять рублей на книжке. Купили на память по набору — графинчик и расписные стопочки, чтоб наливочку из них за упокой Растащихиной души... Жизнь спокойная пошла, без нервов и страха. А все ж не было дня, чтобы Оля мать не вспомнила. И Нюта призналась, что — да — тоже. Потому что все события, все перипетии, ну все, что всплывало в памяти веселого или грустного, было только с ней связано...

— Растащиха-а-а!!! — голос с небес подбросил Олю кверху, скрутил, как отжатое белье, и отобрал дыхание. Свет, рванулась душа в неотчетливой радости — увидеть, поверить, обнять...

Она вздрогнула и проснулась. Напротив, упершись в нее глазами, сидел помятый мужик в облезлой рубахе с пуговицами через одну.

— Ростошихино, — ощерился он, показав зубы, как пуговицы, — через один.

А она не понимала — сжимая изо всех сил ручки плетеной кошелки с яблоками и дослушивала, замерев, возвращаясь на землю, теплое, уверенное, основное, понятное только ей:

— Не того боисся, дочка. Всю жизнь...

Недокормыш

У нас была многодетная семья, десять детей — девять братьев и я. Мы жили дружно, но я скучала по двоюродным сестрам и ходила к ним в соседнюю деревню. Мать за меня была спокойна, что не потеряюсь, и отпускала. Тетушка с сестрами жили в маленькой землянке, и рядом строили новый дом. В доме стоял большой старинный покатый сундук, а во дворе у них жила коза, которую мы боялись.

Колея дороги вела к ним через поле с гречихой, и в летний зной обжигала горячей пылью. Иду по пыльной дороге, ногами поддаю горячую пыль, а надо мной небо голубое, жаворонки поют, мухи жужжат. Играю в деревне с сестрами, книгу про Незнайку читаем, а тетя на козьем молоке кашу варит, обед нам готовит. Сестры едят, а меня тошнит от козьего молока, я отказываюсь от еды и остаюсь голодной. А на закате домой иду, силы меня покидают, и я падаю у дороги в голодные обмороки, щекой к траве-мураве прижимаюсь, будто засыпаю.

С трудом дошла до дома, солнце палит, меня тошнит: «Мама, дай поесть». Мать печку откроет, огненными щами пахнет, а есть нельзя, ждать надо, когда остынет, а я опять ушла в обморок. Мать жалеет меня и охает, она думала, что меня в гостях накормят, а я между двумя матерями голодала и в обмороки падала. Вот такое оно, мое детство.

Челновая

Челновая

Бабушка моя из деревни Нешево родом. Дом там стоял такой добротный. Но когда ее маму парализовало, дети приехали к ней и стали решать, кто из них заберет к себе родителей. Ближе всего жила к Нешеву сестра Надя. Она и сказала, я заберу, но только дом мне тогда в Нешево останется. Что делать, раз сказала, так сказала. Обиделись, конечно, на нее остальные сестры и брат, но пришлось согласиться. Моя бабушка тогда уже в Москве жила, но хотелось ей в отпуск приезжать к себе на родину в Смоленскую область. Хорошо, сестра ее младшая Шура позвала к себе. «Приезжай, говорит, к нам. Я сейчас с мужем и двумя детьми в деревне Челновой живу. Работаю здесь в клубе, фильмы показываю». Бабушка и моя мама с мужем собрались и поехали. Меня тогда не было еще. И стали они каждый год в отпуск ездить в Челновую. У мамы сестра моя Оля родилась, потом через три года и я. Привезла она из Москвы меня в деревню, мне еще трех месяцев не было. Бабушка люльку подвесит к потолку в пуне, где сено лежит, марлей меня закроет, и сплю я там весь день.

— Арсентьевна, — кричали соседи моей бабушке, — Маша в пуне плачет.

— Ничего, сейчас приду.

А мама брала меня в лес. Коляску возьмет и идет за грибами. В лесу удобно, вниз коляски грибы кладет и едет дальше собирает. Как обратно возвращается, захо-

дит на Проварище в грибоварню. Грибы сдаст, деньги получит сразу, так подрабатывала она.

И жили мы весело в одном доме все. Тети Шурины дети Леня с Толиком утром рано вставали на рыбалку. Щуку огромную принесут, нажарит бабушка — всей семье хватит. А ту рыбу, что поменьше была, вешали на чердак сушить, а совсем мальков кошке отдавали на корм. Раз напросилась я с ними на вечернюю рыбалку. Сели на самом высоком берегу Днепра, кинули удочки вниз. Сидим, ждем. А я волнуюсь, вдруг поймают... Поймали окунька. Положили в ведро, а сами дальше удочки закинули, сидят, ждут. А я уже не на поплавок смотрю, а все на этого окунька, что в ведерке. Он всей спиной выгибается, рот открывает, прямо в глаза мне смотрит. Я возьми и выпусти обратно. Как же меня Леня с Толиком ругали. Больше не брали с собой на рыбалку. Но я и сама больше не хотела с ними. А один раз зайца в лесу поймали, домой принесли. Хорошо, сбежал он от них быстро, жалко так мне было зверюшку. Приезжали мы так каждое лето к ним. Пока не поругалась моя бабушка с сестрой. Хорошо, тогда рядом Никаноровна дом соседний продавала. Отдала бабушка денег. Та расписку ей написала. Вот и все оформление. И переехали мы в свой дом. Старинный, довоенный ещё. Как же мне интересно тогда было в том доме все рассматривать. Большая русская печь в центре стояла. Прялка в углу. А над прялкой икона весела. В сенцах лавка длинная была. Там мы ведра ставили. Из колодца мама воды принесет. Два ведра поставит. А рядом ведро стояло, а в нем трехлитровая банка с молоком в воде, чтобы не прокисло. Холодильника тогда не было у нас. Мама рассказывала, что ее бабушка жабу в молоко кидала, чтобы не скисло. Но мы решили, что лучше в ледяной воде молоко сохранять. Прямо как в дом войдешь, была кладовка с подполом. Там в железном баке продукты мы складывали. В дальней комнате за занавеской два сундука стояло больших. В одном мы сладости и крупы хранили. А в другом — из одежды и белья самое ценное. Дверей тогда в комнатах не было, только

занавески и перегородки делали вместо стен, это чтобы печка, которая стояла в центре дома, тепло свое отдавала по всему дому.

Умывались мы под рукомойником. В него водичку нальешь. А внизу ведро ставили.

Утром, как вставали мы с сестрой, идем умываться, а мама водичку теплую наливала. Так приятно. А то ледяной из колодца холодно было умываться. Бабушка утром печку затопит, кашу в чугуне поставит. А раз чуть не уморила она нас. Мама тогда в Москве была на работе. А мы с бабушкой жили. Спали мы с Олей вместе на одной кровати. Просыпаемся вдруг, и не можем понять, что с нами. Ног и рук не чувствуем. Как вышла я из дома, не помню даже. Только помню, как упала сразу на траву и стала кататься по ней, полчаса так лежала и отошло тело, слушаться стало. И в голове начало проясняться. Потом я узнала. Что угорели мы с сестрой. Ещё немного, и не проснулись бы мы тогда. Бабушка печку истопила, а когда трубу закрывать стала, не увидела, что еще полено одно догорало. А закрывать можно только, если маленькие угольки остаются и догорело все. Вот угарный газ и пошел не в трубу, а в хату.

Но забылся этот случай быстро. Жили мы в своем доме очень счастливо.

А сестра бабушкина уехала из Челновой и переехала в город, не стало здесь работы, как развалился Советский Союз и за ним колхозы. А дом свой продала. Да неудачно, недолго они прожили, еще раз продали... И так и никто не стал там жить. Развалился тот дом, стоит теперь покосившийся и без крыши. Весь зарос бурьяном.

Нешево

— Поехали завтра в Нешево, — предложила я маме. — Тянет меня туда.

До Нешево от Челновой недалеко на машине ехать. Сначала до Ельни нужно доехать. Потом двадцать минут

и Новоспасское село, где Глинка родился и рос. А от Новоспасского по песчаной дороге еще семь километров — и Нешево наше. Оттуда я. Вернее, не я, а мои бабушка, прабабушка и прадедушка.

— Поедем, доченька, и на кладбище в Ельню, — обрадовалась мама. — Там тетя моя Вера Арсентьевна похоронена, и моя бабушка Вера Ивановна, и дед Арсей Петрович.

Мама даже перестала чистить картошку, задумалась.

— Серьезный был дед. Как же мы все его боялись, и жена его боялась, и дети. Сядем мы кушать. Бабушка в пять утра как корову подоит, печку растопит, суп туда поставит томиться. Вкусный суп получался. Молоко нальет, овощи все, что с огорода, положит. И драников напечет. К обеду и ужину готово все. Только чугунок достать, поставить на центр стола и ложки положить. Сидят все тихо, едят. Если слово скажешь, то дед Арсей ложку возьмет и так в лоб ударит, что ложка из дерева расколется. Слушали его все. Боялись сильно.

Один раз мама моя, — продолжила рассказ мама, — чашку его любимую разбила. Так испугалась, что побежала она на речку, чтобы утопиться. Но жил на деревне один немой парень. Схватил он маму. Спас.

А бабушка Вера какая добрая была. Из всех деревень вокруг к ней люди съезжались. Лечила она их, заговаривала. Идет она по деревне, если увидит пьяный какой в канаве лежит, вытащит, поможет, никогда мимо не пройдет. Очень добрая была и работающая. Спала на лавке у печки, даже раздеться не успевала, так и заснет в телогрейке калачиком. Я много могу про них рассказывать. Поедем завтра.

Утром мы встали пораньше. Растопили буржуйку, а то завтракать холодно было. И выехали на машине в Нешево. Старое кладбище в Ельне мы быстро нашли. Могилку тоже. А ведь искали мы ее несколько лет подряд. Вся наша семья искала от мала до велика. Не могли найти. Как моя бабушка умерла, не ездили мы туда. Заросло все. И вдруг два года назад трава посохла — лето было жаркое — и показались из травы две знакомые фо-

тографии, помнила я лица родителей моей бабушки очень хорошо, хоть и не видела их живьем, но по фотографиям сразу узнала. Вот счастье было. Убрали мы тогда траву и запомнили дерево большое, березу около могилки, — теперь могилка не потеряется. Так и нашли в этот раз. Голову подняли, березу нашли, а под ней и могилка. Только вся чистая в этот раз была. Кто-то приезжал, убирал. Жалко не знаем, кто. Потеряли мы контакты наших родных, так жизнь всех далеко разбросала. И на Украине, и в Свердловске, и в Санкт-Петербурге наша родная кровь. А кто приезжал в этот раз, не знаем. Зажгли мы свечу. Молитву мама прочитала. Блином помянули. Цветы полевые положили.

А сын говорит:

— Мама, можно я дорожку камешками выложу?

Я говорю: конечно сынок. Насобирали он на дороге камней, самые красивые выбирал. И выложил дорожку.

— Вот теперь приедут наши родственники и увидят что были мы здесь, — сказал сын.

— Поехали дальше, в Новоспасское, — сказала мама. — Там моя мама училась в школе, четыре класса окончила. Больше отец ей не дал учиться. Говорит, мычки умеешь считать, да ладно. А дорога какая красивая. Вокруг поля до горизонта, весь круг виден, видно, что планета — шар.

Приехали в Новоспасское. Церковь старинная.

— А это папа храм построил? — вылез из машины с такими словами наш младшенький. Вот и вопрос у двухлетнего сына. Удивились мы. А за голубым забором усадьба, где Глинка родился и рос. Большая усадьба, и территория большая с озёрами и лесом. И дуб стоит столетний, что еще сам Глинка сажал. Хотели мы его обхватить, но так и не смогли, такой он большой.

Хотелось долго гулять по усадьбе и посидеть у озера в беседке, но тянуло в Нешево, и мы поехали дальше. Вот и дорога песчаная началась. Значит семь километров осталось нам до нашей родной деревни. Приехали. Видно, есть ещё деревня. Мало домов осталось, но живут еще. Встретили мы двоих мужчин у самого края...

Ураган

Весь день ждали урагана. Предупредили, что пройдет он по всей Смоленской области. Утром и днем было солнечно, ни ветерка даже, не то чтобы ураган. Я с детьми и мамой пошла в лес к Новоселью, боялась сначала: когда ветрено, в лес ходить опасно, много деревьев старых уже, упасть могут. Но тут тишина. Сели на машину, доехали до делянки с брусникой. Взяли каждый по ведерку маленькому.

— Мама, слышишь, и птички замолчали, — сказала я маме.

— Да, — отвечала мама, — как хорошо собирать ягоды, погода как раз для леса. Ни комаров, ни водней.

— Страшно как-то, — продолжила я, — тихо слишком. Так в лесу не бывает. То шмель зажужжит, то ветки хрустнут, и птицы наперебой поют, а тут как уснуло все.

Пособирали мы часа два и домой поехали. Приехали, — и в деревне тихо.

Только к вечеру тучи налетели и дождь сильный пошел. И я успокоилась, наконец. Вот и дошла до нас непогода. Ветер и дождь — это не страшно. А вот урагана — как же я боюсь. Ещё с детства. Когда мне лет пять было, был в деревне ураган. Вечером вдруг резко ночь стала, такие тучи темные налетели. И в окошко мы сидели смотрели, думали, дом наш улетит: такой силы ветер был, трава легла вся, бросало её из стороны в сторону, словно дикий табун по ней нёсся. Гул страшный стоял. Пережил тогда наш дом тот ураган. А когда на следующий день вышли и пошли в лес в сторону деревни Елчи, тогда поняли, что ураган-то нас стороной прошёл. Полоса метров 30 была, словно покосило небо огромной косой наши вековые ели, а что-то с корнем вывернуло. Такое не забудешь никогда.

Поэтому так я и боялась, когда ураган обещали, знала, что это за страсть такая.

Но рано я успокоилась. Ночью проснулась от знакомого уже гула. Гудело так сильно, что я думала, в нашем

доме случилось что-то. Дом у нас словно каменный, рамы двойные оконные, ничего обычно не слышно с улицы, а тут я поняла. Ураган идет. Два часа смотрела я в окно с надеждой, что устоит наш дом, устоял. Вот и второй ураган пережила Челновая.

Коля

Маму я всегда очень любила и скучала по ней, даже когда она выходила на пять минут из дома за хлебом. Мы тогда на четвертом этаже жили. Как только она за дверь, я к окну бежала, еще маленькой девочкой была. Не дотягивалась я до окна, брала табуретку, вставала и провожала ее взглядом, и махала ей рукой, пока она не скроется из вида. Мама это знала и тоже всегда оборачивалась и отвечала взмахом руки.

Когда я пошла в садик, мне было так грустно без мамы, что я нашла дырку в заборе и убежала домой. Тогда очень меня и мою маму ругали в саду, а я не понимала, чем я виновата.

Когда мама привозила нас с сестрой в деревню на лето к бабушке, я тоже очень скучала. И бабушка сказала, что будет легче, если писать маме письма. Писать часто и обо всем, что я хочу и что делаю, свои мысли записывать. И я стала писать.

«Мамочка, идет дождик, я сижу у окна и читаю книгу, книга очень интересная, вчера взяла в библиотеке. Бабушка печет блины в сенцах, сегодня утром она нам варила варенье из черноплодной рябины с яблоками. Ждем тебя очень. Когда ты приедешь?»

Это был разговор с мамой каждый день, ведь телефона тогда не было еще в деревне, только один на почте. А еще я прикладывала в каждый конверт то цветочек ее любимый, то листочек, чтобы письмо живое было. Я знала, что цветочек засохнет, но верила, что маме так дойдет моя любовь к ней.

И было бы все, наверное, так же хорошо между нами, если бы не моя первая любовь. Мне тогда пятнадцать было. Совсем еще девочка. А ему около сорока. Колей его звали. Я тогда не знала еще, что любовь может быть такой сильной. Я смотрела в его сторону и чувствовала, что внутри, где-то в груди, бежит волна, да такая же, как в море бушующая, и она с такой силой ударяет в голову, что не знаю, есть ли пловцы, которые смогли бы устоять. И приходится нырять в эту волну, подныривать под нее и выплывать уже совсем другим человеком. Человеком, который влюблен. Страшная эта сила. Затмевающая все вокруг. Вот такое со мной произошло. Бедная моя мама. Она пыталась поговорить со мной, но я не слышала. Ругала меня, но я только сильнее боролась за свою любовь.

— Доченька, вы же не сможете быть вместе, — говорила она.

Но я ледяным тоном отвечала: нет, будем!

А моя бабушка молчала и ничего мне не говорила. Часто я видела, как делает она что-то, а сама будто не здесь. Я спрашивала: бабушка, о чем ты думаешь? А она смотрела на меня мокрыми глазами с большой тоской, сначала только вздыхала, когда я маленькая была, а потом рассказывала. Что была у нее одна только любовь и на всю жизнь. Она вышла замуж и была счастлива семь лет, так что хватит на несколько жизней этого счастья. Как она рассказывала, что спали они только губы в губы, по-другому не могли. Очень сильно любили друг друга. Но не было у них детей. А тут ещё и война Великая Отечественная началась. Они в Москве были, работали много, бабушка забрала своих сестер из деревни, под Ельней, где они жили, там опасно совсем стало. И стали к младшей сестре военные ребята заглядывать, хоть и война была, а жизнь все равно продолжалась. Как не вернется муж с работы, то один парень у них дома, то другой. И забеременела в это тяжелое время моя бабушка. Сколько ждали, а тут война, 1943-й год шел. Соседи и говорят: «Коля, твой ли ребенок будет?» Вот злые языки завистливые. Коля и поверил, что солдаты к жене его ходили.

Бабушке рожать пора, а Коля: не мой это ребенок, и все. Бабушка сильная была. Родила. А Коля даже не пришел в роддом. Не смогла бабушка простить его. Ушла вместе с дочкой от него. И любила его всю свою жизнь. А когда мама моя подросла, очень хотела она отца своего увидеть. Нашла его моя бабушка. Недели они свою самую красивую одежду. Уже бабушка тогда директором комбината была, мама моя в институте училась. Приходят они к Коле. Открывает он дверь и не верит. Дочка — точная копия его. Все черты подобрала. «А где же курносый нос?» — только и спросил Коля. Ведь родилась мама курносая. И стал Коля бабушку мою просить простить его. Умолял ее, но не простила она. А потом узнала она, что удар с ним случился, не смог он уже жить с таким горем, сердце не выдержало. Вот бабушка и винила себя, что не простила тогда Колю. Сквозь жизнь пронесла она свою любовь и тяжесть на сердце. Рассказывала она мне очень часто о своей любви. И в мою любовь не лезла. Твоя это жизнь, говорила она. Тебе и решать. Вот эта история моей бабушки и давала мне силы бороться. Бороться за моего Колю.

И была у меня эта любовь платоническая. Моя к нему как к мужскому идеалу, и его ко мне как к девочке-подростку с большими влюбленными глазами. Мы и не виделись почти. Любили на расстоянии. Однажды, когда мы снова встретились, он показал мне звезду на небе самую яркую и сказал: смотри на нее, когда хочешь подумать обо мне, и знай, что я тоже всегда буду смотреть на нее с мыслями о тебе. Это была последняя наша встреча. Мама запретила мне встречаться с ним. И я плакала в подушку и любила. Очень любила звездные ночи, тогда я в окошечко смотрела на небо, и мы были вместе.

А ведь у мамы моей тоже Коля был. Любила мама его. Он был моим крестным. В Балтийске он жил в закрытом городе. И служил на военном корабле. Коля тоже любил маму, но его мама была против этого брака. Хоть и в разводе моя мама уже была, но две дочки тогда уже у мамы было. Зачем ему женщина с двумя маленькими детьми,

думала так за него мама. И не смогли они быть вместе. Мало прожил Коля, то ли служба была тяжелая, то ли о маме моей скучал. Но умер он рано.

Прошли годы.

Когда я выросла и сама стала уезжать из дома в разные города и страны, я тоже всегда отовсюду присылала маме открытки со словами: «Мамочка, я тебя люблю». Я, конечно же, не держала обиду на маму за ту первую мою любовь. Но было что-то, что я оставила в душе только для себя. Ведь та далекая яркая звездочка так и светит до сих пор ночью в мое окошко, и еще я так и вспоминаю мокрые глаза моей бабушки. И ее слова. Твоя эта жизнь, тебе и решать.

Капут мортуум (уроки жизни)

Все дети как дети: противные. А ты же моя крошка, ты же мое солнышко!..

— Да, да, целуйтесь, целуйтесь. Ребенок совершенно не готов у тебя к школе, а все целуетесь и целуетесь, и больше ничего не делаете.

— Ты прав, милый, но, видишь ли, я, собственно, для того и родила ребенка, чтобы с ним целоваться. А не для того, чтобы он ходил в школу и был отличником.

— Да, да, конечно, пусть он будет двоечником, пусть он будет последним в классе.

— Ну почему же сразу последним? Пусть он будет предпоследним — как Бальзак. Меня это вполне устраивает.

— Ребенок даже букв еще не знает!

— Это правда: ребенок талантлив, но необразован. Но это же поправимо, милый. С будущей недели, так и быть, сядем за алфавит.

— А что такое «неделя», мамочка?

— Неделя состоит из семи дней: понедельник, вторник, среда (как много я знаю!), четверг... кстати, ты не забыл, дорогой, что в четверг надо отправить картины в Германию?..

— А что такое «Германия», мамочка?

— Германия?.. Ну-у... как бы тебе это объяснить с ходу?.. Дорогой, объясни ребенку, что такое «Германия».

— Германия?.. Германия — это где живет Миша Городинский.

— Спасибо, дорогой. С Германией разобрались, но вот

что меня волнует, милый: образование дадут ребенку учителя, а вот кто преподаст ему уроки жизни? Кто, если не мы?

— Начинай.

— Моя дорогая!.. Жизнь сложна. Жизнь сложна, а ты так доверчива, моя крошка!.. Надо быть начеку. А то развесишь уши, раскроешь варежку — и все: капут муртуум.

— Вот именно, и мы совершенно не желаем с мамой, чтобы какая-нибудь кота Алиса...

— Лиса Алиса, папа!

— ...лиса Алиса и этот чертов проходимец кот Базилио подвесили тебя за ноги, как дурака Буратино.

— Вот именно. Или как Лео Французов подвесил за ноги твоего папу.

— Что ты такое говоришь ребенку?!

— Я говорю ему правду, милый. Пора знакомить его с изнанкой жизни. А то развесит уши, раскроет варежку... Притормози у магазина, я обещала купить ребенку новую игрушку.

— Опять новую игрушку!

— Милый, но для ребенка новая игрушка — это счастье, состояние души.

— Знаем мы это счастье: на пять минут.

— А счастье больше и не длится. Счастье — оно и длится пять минут.

— Мамочка, а человек произошел от обезьяны?

— Нет.

— А Владик говорит, что от обезьяны.

— А вот за Владика я ручаться не могу: очень похоже, что Владик произошел от обезьяны. И Лео Французов тоже.

— А что такое «Лео Французов»?

— А вот про Лео Французова рассказывать ей или нет?.. Рассказывать! И не надо морщиться. Мало ли что противно, надо. Но... погода. Со временем, родная, ты найдешь его в моей «Энциклопедии ошибок» на букву «с»: сколопендра. Из семейства гадов. Питается позвоночными и насекомыми. Ядовитый укус сколопендры смертельно опасен для человека.

— Зачем ты несешь ребенку всю эту чушь?!

— А как же? милый?.. А вдруг там, за углом, свалится кирпич — и всё: карут муртуум!.. Кстати, что такое — карут муртуум? Я все забываю спросить тебя.

— Название краски.

Краски? Какой?

— Красной. Точнее, не красной, а... ну, в общем, цвет тухлого мяса.

Фи-и... какая гадость. И всё?!

— Тебе мало?

Значит, карут муртуум. И что будет с нашим ребенком? В этом ужасном мире? Мы ничего не успели ему рассказать! Предупредить! Заблаговременно сообщить!..

Так, быстренько: самый вкусный гриб — дождевик, самый поганый месяц — ноябрь, самая грустная песня — «В траве сидел кузнечик...», самый лучший писатель — Набоков, самый большой гад — Лео Французов, Германия — это где живет Миша Городинский, самая лучшая фраза о любви — «Предчувствие любви сильнее, чем любовь», наука о любви — «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» — и наоборот. И больше ничего о любви знать не надо: все ошибки вытекают из незнания этого правила. Ты поняла, моя прелесть, мое счастье, мое сокровище? Мой кабачок, мой толстячок, мой пустячок. Теперь ты знаешь всё.

— Да, мама. А что такое «апрель»?

Господи... еще и про апрель ей надо рассказать!.. А когда же мы успеем ей раскрыть глаза на Александра Македонского, Цезаря?.. На Наполеона, Гитлера и прочих злодеев? Или достаточно будет рассказать ей просто про Лео Французова?!.

Мы когда-нибудь перестанем об этом говорить, но не сегодня

Светлане Мосовой

I

Француженка, которая живет на
Петроградском острове и покупает на
Сытном рынке букеты из листьев капусты

— Но это уже не название, а целая глава, можно уже
больше ничего не писать.

— Да, но это мои букеты! А она их покупает!..

Я никогда раньше не видела таких букетов: какие-то
лиловые листья декоративной капусты, чертополох,
сухоцвет и снова капустные листья — бордовые, синие,
фиолетовые! — красота сумасшедшая. Не знаю, почему
я не купила их сразу, а зачем-то пошла покупать батоны.
А когда вернулась, корзина была пуста.

— А где цветы? Здесь были цветы!..

— Их купила одна дама, — довольно сказала продав-
щица.

— Что, все?!

— Все! — И уважительно добавила: — Она францу-
женка. Каждый раз покупает у меня все букеты. Говорит,
во Франции таких нет.

Ага, конечно, только на вашем садовом участке «Крас-
ные зори».

Через неделю все повторилось снова.

— А эти букеты с капустными листьями...

— Только что купила одна француженка, она говорит, что...

— Вы это уже рассказывали.

Вообще-то мы ездим на этот рынок исключительно из-за «стиляг».

— На планете Земля есть единственное место, где продают настоящий «Городской» батон — это Сытный рынок, — каждый раз говоришь ты.

В народе этот батон называют «стиляга»: потому что на вид он действительно стильный блондин из советского времени.

— Дайте пять «стиляг», пожалуйста.

На неделю нам хватает ровно пять. При том условии, что один батон обязательно сгорит в духовке, когда ты захочешь его подогреть, вынув из холодильника.

— Пекарь позорный, — всегда ворчу я. — Печь — это не твое, забудь.

Я домовита и меня расстраивают такие потери.

И вот суббота, а значит, мы едем на Сытный.

— Сегодня расхватали всех «стиляг», но я для вас оставила пять.

— Спасибо! И как это вы всех помните?!. Нас же тьмы!..

— Не всех. А вас. Вы — индивидуальность.

Никогда не знаешь, где тебя достигнет признание.

— Слушай, индивидуальность, — ты распахиваешь «стиляг» по сумкам. — А ты в курсе, что тут когда-то было лобное место? И здесь казнили того, кто, можно сказать, построил Петербург.

— Вот блин. А как зовут этого святого человека?

— Еропкин.

— Еропкин? И все?

— Еропкин Петр Михайлович, это он задумал нам три луча вместе с Невским проспектом. А еще храм тут стоял. Города всегда так строились: рынок, балаган, храм, лобное место. Все, что нужно для жизни.

— Ужас. А мы теперь ходим и «стиляг» покупаем. Ну как это называется?!

— Это жизнь называется. Давай быстрее, а то опять опоздаем.

Мы со всех ног несемся в павильон.

— А этот чудесный букет, с лиловыми листьями, есть?

— Ой, вы опять опоздали.

— Как это?.. Мы же специально приехали раньше!..

— Только что купила одна дама...

— Да, да, француженка...таких букетов во Франции нет, мы это уже слышали, наваждение какое-то.

— Вон она, к выходу идет, видите?

Успеваем заметить тонкий дымчатый силуэт, обнимающий пять капустных букетов (или, наоборот, пять букетов, обнимающих силуэт)...

— Кто она такая? И вообще, что она тут делает, в Питере, на Сытном рынке?!

— Наши капустные букеты покупает. Слушай, а может, это Николь?.. Тоже француженка...

— ??? Да нет... не может быть.

— Я знаю, что нет. Но можно представить, что да.

II

На Петроградском острове нет времен года

Мы проходим мимо дома Траугота. Знаменитый ореол пушистых белых волос, круглые очки, длинный разноцветный шарф, красный вязаный жилет, штаны в шотландскую клетку... Всю жизнь этот человек прожил в сказках. И сам стал сказкой.

Этому сказочному художнику принадлежат огромные арочные окна на самом верхнем этаже мастерской. Это единственные живые окна, без стеклопакетов.

Смотрим на эти окна с почтением, разглядывая причудливые вазы с цветами.

— Ты видишь? По-моему, там наши букеты из капустных листьев!..

— Галлюцинации. Хотя...

— А ты заметила, что на Петроградском острове всегда непонятно — какое время года. Потому что здесь нет деревьев, один камень. Напиши об этом рассказ.

— Когда выпадет снег, все будет понятно.

— Да, но остальные времена года здесь отсутствуют, так и напиши.

— Я не могу писать твои рассказы.

— Почему? Ты знаешь, однажды мне позвонила Наташа и сказала: «Я написала твой рассказ». А я говорю: «Как это?» Она отвечает: «А вот так. Написала я, но он твой, с твоей интонацией». И я так обрадовалась, что теперь на один рассказ меньше писать.

— Ты это к чему?

— Да к тому: если Наташа написала мой рассказ, почему ты не можешь?

— Пиши сама.

— Но ты же знаешь, что мне сейчас некогда.

— А для чего тогда ты вообще пишешь?

— Для счастья. А вот сейчас я не пишу и живу без счастья.

— Знаешь, я тоже иногда чувствую в себе склонность к тому, чтобы пожить без счастья.

На самом деле ты все время пишешь. Ты высекаешь слова, роняешь их на улице, оставляешь в пельменной, теряешь на ветру. Мне приходится бегать и собирать их. Мне это надоело, и я говорю:

— Я делаю тебе деловое предложение: ты пиши мои рассказы, а я твои.

— Тогда я напишу рассказ о Николь. Я все время думаю о ней. И в рассказе я буду думать о ней в том самом кафе, которое рядом со Старо-Калинкиным мостом. Это такое маленькое грузинское кафе, в котором никогда никого нет.

— Кафе только для тебя, что ли?

— Похоже на то. Ты смотришь в окно, а там тоже никого. Только Фонтанка, и иногда проезжает третий трамвай. И тоже пустой.

— Ну, так не бывает. А где люди?

— Это конечная остановка. Люди уже вышли. Люди дома, пьют чай. Трамвай пустой, понимаешь. И вот там я буду сидеть и думать о Николь. Кстати, хорошая идея: давай ты тоже напишешь о Николь рассказ, но уже с другой интонацией.

— С какой, интересно.

— Ну со своей, разумеется.

— И это будет интонация пострадавшего.

— Запиши!

— Пишу. Только, знаешь, у тебя как-то слишком красиво все получается: в кафе она сидит, на Фонтанку глядит... А в пельменной ты сидеть не хочешь?

— Ты просто мне завидуешь, что я в кафе сижу. Хорошо, напиши «в пельменной».

III

Старо-Калинкин мост

В кафе у Старо-Калинкина моста действительно никого нет. Только мы, пустой трамвай в окне и первый ноябрьский снег.

— Ну вот, все, как ты хотела. Думай теперь.

— Думаю. Я думаю, что Николь была очень одинока в этом городе, как этот трамвай на кольце.

А я думаю, что Николь была везде одинока.

Она родилась в маленьком франкоязычном бельгийском городке Льеж. Там есть знаменитая улица-лестница, уходящая прямо в небо.

Я не знаю, на какой ступеньке она встретила Половцева, но в Петербург они приехали вместе.

А до него она любила Онегина. И Печорина. И весь «петербургский период» русской литературы. То есть все сошлось.

— Николь увидела его и, наверное, решила, что он Печорин.

— А почему она так решила?

— Печорин из Петербурга. Потом, Половцев был красив, умен, и, как ей привиделось, великодушен...

— А что, Печорин был великодушен?!

Не знаю, когда и почему она влюбилась во все русское, эта учительница, преподающая русский язык в льежской школе. Я вообще ничего не знаю о ней. Кроме того, что она приехала в Петербург, зачарованная этим городом с детства.

...Да, такая вот картинка на фоне Невы: он — высокий, статный, пленительно-мрачный, как его Петербург, а рядом девочка из бельгийской деревни, юная, влюбленная, говорящая по-русски с трогательным акцентом...

Какая красивая история могла бы получиться...

— А получилась жизнь. Это особый такой, очень специфический жанр.

Мы замолкаем. Мы думаем о Николь порознь. Каждая со своей интонацией.

— Нет, мне мешает эта дурацкая музыка, нельзя ли попросить, чтобы они ее выключили?

— Попробуй.

Ты подзываешь официантку и просишь сделать музыку тише.

Официантка кивает, но музыка по-прежнему мешает нам думать о Николь.

— А можно еще тише?

Официантка снова вежливо кивает, но ничего не меняется в музыкальном оформлении зала. Радиоволна плещет по стенам, и нам несут горячие домашние хачапури и два бокала красного вина. Но в голодном раздражении мы еще успеваем спросить:

— Простите, почему вы не можете сделать музыку тише?

— Поварам не слышно. Они погромче просят.

Мысль о простодушных поварах, любящих слушать музыку в рабочее время, развеселила. И нагнала аппетит. Мы съели хачапури и выпили вино, после чего у каждой из нас где-то в районе сердца разместилась маленькая танцплощадка с веселым поваром, который двигался из стороны в сторону, задорно дергая плечиками. Легкость в белом фартуке. Музыка уже не мешала, она задавала ритм нашему повару.

И Николь незаметно покинула нас.

Она шла по пустым улицам и садилась в пустой третий трамвай.

IV

Ловчий лист

— Николь для него была как Дора Маар для Пикассо. Помнишь, сто пятьдесят портретов «Плачущей женщины»?

Когда Николь плакала, в душе его воцарялся покой. Она заметила это, и поэтому все время плакала. Он внимал ее слезам и расправлялся, как ловчий лист во время дождя. Это хищное растение раскрывает свои листья, образуя как бы колодец, в который скатываются капли дождя и слезы зеленых кузнечиков. Напитавшись влаги, оно расцветает.

Половцев все время говорил. Николь слушала, жадно вбирая в себя новые русские слова. Она привыкла его слушать и говорить его словами. Жить его чувствами, думать его мыслями...

Но потом наступило время, когда она уже знала много слов и стала говорить их. И они располагались у нее в свободном порядке, потому что в русском языке синтаксис свободный. И получался совсем другой смысл... И перед ним предстала вдруг другая Николь — точнее, она просто предстала. И тоже свободная.

И свободная Николь однажды ушла. А потом вернулась и снова ушла. И однажды он не открыл ей дверь.

И священник в храме сказал ей: «Не стучись в закрытую черную дверь: она может открыться».

Но Николь не послушала. И черная дверь открылась.

— Понимаешь, Половцев ненавидел все, что любила она, — ее любимые фильмы, ее любимые книги, ее друзей, знакомых... Он ненавидел абсолютно все, что мешало единовластвовать, все, что находилось за его черной дверью.

— Я не думаю, что Николь была такой уж кроткой, она просто отодвигала очевидность, потому что...

— Потому что жизнь с верхней ступеньки лестницы городка Льеж представлялась ей иначе.

И наступил день, когда Николь снова попыталась открыть дверь, чтобы попасть обратно в свою жизнь, но она была заперта. Николь попросила выпустить ее, но он сказал, что там, за дверью, ничего нет.

— Посмотри сама, — сказал он. — Там ничего нет.

И Николь быстро юркнула в приоткрытую дверь.

— Это ты про себя или про Николь?

— Про Николь.

Точнее, Николь — это мое состояние души.

V

Флейта и дерево

— Вчера было солнце, а сегодня дали снег.

Я нарезаю «стилягу», кладу на хлеб тонкие полоски твердого сыра и отправляю в духовку. Я люблю завтраки.

— А еще обеды и ужины.

Мы завтракаем и смотрим в окно. И я знаю, что сейчас ты обязательно скажешь про дерево.

— Я убила дерево. Мое любимое дерево.

— Оно бы рухнуло на кого-нибудь. Ты спасла человечество.

— А нафиг я его спасла? Это дурацкое человечество!.. Да и потом, вдруг бы оно не рухнуло? Я ведь каждый день просыпалась и смотрела на него... Это были лучшие минуты моего утра. Я тебе говорила, что больше всего на свете люблю утро?

— Говорила.

— Сейчас еще раз скажу. Я люблю утро, знаешь, почему?

— Знаю.

— Потому что кажется, что вся жизнь впереди. И это, конечно, ошибка.

На нашей сетчатке глаза еще остался образ того убитого дерева. Оно склонилось над улицей, повисло над проводами, соединилось с соседним деревом, образуя арку. Благодаря нашему дереву нам почти не видно соседний

дом. И вместо него можно представить что-нибудь другое. Например, что там не дом вовсе, а лестница. Высокая длинная, ведущая в небо. По ней ангелы спускаются на работу, а праздные зеваки лазают наверх, чтобы окинуть взглядом будущую жизнь на облаке и сделать селфи.

На улице показался первый человек. Женщина. Никуда не спешит. Идет посередине улицы.

— По-моему, это я иду.

— Или Николь.

— Хорошо, пусть будет Николь.

— Мы когда-нибудь перестанем об этом говорить, но не сегодня.

— Хорошая фраза для названия, запиши.

И тут, как одобрение свыше, зазвучала знакомая мелодия, которая не могла уже звучать...

— Что это? Ты слышишь?!

— Слышу...

— Это наш чайник-флейта?

— Это призрак чайника-флейты.

Чайник-флейта покинул нас совсем недавно.

— Ага, «покинул». Это как «несчастной жертвой Ленский пал».

— Ну а как сказать?

— Так и сказать: ты убила чайник, я дерево, а Онегин — Ленского.

Ладно. Значит, это был обычный чайник. У него не было свистка, но при этом каким-то волшебным образом он напевал удивительно красивую мелодию, за что мы и прозвали его флейтой.

Но у нашего чайника был один недостаток — пластмассовая ручка, она плавилась от огня конфорки. И в один ужасный день мы сдали чайник обратно в магазин. И купили новый, с железной ручкой. Кипит и молчит.

— Я скучаю по чайнику-флейте. Ну горел немного, ну и что. Ему бы просто ручку другую...

— Ты знаешь, я думаю, что, если отнять у индивида одно лишь качество, мешающее нам любить его, то этот индивид может вообще исчезнуть. Потому что природа

не повторяется, и такой набор у нее уже есть, и другой такой же уже не нужен.

— Ты это о чайнике?

— Обо всех.

— Тогда, если я буду убирать за собой, я тоже исчезну.

Ты смеешься.

— Ладно, не исчезай. Но хотя бы подними с пола эти бумаги. Что это валяется?

— Не валяется, а лежит на полу. Я решила разобрать стол. Это, кстати, те письма, которые мы купили на Удельной. Тут вот моряк своей Валюше пишет, что хочет вернуться в Ленинград к Новому 1960 году. Адрес отправителя: Море.

VI

Адрес отправителя: Зима

— «...Я так соскучился по тебе, дорогая моя Валя, и хочу, как можно быстрее, попасть в твои объятия и крепко-крепко тебя поцеловать и прижать к себе. Хорошо бы прийти к Новому году, но об этом пока можно только мечтать...» И в конце: «Чувствую себя удовлетворительно, было бы хорошо, но нет тебя рядом, так что только удовлетворительно... Большой привет всем знакомым и пожелания от меня в счет Нового года, всех благ. Потрепи Кузю за ухо, чтобы не баловался. Крепко целую тебя, до встречи».

— А зачем мы купили это чужое письмо? Даже неловко...

— А оно в коробке валялось под снегом и без призору... Мне как-то спокойнее, что оно в доме. А еще адрес отправителя приятно читать: «Море». Это как адрес отправителя: «Зима».

Зима — это наш сегодняшний адрес. По зиме к нам являются призраки и мучают нас.

— Говорят, что все, что тревожит, надо записать на бумажке и сжечь. И это исчезнет из памяти.

— А что тогда останется? Выжженное поле? Это письмо тоже сжечь?

— Нет... положи пока на стол... под стекло.

Я кладу письмо на старинный бабушкин ломберный столик, накрываю стеклом, под которым хранятся мои детские рисунки, открытки, фотографии... На одной из них я вот-вот взлечу в небо.

— А помнишь, как ты меня посадила на качели, они назывались, кажется, «Фламенко», и тебе сказали, что это совершенно безопасно, а меня унесло в небеса. И ты бросилась следом за мной, пытаюсь руками остановить эту мельницу. Мы были обе на грани гибели.

— У тебя какая-то дурацкая мать. А сколько тебе тогда было лет?

— Не помню.

— Когда мне хочется восстановить в памяти какое-то событие, я все время пытаюсь вспомнить — сколько тебе было лет. Вот если тебе было пять, значит, у меня была короткая стрижка, шифоновое платье синего цвета и шифоновое состояние души. А если тебе было семь — то у меня была совсем другая прическа... Я вижу себя только рядом с тобой.

— Нет, у тебя тогда были индийские штаны с попугаями, мои любимые. И потом я увидела их на бомжихе, причем торчала из помойки только ее большая попа с попугаем. Ты выбросила эти штаны без моего разрешения!.. Это было горе.

— Пусть это будет самое большое твое горе. Но ты остановилась на том, что Николь юркнула в приоткрытую дверь... А что случилось дальше?

— А дальше — ее унесло на ту улицу-лестницу. Она вернулась в Льеж. Преподает в школе русский язык. Сыну Половцева уже восемь лет. По-русски не говорит.

— Похоже на конец фильма. Пошли титры.

Ну а мы пойдем на Старо-Калинкин мост, где соберутся все наши дорогие призраки: Николь, чайник-флейта, убитое дерево, «дорогая Валя» и утраченные штаны с попугаями...

И мы об этом говорим.

— Мы когда-нибудь перестанем об этом говорить...

— Но не сегодня.

Скоро он придет

— Я не просила меня рожать! — Инна сорвалась на крик. Она ненавидела мать в такие моменты.

— Неблагодарная! — успела крикнуть мать ей в спину. Инна выскочила из дома, хлопнув дверью, и убежала плакать за сарай.

Чувство вины преследовало ее всю жизнь, все 13 лет, с рождения. Она испортила маме жизнь.

Если бы не она, мама ушла бы от отца, доучилась в университете, нашла хорошую работу. И может быть, нашла бы себе нормального мужа.

Со стороны их семья выглядела не хуже, а может, даже лучше других. Папаша был не дурак, всегда чем-нибудь руководил, хорошо зарабатывал. На Инну денег не жалел: импортные шмотки, карманные деньги...

Можно было бы подумать, что ее он любил. Как умел, по-своему. Но вот мать от него натерпелась. Не было ни праздников, ни выходных, чтобы он не напивался и не устраивал дебош.

Начиналось в пятницу вечером, когда они с матерью сидели дома и ждали, когда он вернется. Ждать хуже всего.

Иногда он приползал настолько пьяным, что сразу заваливался спать. В чем был: в пальто, в ботинках. Но это был не лучший вариант.

Среди ночи папаша просыпался и искал, чем догнаться. Если с собой не было бутылки, он мог выпить что угодно: одеколон, спиртовую настойку. Пустырник, боярышник, прополис — все, что пахло спиртом.

Инна прятала в диване лосьон для лица: если найдет, вылакает. Нечем будет даже прыщ прижечь. Духи боялась дома держать...

Но часто выпить ночью было нечего. Тогда он устраивал погром: в мать летело все, что под руку попадется, от тапок до утюга.

Инна запиралась в своей комнате, слушала крики, мамы, удары. Потом — как рыдала мать. И это только пятница, впереди еще два дня.

В параллельном мире шла нормальная жизнь: в воскресенье надо сделать домашнюю работу, в понедельник с утра снова в школу.

В праздники ад длился дольше. Отпуска отца они ждали как стихийного бедствия. Не убежишь, не скроешься.

Мать пыталась отправить Инну хотя бы на сезон в летний лагерь, но та отказывалась. Страшно оставлять ее одну.

Мать жила с отцом ради Инны: у него квартира, зарплата. В одиночку ребенка трудно поднимать, трудно дать хорошее образование, если сама осталась недоучкой.

Мать жертвовала собой ради Инны.

Нельзя сказать, что Инна не пыталась матери помочь. Когда отец приходил не в стельку бухой, старалась его отвлечь.

Разговоры с пьяным отцом длились часами, выматывали ее. Часто все портила мать, когда встревала. Инна готова была заговаривать ему зубы хоть до утра, но мама отправляла ее спать. Будто бы можно спать, когда они орали друг на друга.

Инну бросало в крайности: от ненависти до приступов острой жалости к матери.

Часто ей казалось, что мать все испортила сама. Сама вышла замуж за этого придурка, сама от него родила, сама терпела.

С завтрашнего дня у папаши начинался отпуск. Сегодня они с матерью поехали на дачу, но вечером надо было вернуться.

Оставлять пьяного папу дома одного было опасно: мог заснуть с зажженной сигаретой, оставить огонь на плите. Словом, мог спалить квартиру.

Мать пришла к ней за сарай.

— Ты думаешь вообще, значит, лучше не рожать? Аборт надо было сделать? Тебя бы тогда не было.

— Не начинай снова! Я бы даже не знала, что меня нет. И да, для тебя аборт был бы лучше.

— Я о тебе думала!

— Ты меня даже не знала, а его знала, — сказала Инна. И тут заплакала мать.

* * *

У мамы были поклонники. Она сама рассказывала. Инна надеялась, что с кем-нибудь из них мать изменит отцу и наконец уйдет от него.

Ведь это же очевидно: с ним жить нельзя. Она и сама уйдет, как только сможет зарабатывать.

— Знаешь, Игорь предложил мне переехать к нему, замуж зовет, — как-то раз сказала мама. — Ты уйдешь со мной?

Инна вытаращила глаза. У матери, оказывается, серьезный роман с тем мужиком из санатория!

— Супер, мам. Переезжай.

— А ты?

— Я нет, я тут останусь. У меня своя комната...

— Как ты с ним будешь одна? Ты не представляешь, что такое жить с этим алкашом.

— Я как раз представляю, всю жизнь с ним живу. Ты знаешь, он ничего плохого мне не сделает.

— Да он меня в живот пинал, когда я беременная ходила. Тебя пинал, когда ты еще не родилась.

— Ну и что? Когда родилась, он же не пинал...

Инна сама понимала, что аргумент так себе. Не факт, что после ухода матери он не будет срывать на ней. У нее даже живот свело от страха, когда она подумала о том, что останется с пьяным папашей один на один.

Но мать имеет право на счастье. Она жертвовала ради нее, теперь очередь Инны потерпеть ради мамы.

— Не бойся, я не буду с ним ругаться, как ты. Я его успокою.

Мама долго ее уговаривала уйти вместе к другому мужчине. Инна отказывалась. Хватит с нее мужчин. Одного папаши достаточно, чтобы понять, что с ними вообще связываться не стоит.

Даже отца она готова терпеть ровно до тех пор, пока не встанет на ноги. А матери от него надо бежать.

* * *

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню», — сказал телевизор нетрезвым голосом Жени Лукашина.

Инна прикрепила кнопками к стене новогодний плакат и достала из коробки мишуру. Мать домыла в зале пол.

— Зря ты, мам, надо было уходить... Я не потому отказываюсь, что с тобой не хочу жить. Просто не хочу тебе мешать. Зря ты с папашей остаешься. Ради меня не стоит.

Они сели рядом на диван. Обе с распухшими от слез лицами. Скоро Новый год. Скоро он придет.

Тысячелистник

Говорят, если человек доживает до правнуков, Бог прощает ему все грехи... Моя мама, Антонина Александровна, дожила — правда, на месячного Ванечку успела посмотреть только на видеозаписи. Он плескался в маленькой ванночке, сладко шурился в теплой водичке, полуукрытый пеленкой, а мама, лежа на высокой подушке, нежно улыбалась ему, словно он мог это видеть. Внук держал перед ней смартфон и свято верил, что теперь бабушка найдет в себе силы выздороветь и жить с нами дальше.

В тот последний месяц, холодный июль 2015-го, Бог дал мне быть рядом с нею. Она вспоминала детство, юность, взвешивала каждый свой серьезный поступок — правильно ли сделала выбор, как это аукнулось потом, — словно готовилась к экзамену. Ее ответственность перед Богом за прожитую жизнь была такой глубоко искренней, такой верной, какой может быть только ответственность за важное дело, за особенное поручение. Эта православная крестьянская основа бытия мне очень близка и понятна: она придает смысл каждой жизни, уравнивает малых и великих, сильных и слабых мира сего... В ней нет страха перед смертью, да и самой-то смерти нет.

Она очень хотела на родину, в село с прекрасным названием Усть-Урень, и я нашла для нее в интернете фотографии — обелиск на месте разрушенной церкви, старое кирпичное здание, в котором была школа... Мама смотрела, вспоминала, и рассказывала, рассказывала — хотя прежде, сколько я пыталась записать ее воспоминания, она мне не разрешала: слушать слушай, а записы-

вать нечего, но сейчас было другое: пора уходить, а что останется? Неужели все так и уйдет с нею? Дети, внуки, правнуки проживают свою долю, времена невозвратны... Я почувствовала, что теперь уже должна записать то, что она рассказывала, но записывать снова было нельзя: мы только говорили, говорили... Мы обе знали, что эти дни — последние дни вместе, да, я знала — но не верила этому.

Мама ушла ночью 7 августа 2015-го. Ей было 84 года. От сиротства, которое вмиг обрушилось на меня, спасало только молчаливое обещание собрать все, что осталось в памяти, и записать историю одной жизни, такой простой и чистой. И тут рассказать нужно и о ее маме, моей бабушке Насте, которая меня вынянчила... Рассказать бы обо всех этих сильных, красивых крестьянских женщинах, вынесших на своих плечах тяготы немыслимые, — но глубже, дальше во времени все уже стерто забвением...

Мамина мама, Анастасия, родилась в 1893 году в селе Вальдиватском Корсунского района Ульяновской области, в большой семье Евдокима Слепнева. Дети в деревне учились, школа была, но Настенька так и осталась неграмотной: однажды, когда она была еще совсем маленькая, дед пришел домой пьяный, громко кричал и напугал ее. Малышка зашлась и долго плакала. Испуг не прошел бесследно — потом оказалось, что она не могла сосредоточиться на учебе. И Настю десятилетней отдали «в люди» — стирать, убирать, нянчить. Была такая форма «образования»: раз осталась неграмотной, пусть осваивает все по хозяйству. Отданная в работницы, девочка быстро училась и не боялась никакого дела. Но характер у нее на всю жизнь остался суровым: ее саму в детстве ругали за малейшую провинность, и потом Настя в своей материнской заботе осталась строгой к детям и скупой на похвалы.

В 26 лет, довольно поздно для деревенской девушки, она вышла замуж за Александра Даниловича Никонорова, моложе ее на 7 лет, из соседней деревни Большая Усть-Урень. Большая, дружная, работающая семья Данилы Никонорова не была зажиточной, но хозяйство они

держали крепкое. Подростающие сыновья женились, и все долго жили в одной большой избе. Особенно трудно приходилось снохам — они постоянно ссорились. Тогда Данила начал ставить избы сыновьям. Поставили избу и Александру с Анастасией.

В 1920 году у Анастасии и Александра родился первенец — Петр, через четыре года — второй сын, Степан, а в 1931 году — дочь Антонина, моя мама. Видимо, после рождения дочери Александр и Анастасия еще жили в избе родителей. С дедушкой Данилой связаны самые первые мамины воспоминания — Анастасия Евдокимовна напарит маленькую Тоню в бане, привезет домой на санках, и старенький уже дед Данила с удовольствием расчесывает ей волосы, придерживая за подбородочек рукой. Тоне это не нравилось, она норовила вырваться и убежать. А ему так хотелось помянчить малышку — румяную, из бани... Почему-то именно это воспоминание из раннего детства мама повторяла в глубокой старости и уже перед самой смертью...

Когда началась коллективизация, Анастасия Евдокимовна наотрез отказалась идти в колхоз и отдавать туда свою скотину — насмотревшись, как она, голодная, ревет, согнанная на общий двор. Молодую хозяйку можно было понять: с детства в работницах, потом в семье мужа, теперь вот сами только-только становились на ноги, а тут все отдай... Александр стал работать водовозом в совхозе, скот они пасли отдельно от колхозного, и землю им выделили самую дальнюю и скудную. В отличие от колхозов, кооперативных крестьянских хозяйств, созданных на средства самих крестьян, совхоз был государственным предприятием. Работающие в совхозах были наемными работниками, получавшими фиксированную заработную плату деньгами, а в колхозах до середины 1960-х засчитывались трудодни.

Анастасия Евдокимовна была прекрасной хозяйкой, очень чистоplotной, крашенные полы в доме всегда блестели, на окне рос большой красивый цветок. И у мамы потом, в городе, на подоконнике и стенах всегда росли

цветы — герань, папоротник, алоэ... Александр Данилович, трудолюбивый, добрый и веселый, любил, чуть подвыпив в праздник, напевать песню о своей совхозной должности: «Почему я водовоз? Удивительный вопрос!» Он умел воспитывать детей буквально несколькими словами: однажды Тоня весело прыгала по камням в новых туфельках. Александр Данилович просто сказал ей: береги туфельки, иди рядышком, по дорожке... И этого было достаточно. Жили небогато, обновки были редкими, им радовались и берегли их. Одно платье, одни туфельки... Новое платье всегда только к празднику — к Пасхе. На всю жизнь мама сохранила этот крестьянский обиход: в будни все попроще, старенькое, скромное, а к празднику — и щедрый стол, и обновки... Праздники отмечались православные — Рождество, Пасха, Благовещение. Церковь в селе разорили, и молиться сельчане скрытно приходили на развалины. Потом, уже в наши дни, развалины убрали и воздвигли памятник односельчанам, не вернувшимся с войны. Надеюсь, что на этом обелиске есть имя и нашего дедушки, Александра Даниловича Никонорова.

Родители целый день работали, а на детей оставляли все домашние дела, и Тоня рано начала работать по хозяйству. В коллективизацию в селе сначала раскулачили и выслали из деревни самых зажиточных и работающих крестьян, а потом пошли по всем крестьянским избам. Кулаков и мироедов в Усть-Урени не было. Дом купца, а потом и суконного заводчика Кузнецова разграбили и разрушили еще в революцию. В деревне если работали, то и достаток какой-никакой был. Нищали, когда хозяин болел или семья кормильца потеряла... А так бедноту составляли ленивые да нерадивые. Они и ходили по домам — реквизировать и раскулачивать, а на руководство к ним присылали городских уполномоченных. Вещи и продукты от комбедовцев прятали, но их все равно находили и забирали. Был момент, когда в избе Никоноровых уже и взять было нечего, только оставались бочонок квашеной капусты да почти новые детские ботиночки.

Уполномоченный из города забрал ботиночки и приказал подручным взять капусту. «Зачем квашеную капусту брать? — удивились те. — Куда ее девать-то?» — «На семена сгодится! Берите!» — распорядился старший.

У Никоноровых на порядке (ряд изб на улице назывался порядком) было несколько Тониных ровесниц, все на год старше ее. Она за ними очень тянулась: вместе играли, делали одинаковую домашнюю работу и друг перед дружкой хвастались, кто скорее и лучше. Готовили на зиму кизяки — месили коровий навоз, сушили его на солнце, резали на кирпичики и складывали в сарай. Зимой этими кизяками топили печку. Если девочки заиграются и дождь кизяки намочит — ох, и доставалось от взрослых! Надо было избу в порядке содержать, полы подмести, корове воды натаскать из колодца... Но времени хватало и на игры: играли в дом, кукол делали из лопухов, лепили из глины... Находили фарфоровые осколки рядом с разоренным особняком заводчиков Кузнецовых, и если осколочки были с цветами — счастье!

В 1937 году подружки с порядка пошли в школу, и Тоня с ними, хотя ей было всего шесть лет. Ученье давалось легко, очень нравилось. Но после четвертого класса учительница велела всем отдать учебники ей, для младшего класса, и тогда можно будет получить учебники за пятый класс. И хотя мать предупреждала, маленькая Тоня поверила учительнице и отдала учебники. Но книжки за пятый класс она так и не получила. Ходила за учительницей, а та или избегала встречи с ней, или спрашивала: что тебе, девочка? Говорила, что никаких книжек у нее нет. К тому времени уже началась война, все мужчины из семьи Никоноровых ушли на фронт, заступиться за девочку было некому, а мать, сама неграмотная, решила, что учиться дочери хватит: «Не всем же грамотными быть». Так же она отвечала приходившим домой учителям. Ей приходилось теперь работать на двух работах, а все заботы по дому окончательно легли на десятилетнюю Тоню.

Уже в конце июня в действующую армию призвали отца, потом на Дальний Восток отправили старшего брата Петра, а к началу 1942 года уже воевал снайпером средний брат Степан. Когда все собрались у школы провожать мужчин на фронт, Тоня стояла и ждала, когда папа ее обнимет, а он разговаривал с мамой, с односельчанами, и, казалось, забыл о ней. Ему, видимо, было тяжелее всего простаться с младшей доченькой. Тоня громко и горько заплакала, односельчане зашептались: «Ох, не к добру дите надрывается!» Потом папа обнял ее, попрощался — и их увезли на грузовиках. Позже кто-то сказал Анастасии Евдокимовне, что эшелон, в котором ехал на фронт Александр Данилович, должен проходить через станцию, довольно далеко от деревни, и она побежала туда проститься с мужем еще раз. Удалось ли им увидеться там — неизвестно, эшелоны шли без остановок, и разглядеть лицо мужа в мелькавших окнах и дверях теплушек было бы чудом, но она надеялась... А уже в ноябре пришло известие, что в октябре 1941-го Александр Данилович пропал без вести на Южном фронте.

Вернувшись с войны, сосед Никоноровых Михаил рассказал: был бой, оборону держали на берегу Дона, огонь врага был таким плотным, что наши не выдержали натиска и стали отступать на другой берег. Александр Данилович стрелял из пулемета по наступавшим цепям немцев. Михаил крикнул ему: беги, все бегут! Александр Данилович ответил, что приказа отступать не было, и продолжил стрелять. «Ну ты же знаешь, Настасья, какой он...» — добавил, рассказывая, Михаил. Дон в те страшные дни тек не водой, а кровью, по волнам нескончаемо плыли трупы, бесчисленно народу полегло по обоим берегам, а еще больше утонуло. Михаил после боя обшарил прибрежные заросли, разыскивая земляка, но не нашел — видимо, Александр Данилович погиб за пулеметом или утонул, переплывая Дон. Первые победы на этом участке фронта были достигнуты только в ноябре, а в марте состоялось награждение героев, оставшихся в живых. Когда я рассказала историю моего деда извест-

ному русскому поэту, моему другу Андрею Расторгуеву, через некоторое время он прислал мне стихотворение:

Упрямец

*Памяти Александра Даниловича Никонорова,
деда уральского поэта Нины Ягодинцевой*

Каждый крест поодиночке нес,
на покосе-пахоте хлестался.
А когда затеяли колхоз,
мужики вошли, а он — остался...

Командир сказал: не отходить —
и тотчас навек отвоевался.
Помирать решили погодить.
Мужики ушли, а он — остался.

Собственно, и все. А мог бы жить,
подпирать на старости налечник.
Но такой упертый был мужик —
до корней волос единоличник.

14.04.2012

Сыновья Александра Даниловича воевали до Победы. Через несколько дней после начала войны у Петра родилась дочь Ева. Оставив жену с новорожденной, он уехал служить на Дальний Восток, ремонтировал там автомашины. Вернулся с войны с надорванным сердцем. Вернулся и Степан Александрович, снайпер. Нам о войне он ничего не рассказывал. Из его скурых воспоминаний мама мне передала только одно: он шел на свой снайперский пост — и вдруг лицом к лицу столкнулся в окопе с немцем. Немец упал на колени, заплакал, достал фотографию жены и троих маленьких детей, стал умолять не убивать его, убеждал, что он в русских не стрелял и стрелять не будет... Степан Александрович отпустил его, но рассказал об этом только уже в 1980-е — его самого за такое милосердие на войне расстреляли бы. Награжден медалью «За боевые заслуги», по данным наградного листа, «находясь на боевой стажировке, истребил 1 немец-

кого наблюдателя и 7 солдат. Проявил отвагу, участвуя в вылазке на передний край обороны».

В деревне во время войны было очень трудно. Анастасия целыми днями пропадала на двух работах. Крестьянские хозяйства обложили непомерным налогом: если есть корова — молоко надо было сдавать, овечки — шкуру и мясо, куры — яйца и мясо... Все шло на фронт, для самих оставались крохи. Печь по-прежнему топили киззяками. Зимой Тоня собирала прутики в овраге. Брала санки и топор, и тайком с соседскими девчонками отправлялись за ивняком, который рос по склонам оврага. Снег глубокий, холодно, а если объездчик увидит — беда: и топор отберет, и санки порубит, потом матери приходилось вызволять топор. Услышит Тоня объездчика, затаится в сугробе, только сердце грохочет... С тех пор у нее было больное сердце, аритмия мучила всю жизнь.

Хлеб по карточкам давали черный и тяжелый, со жмыхом. Когда Тоня несла его домой, она старалась не трогать кусочек с половину ладони. Но пока донесет — все равно пощиплет. Придет виноватая, а Анастасия Евдокимовна отодвигает краюшку: не хочу, говорит, сама ешь, я на работе поела. А работала очень тяжело... Потом, ближе к концу войны, и девчонок стали брать в лес: мужики валяли деревья, а девчонки обрубали сучья. Зимой жили в лесу в землянках, обратно ехали на подводах, груженых бревнами, снимали их оттуда совершенно застывших — как живы остались, удивлялась потом мама. И замерзнуть насмерть могли ведь, и упасть — разбиться...

В четырнадцать лет, в 1946 году, Тоня пошла работать на спиртозавод. Сначала подавала зерно в дробилку, его там дробили, потом гнали спирт. Девушка работала так быстро и хорошо, что ее заметили. Она успевала одна там, где до нее трудились двое. Потом ей дали в помощницы девочку, и когда та обучилась, Тоню поставили мойщицей — она спускалась в огромные чаны с остатками браги и мыла их.

В День Победы все на улицу высыпали, кто поет, кто рыдает... Одна женщина сильно плакала — ей накануне

похоронка пришла. Вернувшиеся Петр и Степан увидели, что за войну изба развалилась, смысла нет ее восстанавливать, нет денег. Деревенские на спиртозаводе быстро спивались. Из деревни война выкачала все силы, и демобилизованные мужчины потянулись в города. Решили поехать жить в Магнитогорск: большой завод, молодой город, нужны рабочие руки... Сначала уехали Петр и Степан, а потом, в самом начале 1950-х, вызвали к себе Тоню и Анастасию Евдокимовну.

Анастасия Евдокимовна пожила в городе и запросилась обратно домой. Ей купили домик в Вальдиватском, поскольку вся ее родня жила там. Она вернулась, но одной пожилой женщине деревенское хозяйство было уже не под силу, да и дети далеко. Запросилась обратно. Петр поехал за ней, они собрали вещи и пошли на станцию. Но по дороге попали в такую метель, что потеряли надежду выбраться. Тогда взяли только самое необходимое — документы, несколько фото, деньги, бросили санки и пошли искать станцию. Слава богу, спаслись.

Я помню бабушку Настю худой, сутуловатой, в неизменном мужском пиджаке и длинной, в пол, юбке. Она ездила на левый берег в церковь, строго соблюдала церковные посты и праздники. Иногда брала с собой в храм меня. Помню заполненную народом церковь в Магнитогорске на левом берегу (много позже, летом 1985 года, вместе с мамой я крестила там свою дочь Анастасию, а потом, летом 1991 года, — сына Даниила). Мне, наверное, еще не было семи лет, поэтому бабушка подводила меня к причастию без исповеди, мне вливали в рот прохладное церковное вино из ложки, утирали губы, давали просфору (просвирку, как говорили бабушки), и пока мы шли с бабой Настей к выходу из храма, у меня набирались полные руки конфет — каждая бабушка старалась что-то ребенку дать. Мужчин на службе было мало, в основном старушки, и несколько детей.

Анастасия Евдокимовна очень тосковала по дому, по деревне, и церковь давала ей хоть какое-то утешение. Жила на перекрестке улиц Карла Маркса и Жданова, на

последнем, четвертом этаже, в крохотной комнатке коммуналки. Сосед ее Петр был пьяницей и буяном, она его называла — петух, и приговаривала, рассказывая о его безобразиях: «Вот петух-то!» Бабушка даже на общую кухню не выходила и нас туда не пускала. Петр жил с женой и детьми, и когда напьется — гонял домашних, несколько раз взламывал хлипкий бабушкин шкафчик с продуктами, стоявший в коридоре у ее двери. Бабушка всегда закрывала на ключ старый шифоньер в комнате, приговаривая: «А то петух-то...» В красном углу перед иконами у нее горела лампадка, окно выходило в тихий двор, в комнате стояла маленькая электрическая плитка, вкусно пахло картошкой с луком и постным маслом — традиционной крестьянской едой... Бабушка Настя меня вынянчила: мама приносила совсем крохотную, трех месяцев от роду, и оставляла, а сама в слезах ехала на работу.

Петр по настоянию жены вернулся с семьей на родину и поселился в Жигулевске. Вроде бы ему угрожали, был какой-то конфликт с уголовниками, но родня считала, что это его жена Надежда подбрасывала записки с угрозами, подговорила каких-то мужиков, чтобы вернуться домой, в Усть-Урень. Он умер в середине 1960-х. Анастасии Евдокимовне сказали, что Петр тяжело заболел, нужно ехать к нему, и только потом, на месте, открыли правду. Она плакала о сыне до того момента, пока не услышала однажды под окном своего четвертого этажа его ответный плач...

Антонина и Степан вместе с Анастасией Евдокимовной обжились в Магнитогорске. С четырьмя классами образования Антонине было трудно устроиться в жизни, и она решила учиться всему сама: в 1952 году пошла работать в столовую — научилась вкусно готовить, и потом наши семейные застолья всегда были украшены ее «фирменными» маринадом, котлетами, пирогами. Соленья, варенья, компоты — даже при небогатой жизни рабочей семьи она готовила очень вкусно и разнообразно, гости любили собираться у нас на большие праздники.

Антонина вышла замуж в 1957 году за Александра Ивановича Ягодинцева — а мне потом рассказывала: есть такое рождественское гаданье, сложить из спичек колодезный сруб и загадать: «Суженый-ряженый, приходи водицы напиться!». Так вот, снилось ей — трое мимо прошли, а четвертый завернул к колодцу, и когда мама его увидела наяву — сразу узнала. Прожили они вместе 51 год...

Когда родился первенец, Юра, в столовой работать стало очень тяжело — приходилось уходить на сутки, оставлять малыша свекрови. И Антонина в 1960 году пошла работать на швейную фабрику. Там она научилась шить и обшивала всю свою семью, а позже даже шила на заказ. Я всегда ходила в оригинальных платьицах, мама умела из простого ситца с кружевцем или другой нехитрой отделкой сотворить маленькое чудо. И себе она никогда не покупала платьев в магазине: придумывала фасоны, шила, и подруги ей всегда завидовали.

И в большом городе все Никоноровы жили по-крестьянски: ходили друг к другу в гости, устраивали «помочи», когда копали картошку или рубили капусту. Я помню крестьянские застолья в городских квартирах, когда после сытной праздничной еды дружно затягивали русские народные песни, хором красиво и стройно пели: «Ой, цветет калина...», «Калина красная», «Вот кто-то с горочки спустился...», «Огней так много золотых...»... Никто не перепивал, не нарушал дружного крестьянского согласия за столом, пели в удовольствие, от души — как всю жизнь и работали...

В 1977 году Антонина уволилась с фабрики. В эти годы швей очень часто заставляли работать по субботам — надо было перевыполнять месячный план, ну и своим знакомым начальники цехов шили... Однажды на собрании работницы начали выступать с требованием нормальных выходных. Мама тоже выступила, сказала, что и детей-то они не видят из-за внеурочной работы. Вскоре после собрания она поняла, что работать ей не дадут: ее стали ставить на самые сложные и самые низко-

оплачиваемые операции. Ушла с фабрики — и не жалела об этом никогда.

Родители купили сад на Белой горе, и мама стала прекрасным садоводом, работала в нем много лет, до последних месяцев жизни. Он был и трудом, и отрадой для души. Однажды, уже в старости, рассказывала: вот, приснился сад, но такой необычный, вроде все такое же — и не такое: небо глубже, зелень ярче, дорожки, цветы... «Это Райский сад», — сказала она тогда.

Только став взрослой, я оценила простую мудрость маминого воспитания: не имея образования и всю жизнь жалея об этом, не реализовав, может быть, и в малой доле свои природные способности, она учила нас самой своей жизнью, много мы разговаривали с ней и о судьбах других людей — жизнь была главным ее учебником, с яркими наглядными примерами причин и следствий человеческих поступков. Книжки, шахматы, велосипеды, лыжи и коньки — все это было не только нашим детским, но и семейным, общим досугом. Походы в лес за грибами и ягодами, работа в саду...

Потом появились внуки, уже в другие времена, но чем старше становилась мама, тем больше она укреплялась в крестьянском отношении к жизни, людям — как будто, слабея, прислонялась к вековой мудрости рода и снова чувствовала в себе силу и правоту. Вокруг уже бушевали 1990-е, сносило с опор привычный быт, привычные отношения, но в нашей семье не изменилось ничего — кривые соблазны лукавого века пасовали перед маминой чистой, глубокой простотой бытия. Когда уже не могла помочь делом — молилась за всю родню, живых и ушедших, бережно храня имена рода.

Чувствуя, что теряет зрение и силы, зимой мама торопилась навязать нам носочков и варежек, чтобы мы без нее не зябли. Выбрала место, где лежать — рядом со своей матерью, на Левобережном: «под бочок к маме», говорила она, и в этих словах за легкой усмешкой чувствовалась такая глубокая детская тоска по матери... В последнюю весну, когда мы всей семьей, с внуками,

бурно обсуждали, что сажать в саду, искали заготовленные с осени семена, она странно сердилась, нервничала, словно уже чувствовала, что ей предстоит уйти и оставить без своей заботы любимых садовых питомцев. Посадили вместе с ней одну помидорную грядочку — и все. А через месяц я привезла ее на такси в сад (никогда прежде она не позволила бы такого, всегда ездила на садовом автобусе) прямо из больницы. Она ушла в яблони и долго стояла там молча. Потом вернулась: что-то изменилось в ней, а мы еще не поняли, что она — простилась.

В первую годовщину мы с братом пришли на Левобережное — на могиле мамы над ее сердцем вырос высокий стебель тысячелистника. Он тихо покачивался на ветру: пышное розовое соцветие, веточки с тысячами листьев, горьковатый аромат... Тысячи забот, тысячи тревог за детей, внуков и правнука, тысячи бессонных ночей — тысячелистник простой, светлой и чистой крестьянской жизни.

Чувство сиротства не зависит от возраста. Я — в свой черед — узнала, что эта рана не заживает. Боль не помещается в слова, не проходит — она просто отходит со временем чуть дальше, но все равно возвращается и накрывает как штормовая волна, и можно удержаться только молитвой: «И пусть во всех Твоих светлых мирах, Господи, пребудут с ней любовь и безмерная благодарность наша...»

В любой непонятной ситуации вспоминай маму

Хорошие промежутки бывают, когда она принимает морфин и спит. Тогда можно просто сидеть, тупо глядя в окно или в компьютер. В остальное время она блажит. Ей все время что-то нужно и у нее постоянно что-то болит — то ухо, то живот, то позвоночник.

Я ее раздражаю, потому что неправильно понимаю, что она хочет. Принеси чай, говорит она. Заваренный? С пакетиком? Нет, без пакетика, я буду просто горячую воду, но с сахаром. Наливаю горячую воду, кладу сахар, размешиваю. Приношу. А где сахар? Уже там, я положила. Всплескивает руками. В глазах возмущение. Она хотела кусочек сахара отдельно, чтоб макать в воду и сосать. А я не поняла! Не поняла!

— Какая проблема, сейчас этот вылью, — говорю я. — Принесу без сахара.

Но прощения мне нет. В ее глазах читаю приговор: бестолкова и невнимательна. Витает в облаках вместо того, чтоб раз в жизни целиком сосредоточиться на больной матери.

Все хорошие люди остались у нее в прошлом, а те, кто вокруг крутится, — неумелые и бездушные. В первую очередь врачи. Нарочно ее мучают. «Меня развалили лекарствами. Когда я приехала, я была крепкая. А теперь, после их лечения, превратилась в развалину».

В развалину она превратилась не в результате лечения, а в результате болезни, которую вылечить нельзя, но можно попытаться оттягивать ее полную и окончательную победу. Оттягивание — и есть лечение.

Хотя на самом деле не столько лечение, сколько оборона. Я представляю ее организм полем боя, на котором воюют две армии. Одна — болезнь. Лейкоз, рак костного мозга. Он атакует. Другая армия — медицина. Она обороняется. Но силы неравны, и постепенно медицина отступает, оставляя врагу позицию за позицией.

Когда все позиции будут сданы, мы скажем: «Всё». Но этот момент пока не наступил. Еще удастся удерживать последние бастионы. Но они падают. Рушатся на глазах. И от этого меня охватывает ужас.

Жизнь заканчивается. Заканчивается жизнь моей мамы, и я ничего не могу сделать, и никто не может.

Врачи обещали хороший эффект от химиотерапии. Курс — шесть месяцев. Одну неделю ездим на уколы, три — отдыхаем дома. Лекарство новейшее, минимум побочных эффектов, она должна выдержать.

Но она не выдерживала. С самого начала. С самой первой недели, когда ее начали лечить. Последний укол был в пятницу, я приехала в воскресенье, она лежала с высоченной температурой. Желтое личико на белой подушке, заострившийся нос. Едва узнала меня сквозь туман и опять уплыла.

Надо было в больницу, но она не хотела. Обзывала нас предателями, плакала. От лихорадки у нее мутилось сознание, она плохо соображала, но сестра — да и я тоже, — мы оставались дочерями, младшими, привыкшими слушаться, уважать ее желания, ее частную жизнь.

В тот раз доуважались до температуры 40. Перед приездом «скорой» она захотела в туалет, встала с моей помощью, прошла три шага и начала оседать. Я поняла, что не удержу, крикнула, сестра бросилась с кухни, вдвоем мы как-то смягчили падение. Она опустилась на пол, неудобно согнув ноги, оперлась на меня спиной.

Приехала «скорая», два молодых фельдшера, говорили по-фински, конечно. Фельдшер представился: «Юхан». Мама, сидя на полу, сказала: «Ирина», изобразив подобие светской улыбки.

Как бы плохо ей ни было, на людях она всегда старалась держаться. А с нами — нет. С нами расслаблялась, позволяла себе капризничать, обижаться.

Потом мы вспоминали с ней этот вечер. Она сказала, ей было очень приятно, когда она потеряла сознание и упала. Сразу стало спокойно, тепло, легко.

Она видела себя сверху. А когда приехала «скорая», понимала, о чем говорят врачи, хотя финского не знает вообще. «Не бойтесь нас, — говорил этот Юхан. — Мы вам поможем».

Он действительно так говорил, сестра потом подтвердила.

Ее увезли в госпиталь, сестра с мужем тоже туда поехали, я осталась. Спать не могла, ждала.

Утром вернулась из больницы сестра. Маме стало лучше.

Это было самое-самое начало. Мы даже не представляли, через что нам предстоит пройти.

Тогда было начало, сейчас — конец.

Я живу с мамой в больнице уже почти месяц. Уйти нельзя даже на ночь. Хотя здесь отличные медсестры. Но мама не говорит на их языке. Они не понимают ее. А она — их.

Раньше мы ее все-таки оставляли. Но она была относительно самостоятельной, могла сама сходить в туалет, выпить воды, и ей хватало сил общаться с медсестрами и врачами при помощи жестов и десятка английских слов, которые она помнит со школы. Сейчас она уже ничего этого не может. Поэтому я живу с ней в палате. На ночь опускаю из стены кровать. Мне дали подушку и простыни. За день изматываюсь так, что засыпаю мгновенно. Но выспаться не выходит, мама ночью просыпается. Опять поднимается температура, опять что-то болит.

По утрам за окном кричат чайки. Я закрываю глаза и представляю, что мы плывем на огромном, как небоскреб, теплоходе. В каюту заглядывает утреннее ласковое солнце. Мама в белой блузке с оборочками и цветастой юбке. Причесывается у зеркала. Сейчас пойдем завтракать в ресторан на палубе, а потом будем весь день купаться в бассейне, загорать, смотреть на океан.

Госпиталь и впрямь похож на огромный теплоход. Иногда удается ненадолго оставить маму, и я гуляю по пятому этажу. Он здесь основной. Главный вход, информационное бюро, кафе, аптека. Днем всегда много народу — главным образом, больного. Слепые, хромые, кривые, в инвалидных креслах, со стульчиками-роллерами, с какими-то хитрыми подставками на колесиках, с капельницами с кровью, в бинтах, в гипсе. Изможденные взъерошенные старики, на желтых лицах которых написан скорый конец, не заметный только им самим. Несчастливые родители с крохотными младенцами, еще не привыкшие к свалившемуся горю. Больные люди всех мастей. Арабы, славяне, скандинавы.

Медперсонал тоже всех мастей. Но он отличается от больных как рыбы от водорослей. Точные движения, крепкие тела, хороший аппетит. Знают, что делают, куда идут, что у них впереди.

Хотя кто может знать, что у него впереди? Мамина болезнь обрушилась так неожиданно. И на них тоже может что-то обрушиться. И вся их жизнь сведется к отчаянному сражению, которое они проиграют.

У меня хорошее воображение. Наглядевшись на маму, я теперь представляю себе всех людей старыми, большими, немощными. В памперсах, с иглами в венах и руками в синяках. Всех людей, каких вижу. Даже маленьких хорошеньких девочек, которых родители привели в больницу навестить родственников.

Мама тоже была такой девочкой. Остались фотографии, еще довоенные. Она там похожа на китайчонка. Пухлые щеки, черная блестящая челка, черные глазки.

Она любила рассказывать о своей жизни, но только о первых пятнадцати-шестнадцати годах. Потом ей будто и вспомнить нечего. Хотя там же были какие-то молодые люди, подруги, папа, мы с сестрой, работа, дача, поездки, собаки... Но ничего не оставило следа, который хочется вытаскивать снова и снова, трогать, перебирать, вспоминать.

А детство вспоминала часто. Чаще всего эвакуацию. Они уехали с бабушкой из Москвы в 41-м — в Узбеки-

стан, город Янгиюль. Ей было восемь. Первый год был ужасным. Жили в бараке, в одной комнате с другими семьями. Холод, голод. Но весной дали землю, небольшой участок. Приезжал папа, посадили огород и потом уже было вроде и не так плохо.

Летом она ходила в косынке. Два конца оборачивались вокруг талии, третий продевался между ногами и три конца завязывались в узелок на пупке. Так все дети были одеты. В косынках, с бритыми головами и босиком. Не поймешь, кто мальчик, кто девочка.

Лазили на деревья, воровали фрукты. Рвали прямо зелеными. Дождаться, пока созреют, не было сил.

Узбеки во дворах готовили плов. Чужим детям не давали, конечно. Голодные, они стояли в отдалении и нюхали чудесный запах каленого подсолнечного масла.

— Мне так жалко тебя, что сердце щемит, — говорю я маме, когда она про это рассказывает.

— Напрасно. Мы не переживали, — бодро отвечает она. — Нам казалось совершенно нормально: они едят, мы нюхаем. Такой порядок. Никаких обид.

В ее воспоминаниях много непонятного. Загадки. Мне кажется, из этих загадок тянутся побег, на которых потом выросла я. Чем больше я буду понимать про эти побег, тем больше буду знать про себя. Почему я поступаю так или сяк? Почему мама не считает меня тем, кем я считаю себя я сама? Почему я ей не нравлюсь?

Самый больной вопрос. Она меня любит, но как человек я ей не нравлюсь.

Это ведь разные вещи — любить и нравиться. Любят ни за что. А нравятся за что-то. И я не из тех людей, которые ей нравятся. Если бы я не была ее дочерью, а просто какой-то женщиной, с которой она вместе работала или жила по соседству, — она бы не стала со мной сближаться. Поддерживала отношения, но не более.

Я всегда это чувствовала, и всегда мне хотелось ее как-то заинтересовать собой. Увлечь, понравиться. Но не получалось. Если я рассказывала про свои конфликты, она никогда не занимала мою сторону. Если

рассказывала не про себя, а просто какую-то забавную, на мой взгляд, историю, она ее воспринимала критически.

Она считала, что я слишком много выдумываю, а как на самом деле — не вижу. Витаю в облаках.

Посмеивалась над моей верой в справедливость.

Не прямо смеялась, но ехидничала. Это было ужасно обидно. Она доводила меня до слез. Безумно хотелось доказать, что я права. Что справедливость торжествует, как ты, мама, ни смейся. Но не было случая. Не представлялось. Что, в общем, не удивительно.

С родителями я жила до 18 лет. Потом снимала углы, пока не обзавелась жильем. Мы мало времени проводили вместе. Правда, в последние пять-шесть лет я стала маму возить на море. Она очень любила море, и два-три раза в год мы с ней куда-то ехали на неделю. В Египет, Грецию, Израиль. По вечерам пили красное вино на балконишке, и она рассказывала про себя.

А я про себя не рассказывала. Чего рассказывать, ей все равно не интересно.

Три с лишним недели, которые я провела вместе с ней в онкологии, были самым долгим периодом непрерывного общения за последние тридцать лет. Наши отношения за это время не изменились ни на грамм. Как бы плохо ей ни было, она руководила. А я — разочаровывала.

Но теперь у меня заканчивалась виза, и надо было уезжать в Москву. И я хотела уехать. Я так устала от ее болезни и от больницы — стонов, рвоты, подгузников, собственного бессилия, чувства вины за это бессилие.

Шел 2014-й год. Конец мая. Крымнаш в расцвете. Мама всегда интересовалась политикой, была в курсе новостей, а сейчас уже не могла ни радио слушать, ни интернет читать. Но трезвый взгляд и сарказм оставались при ней. «Ну как мы там? Всех захватили?» — не открывая глаз, спрашивала она из подушек бесстрастным голосом, с трудом ворочая языком.

Она умерла через десять дней после того, как я уехала.

Пару лет я изнывала от тоски. Видела похожую ста-

рушку — бросалась знакомиться. Хотелось за ней ухаживать, помогать. Потом прошло.

У меня остался папа. Если очень хотелось за кем-то ухаживать, можно было ухаживать за ним. Хотя особо не требовалось. Несмотря на возраст, он был совершенно самостоятельным. Он и сейчас самостоятельный, хотя ему 90.

А мама умерла в 80. Удивлялась, что так долго живет.

Про папу уверяла, что он доживет до ста, потому что очень здоровый. «И ты такая же», — говорила мне. Наверно, хотела сказать приятное. Но я слышала в ее словах упрек, что со здоровьем мне повезло больше, чем ей.

Я без конца слышала в ее словах насмешки и упреки. Я была заряжена слышать насмешки и упреки.

С папой не так. Папа мной гордится. Собирал всегда мои статьи, вырезал из газет.

Я не собирала. Зачем? Жить надо вперед, а не назад.

После маминой смерти мы не трогали ее вещи. У нее в комнате до сих пор все как было. Стекланные фигурки в серванте. Швейная машинка под вязаной крючком накидкой. Журналы с кроссвордами. Книги на полке.

Я приехала сегодня прибраться. Вытираю пыль в маминой комнате.

Мне очень грустно. У моей собаки рак. Вожусь с ней, как возилась с мамой. Все то же самое. Блажит, капризничает. Мается от боли. Разница в том, что у мамы был морфин. А собакам морфин не выписывают. Собаки должны страдать. И хозяева должны страдать вместе с ними. Потому что это ад — видеть, как мучается друг и не иметь возможности помочь. Кроме одной — вызвать ветеринара и усыпить. Но я не готова.

Интересно, как поступила бы мама.

В любой непонятной ситуации вспоминай маму. Правило жизни пожилой дочери.

Почему я так сильно от нее завишу? Пять лет ее нет. А не отпускает. Как поступила бы мама? Что бы она сказала? Как бы она сделала?

На ее полке толстые, умные книги. «Иосиф и его братья», «Сага о Форсайтах», «Иудейские войны»... Бог

мой. Нет, когда-то я тоже читала толстые книги. Теперь могу только что-то короткое. Я продукт времени, у меня клиповое мышление. Да там и шрифт, небось, мелкий.

Беру с полки «Иосиф и его братья». Раскрываю на странице, заложённой пожелтевшим бумажным треугольником.

Ого. Что это?

Разворачиваю, читаю и — холодею. Мамино письмо. 1944-й год на штемпеле. Печать «Просмотрено военной цензурой 14580».

Последний год войны. Она с 33-го года. Ей, значит, одиннадцать лет.

Пишет отцу. Моему то есть деду Вове. В Коканд. Сахарный завод, Энергопроект, он там работал.

Ну да, про это она рассказывала. В 44-м они с бабой Аней вернулись из эвакуации в Москву, а их комната на улице Чехова занята. Кто-то вселился во время войны, какая-то женщина с детьми.

Бабу Аню с мамой на время пустили к себе родственники. Они жили в комнате Ростислава, брата отца. А на вселившуюся женщину подали в суд. Баба Аня платила за коммуналку, когда они были в эвакуации. Платежки остались, так что суд должен был выйти в их пользу. Но дело тянулось, пока судье не отнесли денег. Это к вопросу о том, что в советские времена не было коррупции, ага.

«Здравствуй дорогой пап!

Вчера тебе написала письмо. А сегодня опять.

Вот завтра приезжает Рося и нам некуда деваться. Баба Аня больная, наверно придется везти ее на машине к т. Любе. Платить руб. 50. Баба Аня не в силах подняться с кровати. Ее приходится держать, пока она пьет или ест. Исполнитель сегодня отложил выселение дня на два — на три. Я подозреваю, что она ее совсем не выселит. Скорей ты приезжай! Ты, может, наладишь это дело. Стоит только что-то подарить, и все будет готово! Я пропускаю дни в школе! Сегодня опять не ходила. Надо врача вызвать, на базар сходить, в аптеку, за хлебом, б. Ане надо подать принести, унести и так истекает день. Вот прие-

дешь, так может мне легче будет. Знаешь, пап, прямо голова кругом идет. У б. Ани температура доходит до 39.9, вот вчера было. Ужасно трудно жить! Все думаешь, где достать денег, что продать? А б. Ане нужно и маслица, и сахарку, и меду захочет. Капризничает ужасно. Только иногда придет в себя. Ну пока до свидания. Целую крепко. Дочи.

Если не приедешь, то я пропаду. Очень трудно жить одной. Приезжай!»

Почти нет ошибок. Твердый, разборчивый почерк. Никогда б не поверила, что это письмо одиннадцатилетнего ребенка. Но тут штемпель с датой.

Бедная девочка. Бедная мамочка. Как же она справлялась с таким грузом, который и взрослому человеку не выдержать. В одиннадцать лет ломала голову, что продать, чтоб бабушке купить маслица, сахарку.

У меня наворачиваются слезы. До чего ей не повезло. Ни с чем не повезло, вот бывает же так. Ужасно тяжелое детство — начало ее жизни. И ужасно тяжелая смерть — жизни конец.

А что я делала в одиннадцать лет?

Ничего. Витала в облаках. Училась в школе, читала, рисовала. Мечтала. Тепличное дитя, уверенное, что все должно быть по справедливости, и настаивающее на справедливости в отношении себя.

Понятно, почему я маме не нравилась как человек. На ее месте я бы себе тоже не нравилась.

Но. Я же не на ее месте. Я — на своем.

И тут мне становится жалко уже себя. Ну почему я должна угрызаться от того, что мамина жизнь оказалась тяжелее моей? Не должна. И не буду.

Письмо в карман. Сохраню. У меня есть папка со старыми фотографиями, пусть там лежит.

И тут же я принимаюсь воображать, как умру, и кто-то придет в моей комнате прибираться. Внук или правнук. Или жена внука или правнука.

Пороются в вещах и найдут папку. Повертят фотки, никого не узнают. Бывшие люди, кто их теперь разберет,

кому кто приходился. Потом увидят мамино письмо, прочтут и подумают, что это писала я.

Им же без разницы, что в каком веке случилось и кому сколько лет. Все, что до их рождения, — история древнего мира. «Твоя прабабушка долго жила, — скажет жена внука моей правнучке. — Она и войну пережила, и Ленина видела».

А я буду смотреть на них с неба и покатываться со смеху. Мы вместе с мамой будем покатываться.

Она уже и сейчас наверняка там хохочет, глядя, как я копаюсь в прошлом, разбираю подноготную наших с ней отношений, ищу оправданий и объяснений. Я даже знаю, что бы она мне про это сказала. Витаешь, как всегда, в облаках. Все ушло. Бросай уже рыться в могилах. Жить надо вперед, а не назад.

А я бы ответила: «Это да. Но почему все-таки я не нравлюсь тебе как человек?»

«Ты всё выдумываешь, — сказала бы мама. — Сама выдумываешь и сама в это веришь».

— Иди чай пить, — зовет меня папа с кухни. — А может, суп тебе подогреть?

Суп не хочу. Мы пьем чай с маковым рулетом, который я привезла, и разговариваем про кошку Мусю.

В прошлом августе она увязалась за папой. Месячный котенок ковылял за ним до дачи от станции, пролез под забором, забрался в дом. Пришлось оставлять, а что делать.

«Она так уверенно за мной шла, как будто давным-давно меня знает», — удивлялся папа. И вспоминал про переселение душ.

Я соглашалась. Кто знает, кем раньше была эта кошка.

К весне Муся выросла и начала воспитывать папу. Он перестал с ней справляться и сбавил мне. Но теперь постоянно спрашивает, как она поживает.

В глубине души папа допускает, что Муся — возможно, мама.

Судя по тому, что меня она не ставит ни в грош, так оно и есть.

Чаша сия

Вера Алексеевна вязала внуку шапочку с узором. Нельзя сказать, чтобы вязанье она очень любила. Просто кропотливое высчитывание петель отвлекало от тяжелых мыслей, которые не отпускали ни на минуту, стоило ей освободиться от дел. Под столом беспечно возился с кубиками двухлетний Витька. Он только начинал говорить. Однако взгляд его серо-голубых глаз был настолько осмысленным и проницательным, что иногда казалось, малыш понимает абсолютно все. И без слез смотреть на него не могла. Сразу вспоминалась больная дочь, Настенька. Откуда этот страшный диагноз: злокачественная опухоль да еще всех четырех долей свода черепа?! Неужели болезнь эта все-таки заразна? Два года назад у самой обнаружили саркому брюшины. Сначала долго болел бок. А потом вдруг стал расти живот. Мужу смеялась: не беременная ли? В больницу обратилась, когда пункцией выкачали чуть не два ведра зловонной жидкости. Но даже тогда духом не пала. Смерти не боялась. Как могла, успокаивала дочь: «Когда-то уходить из жизни все равно надо. А я всегда мечтала умереть не слишком старой, когда тебя еще любят и ты всем нужен. Не хочу дожить до такой поры, когда становишься гнилым овощем. Как вспомню выжившую из ума лежачую свекровушку, так об одном Бога молю: да минует меня чаша сия!».

Дочери такие разговоры, конечно, не нравились:

— Все бравируешь, мам?!

— А что? плакать, что ли?! Не то в войну пережили. Нас немцы в заложниках держали рядом со складами

боеприпасов. Чтобы, значит, свои не бомбили. Только где там! Бомбили так, что головы по бараку катались. Матушка была в ногу ранена, тетя Сима навылет в грудь. Как начну той рану спицей прочищать, наизнанку выворачивает: бинтом червей из тела вытаскивала. Так мне ли смерти бояться? За отца твоего тоже особо не беспокоюсь. Здоровый, сильный. Женщину себе найдет. Их, одиноких, вон сколько ходит. За каждого, кто в штанах, чуть не в драку. А у тебя семья есть: муж да сын. Так что, как говорится, на все воля Божья!

И на операции, и «на химию» шла спокойно, шутками поддерживая соседок по палате: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать!» Вот вернусь — песен пою. И пела: «Живет моя отрада в высоком терему. А в терем тот высокий нет хода никому!». А то еще пародировать бралась: врачей, медсестер, нянечек, больных из мужских палат копировала, — женщины за животы хватались. «Ой, Верка, прекрати хулиганить! Не ровен час у нас от смеха швы разойдутся!» А она опять уж старого эстонца изображает: «Пошел рас мая на охотта. Фижу: тетерев на тереве ситит. Я пистулю на капсулю — трах-парабах! Ситит, сараса! Подхошу — пахнэ. Потрокал — мяхко. Попропофал: тьфу ты! То корофья гафнофка!»

Матушка за «штучки» эти в детстве бранила: «Хватит кривляться-то!» Но от привычки изображать людские слабости отвыкнуть так и не смогла. Горячностью да бесстрашием в отца пошла.

Про отца Вера знала не много. И больше из рассказов матери. Служил он в милиции. Был большим и сильным. Терпеть не мог всякой несправедливости. Однажды не позволил начальнику без причины избивать взятого под арест тщедушного паренька. Тот велел сослуживцам связать отцу руки. Только где там!.. Раскидав по сторонам набросившихся на него сотоварищей по службе, поехал домой, закрыл дверь на все запоры и велел матери никому не открывать, ни при каких обстоятельствах. Затем скинул с себя милицейскую форму и в досаде швырнул в угол. Она, пятилетняя, с испугом смотрела то на отца,

то на мать. Матушка наблюдала за мужем, прикрыв от ужаса рот рукой. А отец, залпом выпив стакан водки, поцеловал их с матерью и одно успел сказать: «Все, Аннушка! Все! Но живым я им не сдамся!» В дверь уже стучали прикладами. Отец распахнул створки окна. Сделал это, как помнилось, очень торжественно, словно открывал не окно, а занавес в театре, в комнату ворвался холодный апрельский ветер. Какое-то время с револьвером в руке стоял у подоконника и как будто любовался на город с высоты девятого этажа. А когда дверь заскрипела и с грохотом обрушилась на пол, он, выставив перед собой револьвер, крикнул сослуживцам: «Стоять! Стрелять буду!!!» Громовой голос его разом остановил всех бегущих. Отец усмехнулся, швырнул им под ноги револьвер и нырнул в свободное пространство.

Воспоминания того страшного дня всплывали в памяти какими-то неясными клипами. Вот и сейчас, думая об этом, отчетливо увидела развевающуюся оконную занавеску, яркую синеву апрельского неба и лежащую на полу в глубоком обмороке мать.

Отцовские жизненные принципы продолжали жить в ней. Терпеть не могла всякой несправедливости! И когда видела, как пятеро бьют ногами одного лежащего, зажимала зубами воротник одежды, как это почему-то делал отец, и с криком кидалась в беснующуюся толпу. Эффект неожиданности обычно срабатывал, драчуны разбегались в разные стороны. Муженек часто ругал ее за это: «Смотри! Получишь когда-нибудь нож или шило в бок! Твое ли дело?! Может, этот парень подлец последний и получил по заслугам. А ты его защищаешь!» — «Кто бы ни был! Пятерым ногами одного лежащего — куда подлее?!»

Второй муж матери, Федот, относился к ней лучше, чем порой относятся к своим детям. Баловал подарками, защищал от воркотни матери, которая принялась рожать от него детей одного за другим. Всякий раз перед родами плакалась отчиму: «Ой, Федотушка, боюсь, не разродиться будет! Умру, наверное. Ты уж Верку-то мою не

брось». Глядя на растущий материн живот, она злилась и от страха за нее плакала по ночам в подушку. Но, слава богу, роды проходили благополучно, хотя братья рождались довольно крупными и головастыми. На нее легли все хлопоты по дому. И покупки, и стирка, и уборка. А когда перед войной отчима забрали, мать потеряла сознание и лежала в больнице три недели. Она забросила школу и ухаживала за братьями не хуже любой взрослой женщины. Потом началась война. Два раза ее отправляли в Германию. И дважды ей удавалось бежать. За каждого отправленного в Германию молодого члена семьи давали мешок муки, полмешка крупы, сколько-то соли да сахарного песка. Матушка дарованной провизии обрадовалась так, что не смогла скрыть этого от нее. И хотя сама видела, что братья начинают пухнуть от голода, обидных слез сдержать не могла. Мать принялась уговаривать: «Ты хваткая, работающая, смекалистая. Тебе в Германии не худо будет. А я детей от голодной смерти спасу!» И от этих матушкиных слов у нее в груди что-то опустилось. И даже слезы высохли. Обвела взглядом маленьких братьев: двухлетнему Макарке было все равно — вертел в руках какой-то сделанный из газет самолет. Средний, Григорий, с ужасом смотрел на нее во все глаза. А старший, Никита, исподлобья ухмыляясь, поддержал матушку: «А что? Мать права. Ты, Верка, у нас из любой ситуации выкрутишься». Выкрутилась. В грузовик садилась последней. Немец стал считать по головам рабочую силу. Насчитал двадцать шесть голов. Одна была явно лишней. Конвоир по-немецки скомандовал: «Ein weck!» Прочь так прочь! Она быстро выпрыгнула из кузова и шмыг в кусты. Только ее и видели. А через неделю снова сборы. Матушка в ноги к ней упала: «Сходи, Верушка, за Таньку Фролову. Мать ее, Степанида, за это продукты обещала нам отдать!» А она уж и в азарт вошла. Пока в грузовике до вокзала ехали, к немцу приглядывалась. Злющий такой. От него не сбежишь. А когда в вагон погрузили, бравады поубавилось. Кто сидел, молча закрыв глаза, кто хлопал носом, кто травил байки о том, как хорошо обра-

щаются с работниками хозяева, что, мол, случилось, девчонки за немцев даже замуж выходили. А у нее перед глазами братья. Не справиться матушке одной с ними. И вдруг уловила на себе чей-то изучающий взгляд. Парень был, по всему виду, года на два старше ее. Вот он встал и пошел куда-то в конец вагона, мигнув ей, мол, следуй за мной. Приглашать дважды ее было не надо.

— Слышь, тут под сеном дырка есть, — зашептал он ей на ухо. — Когда сядились, заметил. Надо бы ее расширить. И на станции помогли бы друг другу выскочить. Усекла?

Чего уж тут было не усечь?! Она кивнула. Парень поднял большой палец вверх, мол, «молоток», понятливая. И, прикрывая один другого, стали лазать под сено, отламывая гнилые кусочки досок старого вагона. Лаз получился отменный. Тщательно заделали его сеном. И легли сверху, прижавшись друг к другу плечами. Настало время познакомиться. Попутчика звали Николаем. Жил с бабкой в райцентре. И мать, и отец были врачами, а потому призваны на фронт. К самостоятельности Колька привык давно. Состав остановился на станции ночью. Выползли из вагона они довольно спокойно. И сиганули, как договаривались, в разные стороны. А когда состав скрылся из виду и фонари охранников стали едва заметны во мраке густого тумана, окликнули друг друга и по шпалам пошли в ту сторону, откуда прибыл поезд. Добирались до дому несколько дней. Матушка, увидев ее в дверях, лишилась дара речи и без сил опустилась на кушетку. Зато братья подняли радостный визг и облепили ее со всех сторон. И Никита по-взрослому изрек: «Я знал, что ты скоро вернешься!»

Вера Алексеевна попыталась вспомнить лицо Николая. Продолговатые серые глаза, вытянутое смуглое лицо, чуть заметно пробивающиеся усики над верхней губой. Ей он тогда очень понравился. Где-то Николай теперь? Так и не удалось свидеться, хотя, прощаясь, и сказал: «До встречи!» Наверное, в армию ушел. Кого куда война разбросала.

Замуж вышла за хромого киномеханика. В шестнадцать лет, подорвавшись на mine, был он контужен. Однако «первый парень на деревне»! Но характерец еще тот! Схватятся, бывало, с ним не на жизнь, а на смерть! Кулаки у него были стальные. Зато она могла языком отхлестать так, что у него ум мутился. Зубами от гнева скрипел, когда она под ядреную частушку чечетку ногами выбивала:

Ах ты, Гитлер! Ах ты, гад!
Убил хороших всех ребят.
Шинтропа осталася,
И та завыврожалася!

Мудрые сказки о том, что во время ссоры воды в рот набрать надо, дочке читала, но у самой на практике не получалось. Однажды в запале ему прокричала: «Запомни, я в гневе тебе всю правду говорю! Такой ты и есть на самом деле!» Он взвыл по-звериному и обрушил кулак на ее бедную голову. И сам во двор выскочил. Долго без памяти на полу лежала, а когда очухалась, в зеркале себя не признала. Правый глаз заплыл так, что ничего не видел. Зато левый с ужасом созерцал иссиня-черную маску на раздувшемся лице. Поплакала, попричитала, посыпая бранными словами его больную голову. А когда успокоилась да услышала, что муженек в дом вернулся, взяла в руку тяжелый утюг с раскаленными углями и медленно направилась в его комнату. А уж актриса была еще та! Он как увидел ее полоумный взгляд, не на шутку испугался: «Опомнись, Верка! Выброси утюг, дура! Долго ли до греха?! Ты ж еще та язва! Словами живого умертвишь!» А она одно твердит: «Молись, Боря! Молись! Пришел твой смертный час!»

Когда вернулась с танцев дочь, они уж лежали в обнимку. Не зря ведь говорят: милые бранятся — только тешатся. Почудили на своем веку. И причиной всему супружеская ревность. Красавицей себя никогда не считала: нос широкий, курносый, зубы редкие, волос секущийся, тонкий. Но чем-то брала! Хотя, чего уж там греха таить?! Знала чем. Талантами Бог не обидел.

Голос — каких поискать! Танцевала так пластично и азартно, что все мужики в зале языками прищелкивали, хоть никто танцевать ее не учил. У других перенимала. А уж шутки да юмор как из решета сыпались. За словом в карман никогда не лезла. В клубе, где работала после войны, всего один мужик был, баянист, и тот последний выпивоха. Перед концертом баян ему к коленям ремнями привязывали. Вроде бы ревновать не к кому. Но после каждого концерта дома — продолжение. И на мороз в одной ночной рубашке муженек выгонит, и плаття все концертные бритвой перережет, и даже охотничьим ружьем пугал. Но все равно его любила и жалела. Да и как его, убогого, было не жалеть. Ни голоса, ни слуха музыкального, никакими другими природными дарованиями Бог не наградил. Сколько лет с ним жила, научить танцевать так и не смогла. Правда, лицом был царственно красив. Но, как матушка любила сказать, с лица воды не пить. С юмором тоже проблемы были. Привлекла его как-то в народный драматический театр. Но и тут облом. Как выйдет на сцену серьезную роль играть, все в зале впокатушку. Он головой вертит, мол, в чем дело? Не понимает. И потому еще больше злится. Пришлось из клуба в детские ясли уйти, нянечкой. А дочка между тем подрастала. И в ней, в Настеньке, все утешение. Внешностью в отца пошла, а уж способностями да характером — вся в нее! На гитарах вместе играли, песни разучивали, вязали, вышивали, читали, пока муж на охоте да рыбалке время проводил. Смеялись над его причудами и в глаза, и за глаза. Как-то однажды дочь спросила:

— Мам, вы с отцом столько в жизни ругались. Может, лучше вам было развестись?

— Да ты что?! — изумилась она. — Что ты говоришь?! Пропал бы он без меня! Он ведь к жизни не приспособлен совсем, — и, помолчав, добавила: — К половику и то привыкаешь, а тут живой человек, тридцать три года вместе прожили! Жалею я его, непутевого. А у нас, женщин, жалость крепче любви.

Поняв свою ошибку, стала дочери о достоинствах отца почаще говорить. А их ведь тоже было немало. Во всем порядок любил. Руки хорошие имел, что для мужчины немаловажно. В хозяйстве справный. Умел и себя и других организовать во всех сезонных делах: покос ли, копка ли картофеля, покраска дома и хозяйственных строений. Рыбу, дичь домой носил. А уж ответственный какой! Любое дело до конца доведет, на полпути не оставится. Дочь, бывало, с малолетства за собой и в лес, и на рыбалку таскал. Словом, в каждом человеке всего намешано: и хорошего, и плохого. Каждого нужно любить и принимать таким, каков есть.

Однако сама дочери такой доли, как у себя, не желала. Парней за той увивалось много, один лучше другого. Но совет ей дала такой: «Не выходи замуж за сильного, не выбирай красивого, не соблазнись богатым, ищи парня доброго! С ним счастлива будешь. Вот тебе мой сказ!» И выбору дочери была рада. Зятка полюбила, как родного сына, за доброту его. И все бы хорошо, да новая напасть!

— Баба, а когда мама приедет? — вдруг спросил внук. И губы его закривилась, задрожали. Вот-вот расплачется.

Она отложила вязанье в сторону. Решила разрядить обстановку шуткой.

— А зачем тебе мама? Я-то чем хуже? И сказки тебе читаю, и песенки пою, и блинки пеку... — подняла внука на руки, прижала к пышной груди.

— К маме хо-чу-у-у-у! — продолжал канючить тот.

— Ну вот, заладил! — смахнув слезу, снова старалась шутить она. — Я тоже по твоей маме скучаю. Она ведь мне дочь! Пойдем-ка, дружочек, я тебя спать уложу. Вот мама во сне и приснится.

Внук поплакал-поплакал да и заснул под ее пение. А Вера Алексеевна еще долго ворочалась на постели. Даже муж забеспокоился:

— Ну что ты не спишь? Все о Настеньке думаешь?

Она только вздохнула.

— Знаешь, Борь, я все равно ее отмолю!

— То есть как? — не понял он.

— А вот так! Возьму на себя все ее болячки. Читала где-то, такое бывает. Я свое отжила. А ей сына растить надо. Буду просить об этом Бога. Он милостив!

И тут заметила, что плечи мужа мелко вздрагивают.

— Ты чего, Борь?!

— А до меня, значит, тебе и дела нет!

— Ну что ты, право, хуже маленького! Красивый, здоровый. Найдешь еще себе...

Он, как ужаленный, спрыгнул с постели и в одних трусах выбежал на кухню курить. И больше на эту тему разговора она с ним не заводила. Принялась истово молиться, уговаривать Бога позволить ей взять на себя болезнь дочери.

Через какое-то время с радостью отметила, что худеет. Зато Настенька вернулась из больницы, полная радостных эмоций и свежих сил. Увидев мать, поникла лицом.

— Мам! Тебе в больницу съездить надо, на обследование!

— Зачем? У меня ничего не болит, — заверила она. — А хужоба мне только на пользу. Легче себя носить. — И лукаво засмеялась, вальсируя по дому.

Однако силы с каждым днем стали убывать. И подниматься с постели становилось все труднее. Но она на все их уговоры твердила одно:

— В больницу не поеду. Прошу меня больше не беспокоить. — И даже дала письменный отказ. А когда осталась в комнате одна, таинственно улыбнулась, радуясь собственной немоци. Снова и снова благодарила Бога за то, что внял ее молитвам. В том, что это действительно так, не сомневалась.

Все женские заботы по дому теперь легли на плечи Настеньки. Дочь расцветала на глазах. Вскоре ее вызвали в областной центр в онкологию на контрольные снимки и врачебную комиссию по вопросам инвалидности. Вера Алексеевна к тому времени уже почти ничего не ела, а только пила. Внутри все горело огнем, но сильных болей не было. И за это тоже не уставала благодарить Господа.

Перед отъездом дочь долго сидела возле ее постели. Легонько гладила кончиками пальцев ее впалые щеки и шею.

— Мам, поедем со мной. Может, тебе операция нужна! Но она и слышать об этом не хотела.

— Позвони мне сразу, как комиссию пройдешь, ладно?

— Ладно, — пообещала та. И, припав головой к ее высохшей груди, разрыдалась.

На другой день Вера Алексеевна с нетерпением ждала звонка от дочери. И услышав ее счастливый голос по телефону, блаженно закрыла глаза.

— Мама! Мамочка! — звонко кричала в трубку Настенька. — Представляешь? У меня ремиссия. Снимки чистые. Врачи в шоке от такого чуда! И нерабочую группу инвалидности сняли. Теперь я, хотя и на полставки, но снова преподавать смогу!

— Слава богу!!! — только и смогла прошептать она.

А вечером пригласила к себе в комнату зятя.

— Алексей! Послушай меня внимательно. Сегодня ночью я уйду.

— Куда?! — не поняв, округлил глаза он.

— Туда! — подняла она взгляд к потолку. — Не забудь сегодня сварить кашу для Витеньки. Завтра суеты будет много. И на время моих похорон отправь сына к воспитательнице. Он ребенок чуткий, впечатлительный, ранимый. Рано ему об этом знать...

— Мама! Да что вы такое говорите?! — взмолился зятек.

Но она твердо сжала ему руку.

— Молчи и слушай! Мне надо уйти сегодня, пока не вернулась Настенька. Она слезами своими будет держать меня на этом свете. Успокой ее, передай мои слова: больному жить тяжело! Мне Там будет лучше! А теперь позови Витеньку, хочу поцеловать его маленькую ручку.

Когда ее сухие губы дотронулись до нежных пальчиков внука, горло сдавило сильным спазмом. На его извечный вопрос: «Бабуля! Когда ты поправишься?» — ответить не смогла. Душили слезы. Лишь рукой дала знак зятю. Тот понял и сразу увел внука в другую комнату.

Затем к ней заглянул муж. От него сильно пахло спиртным. Последнее время за выпивку она его уже больше не ругала. Понимала: тяжело ему.

— Верка! Как мне без тебя?! — всхлипнул он.

Но говорить она уже не могла. Только погрозила пальцем, мол, смотри у меня! Не грибься! Будь мужчиной. И беззвучно зашевелила губами. Он понял. Она просила, чтобы этой ночью лег спать в гостиной. Прижался к ее лицу своей небритой щекой и, сгорбившись, словно нес на плечах непосильную ношу, вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Она пошарила рукой под подушкой. Нащупала иконку и веревку. Вережку хранила на случай нестерпимых болей. Но, слава богу! Непосильных испытаний Бог не дает! Из последних сил швырнула веревку под кровать. Иконку прижала к губам. И устремилась мыслями к Богу. Знала, что уйдет под утро. Не по своей воле. По Божьей милости.

Так и случилось.

Рецепт моей бабушки (из серии «Хроники девяностых»)

Сколько лет женщине, что дремлет напротив меня в движущемся вагоне метро, — сорок пять, пятьдесят, а может быть, шестьдесят? Трудно сказать. Внешность самая заурядная, одежда тоже. Мое внимание привлекает сумка на ее коленях. Я оцениваю размер, устойчивость, надежность ручек. Отличная сумка, надо бы присмотреть себе такую. Точно такую же... меня вдруг бросает в жар. Мне — такую?! Мне, которая совсем недавно бегала с модной дамской сумочкой, не думая, насколько она вместительна?

Времена изменились. Отгремели залпы танков по Дому правительства на набережной — из белого он превратился в черный. Зато многое из того, что было черным, в одночасье стало белым. Привычная жизнь с ног встала на голову, с точностью до наоборот работают даже старые, проверенные поговорки: «Работа не волк, в лес не убежит», ан нет — убежала, и по дороге в магазин, на языке вертится: «Чтоб покупочку купить, надо денежку копить!»

Теперь для меня существуют «два варианта набора провианта». Либо я беру всего-ничего: пачку масла, батон хлеба, плавленый сырок, четыре сосиски — по количеству членов семьи: мужу, дочери-школьнице, себе и собаке, либо дефицита по полной норме, установленной сверху на душу населения — от одного до нескольких килограммов — чечевицы, пшена или корюшки.

Часть сухого продукта можно оставить про запас, а вот корюшку я готовлю сразу. Для этого ее надо хорошенько вымыть, вычистить — занятие довольно мутор-

ное, но я приноровилась, даже получаю удовольствие, когда вижу серебристые маленькие чистенькие тельца с головками и хвостиками. Лежат себе в самой большой моей алюминиевой кастрюле. Лежат и радуются, вернее, радуюсь я — еда на целую неделю, — всем четверым! Конечно, это еще не все, надо покрошить туда лук, морковь, залить небольшим количеством воды с разведенной томатной пастой, посолить, поперчить немного, не забыть лавровый лист (когда-то привезла с юга, ободрав целый куст) и поставить на огонь томиться под крышкой. Правда, крышка подевалась куда-то, но ее прекрасно заменяет перевернутый газ.

Я называю это блюдо: корюшка из-под таза. А что? Нормально! «Прикольно», выражаясь языком моей дочери.

Есть у меня еще одно фирменное блюдо. Рецепт его приготовления я позаимствовала у моей — царствие ей небесное! — нипочем не унывающей бабушки, она рассказывала, как во время войны пекла оладьи из картофельных очисток.

Итак, хорошо вымытые очистки повернуть через мясорубку, добавить на глазок муку, яйцо для связки, можно яичный порошок, если есть, опять же посолить, поперчить — и на разогретую сковородку с растопленным жиром. Объеденье, кто понимает!

О чем это я?! Ах, да, о сумке, о необходимой мне хорошей, большой-пребольшой хозяйственной сумке, и чтоб по доступной цене.

Чуть не проехала свою станцию. Выхожу из вагона, прохожу по платформе, гляжу на женские руки, непременно занятые какой-нибудь ношей. Сумки, сумочки и сумищи!

Поднимаюсь по эскалатору, выхожу из метро, иду в ближайшую галантерею, смотрю на полки и, неожиданно для себя, прошу подать мне маленькую плоскую сумочку на узеньком ремешке. Она из клеенки под крокодила, блестит и переливается, недешевая, но я цепляюсь за нее, как за спасательный круг, слава богу, денег на эту

покупку хватает. Больше мне ничего не надо сегодня. Мы с собакой позавтракали, муж обедает на работе, дочь — в школе, а на ужин оладьи фирменные — всем хватит!

Я толкаю магазинную дверь на выход, и в ее стекле вижу улыбающееся лицо моей бабушки. Она мной довольна.

В сумерках английской королевы

Утренняя загадка

...Проснулась Елизавета Павловна с чувством легкого страха: все ли нормально было? Репутация профессора как-никак, дело серьезное. А на новом месте — особенно. Даже если ты на пенсии, в душе все равно профессором себя чувствуешь, а не пьяницей какой-нибудь... А оно так — на новом месте какой тебя увидят, такой и воспримут. Не дай бог, наговорила чего лишнего в присутствии этой новой дочкиной приятельницы.

Тогда они с дочерью только-только в этот дом из Питера переехали. Наташа во дворе познакомилась с какой-то гидроперитной девицей из соседнего подъезда и пригласила ее в гости. Та коньяк принесла. Стали за знакомство вкушать, маму присоединиться пригласили. Отказывать неудобно было. Подумала, что так немножко компанию составит, заодно разузнает, что за знакомая у дочери появилась. Не хотелось бы, чтобы с какими аморальными общаться начала. Гидроперитные волосы Люси как-то сразу ей не понравились. Моветон. За разговором Люся ей не нравилась все больше и больше. Легкомысленная какая-то... При этом сама не заметила, что с собственной головой случилось неладное. Вроде спать пошла...

Вот и сейчас — солнце в окно... Хорошо все вроде. Насторожила кофта розовая на полу у дивана. Вещи никогда не разбрасывала. Аккуратность во всем любила. А тут... кофта на полу. Что бы это значило? Так и лежала в тревожных размышлениях, пока Наташа не вошла.

— Мама, ты ночью за чем-то два раза выходила. Я слышала, как дверь хлопала, — с некоторым недоумением в голосе сообщила Наташа.

— Я? Выходила? — поднимаясь с дивана, пожала плечами мать. — Куда я могла выходить? Ни района еще не знаю... Ни знакомых никаких здесь нет. А ты с этой Люсей долго еще сидела?

— Сидели-то мы недолго, — стала рассказывать дочь. — Да вот только пришлось мне ночью в клуб ехать за Люсей. Позвонила она мне уже за полночь. Попросила, чтобы я ее приехала забрать, а то избыют... Я такси взяла, в клуб приехала. Там, правда, черт-те что было. Люся, перепила и пакетом с чипсами в кого-то из «горячих» парней запустила. И те на нее... В общем, забрала я ее оттуда еле-еле. А сейчас она позвонила мне, благодарит, спуститься просит.

— Не надо бы тебе с этой Люсей... — робко посоветовала дочери мать. Робко, потому что больший страх чувствовала за то, где сама была... Где, как узнать теперь?... За Наташу тоже тревожно стало. Зачем так рисковать? Ведь всякие пьяные в ночном клубе... могли избить... Да и мало ли что могло случиться...

— Я, мама, спущусь только, — заторопилась дочь, — Люся мне деньги за такси принесла...

Дочь вышла. Елизавета Павловна быстренько повесила кофту в шкаф, приняла душ. Посмотрелась в зеркало. Вид вроде приличный. За Наташу по большому счету она была спокойна. Наташа ее — человек серьезный. Воспитательница. На хорошем счету. Скоро каникулы в садике закончатся, к своим любимым «колокольчикам» пойдет. Только бы с Люсей дружбу не заводила... Но успокоиться по-настоящему никак не получалось. Мало того, что трудно себя пенсионеркой чувствовать, со всеми своими профессорскими знаниями не у дел оказаться, под сокращение попасть, так еще и эта загадка: где сама ночью была?

Дверь хлопнула.

— Мама, представляешь, — прямо с порога начала Наташа, — стою я у подъезда, с Люсей разговариваю, вдруг

мужик какой-то подходит, лет сорока, посмотрел так на меня и спрашивает: «Как Елизавета Павловна себя чувствует? А то мы ей „скорую“ вчера собирались вызывать. Плохо ей было. Вот узнать пришел...». На пьяниц здешних не похож. В чистенькой белой ветровке, стильный весь. Я на него взглянула и обомлела: один в один — мой Денис покойный. Будто из могилы восстал. А Люся ему: «Иди отсюда! Сам, что ли, пьяным не был?» А он: «Девушка, вы что мне грубите? Я только спросить пришел, как себя Елизавета Павловна чувствует?». Мне, мама, не хотелось, чтобы Люся что-то знала, и я сказала ему: «Вы ошиблись, понятно?» И слегка локтем его толкнула. Он ладони перед собой поставил, сказал, что все понял, и пошел...

Елизавета Павловна так и оторопела. Значит, ходила все-таки куда-то ночью... И кто эти люди, которые ей «скорую» хотели вызвать? И с какой стати оно все? Неужели с какими-нибудь алкашами местными?.. Руки задрожали. Пролит кофе, снова попыталась успокоить себя. Может, просто гуляла, давление подскочило. Человек с кем-то мимо проходил... Принял участие... До дома довел... Это лучший вариант. А вдруг еще и худший был?.. Ну, хоть бы что-нибудь вспомнить! Нет, ничего не вспоминалось...

Так она до обеда все ходила и заморачивалась.

— Да ладно, мама, обойдется все, — попыталась успокоить ее Наташа, отправляясь с Илюшей гулять. — Главное ведь, что жива-здоровая...

Утешение было слабым. Стала труды свои разбирать в научных журналах, чтобы отвлечься. Посмотрела одну свою статью, другую... И журналы в сторону отложила. Да кто их читает сейчас! Подальше в угол задвинула. Все в прошлом. И то, что профессор — тоже в прошлом. Сейчас она просто пенсионерка. А провинция — не столица. Здесь собеседников своего уровня не просто встретить. Все больше из окна — эти, в помойных баках роющиеся... И хотелось бы ей сейчас самого простого — ничего больше о приключениях своего сумеречного сознания вообще не знать. Но как бы не так...

Из рассказов у «Магнита»

На улице дождь пошел. Наташа с сыном домой вернулись. И опять с порога:

— Представляешь, мама, в «Магнит» у дома с Илюшей идем... И человек этот в белой ветровке... снова... С машиной какой-то возился. Увидел меня, говорит:

— О, знакомые все лица! Ну, здравствуй теперь! А я вот тут машину приятелю оцениваю. Подогнали. Купить хочет, — и смотрит на меня загадочно так: — А я же ведь не ошибся?!

— Ладно,— говорю, — рассказывай, что с мамой было! — Мы как-то сразу с ним на «ты» перешли. И он рассказывать стал:

— Как она с этими колтырями оказалась, не знаю. Я не из их компании. Живут от меня неподалеку. Нинка там такая есть, хромоножка. Ни детей, ни родни. Подружка с ней Катька беззубая и еще два дегенерата, освободившиеся недавно. И все у Нинки тусуются. Бездомные сами. Не работают нигде, пьют с утра до ночи... В эту ночь не спалось мне. Гулять по лесной дороге пошел. Вижу, компашка знакомая пьет, на бревнышке, под дикой яблоней сидя. Прошел бы мимо, но внимание женщины странная привлекла. Не по одежде. Одета так же в спортивки, как и они. По разговору необычной показалась. Они пьют, матюгаются, а она стоит перед ними, руками размахивает и что-то про английскую королеву рассказывает. Рассказывает так, будто актриса, у которой давно зрителей не было... Или профессорша, которая лекций давно не читала, и вот наконец-то аудиторию увидела, за кафедру встала... Она историческими фактами их посыпает, а они пьют себе да матерятся. Только и слышу от женщины этой: «А вот английская королева»... И про дворцовые перевороты, про заговоры, про отца Елизаветы Второй короля Генриха... Датами исторических событий их попойку насыщает... Так смешно и нелепо все это выглядело. Даже комично. Исторические события — дегенератам в уши... Все равно что бисер

перед свиньями... А она с таким рвением рассказывает... А они только пьют да матерятся. А она распалается! Знания свои исторические расплескивает. Наконец Катька ей говорит: «Ты, англичка королева, рот закрой!» А Нинка: «Выпей лучше с нами, англичка!» Мама твоя выпила пойло какое-то, которое ей Нинка подала. И смотрю, как сидела, так сразу стала на бок клониться... Упала и признаков жизни не подает. «Откинулась, что ли, эта англичка, — Катька сказала, маму твою потормошив. — Может, „скорую“ вызвать?» «А на фига „скорую“, коли откинулась, — Нинка сказала, — валим отседа!» Перешагнула через маму твою. Пошла. И все перешагнули... К Нинке в избу двинулись, пива баклашку подхватив. Мама твоя, наверное, им купила... Пиво хорошее, разливное, из ночного бара. Сами они такое не покупают... А ночью, кроме бара-то, и купить негде...

— А мама моя как? — Дениса спрашиваю. Представляешь, мам, он не только похож, но и зовут так же... Смотрела на него, и прям сердце колотилось... Я ж до сих пор Дениса люблю... Коли не умер бы, коли не авария бы та злосчастная... Не, мужа тоже люблю. Но по-другому как-то... Он же вовремя мне попался, от горя, можно сказать, спас... Ну, не будем о грустном. И вот расспрашиваю Дениса про тебя, и он дальше рассказывает:

— Подумал, что нельзя человека в опасности оставлять. Не из их среды человек. Случайно как-то занесло. По щекам похлопал. Приподнял. Вывернуло ее. Глаза открыла. Но все равно, вижу, что не в себе. Кое-как адрес выспросил... Кое-как до дома довел. Идти она сама почти не могла. А как же ты, дочь, маму в таком состоянии из дома выпустила?

— Я, мам, объясняю ему, что дома ты была, и с виду вполне нормальная, а я ездила в клуб Люсю выручать. Приехала, пошла Илюшу проверить, и в этот момент дверь хлопнула. Ты вышла куда-то. А Денис так удивился, что я отчаянная такая... Малоознакомую среди ночи выручать помчалась. Потом о жизни поговорили. Я про мужа ему рассказала, а он мне еще одну страшилку, про тебя...

Еще одна страшилка

— Нельзя так необдуманно поступать, — говорит он мне. — Все ведь гораздо хуже могло быть. Здесь через трассу за лесом тайга начинается. В тайге избушка есть, где освободившиеся из заключения живут. А эти, с кем мама твоя была, часто туда ходят. Могла в бессознательном состоянии увязаться за ними и упасть там где-нибудь. И не спас бы никто... А там ведь и медведи есть. Одного моего знакомого на смерть медведь задрал. Обитатели избушки по пятницам ночным сюда на промысел к пивбару выходят. Люди по пятницам отдыхают, ночью «догоняться» за пивом идут. Сводки-то криминальные не смотришь? Сообщалось недавно, как женщину в арке прямо у пивбара мертвую с проломленным черепом нашли. Бьют по голове, чистят карманы и скрываются. Полиция ездила в ту избушку. Но летом ее обитатели еще дальше в тайгу уходят. В зверей превращаются. На работу после отсидки не устроиться, жилье родственники подсуетившиеся продали. Вот и выживают теперь, как могут. Диким промыслом.

А история с твоей мамой в ту ночь еще не закончилась. Слушай продолжение. Отвел я, значит, английскую королеву Елизавету Павловну до дому, сам со спокойной душой спать пошел. Но не спится как-то. Решил дрова во дворе поскладывать. Изба Нинки-хромоножки за два дома напротив. Вот складываю дрова для бани, вдруг вижу — опять знакомый силуэт. Глазам не верю. В калитку к ним стучится. Нинка выходит со смехом бахвальным и сообщает своим, видимо: «Англицкая королева пивасика нам принесла!» Мама твоя отдала им баклашку и быстрым шагом назад пошла. Я для подстраховки... на расстоянии. Проследил, чтобы до дома добралась, но близко не подходил уже. Причем не по дороге шла, а коротким путем — дворами, гаражами. Будто очень хорошо дорогу знает. Хотя я раньше у избы колтунов ее никогда не видел. И вообще в своих краях не видел. И не видел вообще. Удивило, что идет так бодро, будто совсем не-

давно полумертвой не была... Да ты за репутацию мамы не беспокойся. Никто ничего не видел. Темно и пусто было. А эти зомби и не вспомнят даже, кто их пивом угощал, и не узнают. И не вспомнят даже, как через полумертвую перешагнули... Через кого... Как... И как это она, через которую перешагнули, еще нашла их и пива принесла... Там не люди давно...»

— Мам, я говорю ему, что ты в самом деле в той окраине не была никогда и знать там никого не знаешь... И дороги не знаешь ни туда, ни оттуда. И вообще мы здесь пока еще ни с кем толком не знакомы. Переехали только что. Рассказала, что ты вообще не пьешь, что ты профессор, доктор исторических наук... И чтобы с отрепьем каким-то... и как это все могло... А Денис мне: «Провидение, наверно... Чтобы мы с тобой встретились... Не могла же столь невероятная случайность так просто произойти... Я как увидел тебя у подъезда, сразу понял, что ты дочь Елизаветы Павловны. Похожи очень... А как ты на меня посмотрела...»

На джипе с розами

От этого рассказа дочери нутро Елизаветы Павловны тысячу раз перевернулось и в какую-то неосознанную глубину ухнуло. Как ухнула и сама надежда на начало более или менее приличной жизни на новом месте. Чтобы не выглядеть больше, как те, с кем она ночью на лесной дороге гуляла, выкинула в мусорный пакет спортивную и кофту свою розовую. Пошла платье гладить. Она-то их никого не узнает, и спасителя своего Дениса тоже не узнает. Не узнает, потому как в любом состоянии человек хоть что-то видит, хоть что-то вспомнить может. А она — нет, будто не было ее в ту ночь на свете вовсе. Ни снов никаких не снилось, ни виденья не приходили. Просто темный бессознательный провал и — все на автопилоте. Но они-то... Даже если и эти неведомые ей зомби-колтыри ее в нормальном свете дня не узнают, то

Денис-то узнает. Это точно. И если увидит где на улице, так пусть — красивую, ухоженную, в строгом профессорском платье. Любимом платье, которое она раньше только на особо торжественные лекции надевала. Почему-то даже очень захотелось, чтобы он, совсем неизвестный ей человек, вдруг случайно увидел ее такой. Сделала прическу. Очки солнечные надела на всякий случай. Пошла с Илюшкой на детскую площадку гулять. Илюшка в песочнице с малышами играет, а она на скамеечку присела. Но и осознание себя в прикиде нарядном от мыслей тяжелых не избавляло никак. Что же это с организмом случилось? Старческое что-то, непредсказуемо старческое вдруг так внезапно началось. А еще ведь хотела в школу здешнюю учителем истории устроиться. Сложно, конечно, после профессуры в северной столице — обычным учителем в простую школу... Но ведь и учителем не возьмут. Представила, как приходит устраиваться, а слухи уже поползли. И в голове у директора: «А не та ли это профессорша, которая с алкашами местными по ночам гуляет?...» Так загоняла себя, загоняла, пока смартфон мелодию «Волшебной флейты» не заиграл.

— Мама, представляешь, — говорила дочь, — он мне позвонил! Денис позвонил! Откуда только телефон мой мог узнать? Я ему свой номер не давала...

Елизавета Павловна вздрогнула. Какие-то странно двойственные чувства возникли. С одной стороны — хорошо, что позвонил: порядочные люди нужны все-таки по жизни... А с другой — тревожно как-то: вдруг дочь серьезно влюбится. И как же... семья... ребенок без родного отца, с чужим дядей... И так все по жизни с отцами не везло. Мать ее без отца растила. Сама она дочь свою без отца растила. Радовалась, что хоть внук с отцом будет... Ну, трудно. Ну, не может муж Наташин работу себе здесь найти, ездить приходится в другой город... бурильщик... вахтовый метод... И все же семья... А тут будто угроза какая-то со стороны этого спасителя...

— Мам, ну, ты чего молчишь? — эмоционировала в трубку Наташа. — Откуда же он номер мой мог узнать?

— Так с моего телефона и мог узнать, — ответила, — если все правда, как он говорит, было. У меня же там написано «дочь» и номер твой. А по какому поводу звонил?

— Выйти просил. Букет роз взять. Сказал, что джип себе купил. Вместе со мной это событие отметить хочет. Я в окно выглянула, а он мне из джипа огромный букет красных роз показывает. Я ему говорю: «Не спущусь. Не могу твой букет принять. У меня муж, семья, ребенок...» А он: «Ну что тебе твой работяга бурильщик может дать? А я тебе все могу! Хочешь виллу у моря? Новую машину? Отдых на Мальдивах? Яхту?» Я ему говорю: «Мне ничего, кроме моей семьи, не надо!» А он: «Я же видел, как ты на меня смотрела! Сердце не обманешь! Просто выйди, возьми цветы!» А я ему: «Если приму цветы, то это будет означать, что я принимаю начало отношений. А так нельзя. Это подло по отношению к моему мужу. И вообще, отъезжай скорей, а то мама с Илюшей с прогулки уже идут!»

— Уехал уже?

— Уехал.

— А цветы?

— Сказал, что у двери подъезда оставил... В подъезд заходить не позволила...

После этого звонка дочери у Елизаветы Павловны что-то мучительно сладко под ложечкой заныло. Захотелось хоть на мгновение представить себе кусочек безбедной жизни. Все есть. Все хорошо. Не надо эти копейки считать. Не надо выбирать: только молоко сегодня купить или, может, и на сметану хватит?... Илюша все со сметаной любит... Особенно блинчики... Обувку новую для садика купить ему надо. Папа что-то денег давно не присылает. Не случилось ли чего... Главное, чтобы не запил, как раньше... Закодированный все-таки... У Наташи зарплата маленькая будет. Это только по телевизору о каком-то росте благосостояния граждан говорят, о том, сколько педагоги теперь получают... А в провинции ничего этого как-то и не заметно... Но хорошо хоть, что в садик устроилась. А с зятем... Просто работяга. Поговорить

не о чем. Зато трудится ведь. Старается для семьи. Как может, старается. Илюшке отец родной все-таки...

Илюшка с малышами норки в песочнице рыл. Елизавета Павловна смотрела на него и думала о своем. Хорошо бы и человеку норку себе какую уютную отрыть, забраться в нее, поблаженствовать хоть чуть-чуть и ни о чем тяжелом не думать. А оно думалось почему-то. С одной стороны — джип, розы, ухаживание за ее дочерью со стороны состоятельного человека, к которому и дочь сама неровно дышит... И так внезапно все... А с другой стороны... Ну что тут говорить?!

О перешагнувшей через жизнь

И это был уже второй день после сумеречной ночи английской королевы-профессорши. Елизавета Павловна снова пошла гулять с Илюшей на детскую площадку. Снова принялась размышлять о непонятном для нее происшествии и странном последствии с появлением спасителя. И снова Наташин звонок ворвался в суетность ее размышлений.

— Мама, он опять мне позвонил...
— И что сказал?
— Сказал, что «подружка» твоя умерла сегодня.
— Какая еще подружка?
— Ну, в шутку Нинку эту, хромоножку, твоей подружкой назвал. Нинка, которая гадостью какой-то тебя напоила тогда на лесной дороге, а потом перешагнула через тебя и с шоблой своей дальше в избу пить пошла. Денис рассказывал, как дело было. После того как ты им пива принесла, пили они еще очень долго и неизвестно что именно. Свет в окошке до утра не гас. Бабушка Нюра из соседнего дома все наблюдала, как трое Нинкиных собутыльников по двору ходят. То в магазин, то обратно. Они-то ходят, а Нинки среди них нет. Обычно четверка эта неразлучной была. А тут полдня уже только троим ходят. Не выдержала баба Нюра, заглянула в избу после

обеда. Трое за столом пьют, а Нинка в кровати лежит. «Чего хозяйка все лежит-то?» — баба Нюра у собутыльников Нинкиных спрашивает. А они лыка не вяжут, едва языками ворочая, отвечают: «Да спит она, не видишь что ли?» Баба Нюра к лежаку-то подошла, на котором Нинка спала вроде как, одеяло откинула, лоб потрогала, а та и ледяная уже вся, и костяная... Баба Нюра и полицию, и «скорую» вызвала. Но врачи сказали, что она уже 12 часов как мертвая. Инсульт от перепития случился. А дружбаны пили все и не знали даже, что в одной избе 12 часов уже как с мертвецом рядом пьют. Полиция порасспрашивала всех. Криминала не обнаружила. Своей смертью со света Нинка сгинула. Разогнали собутыльников. Избу заколотили. Негде дружбанам теперь без подруги тусоваться. Пойдут, видимо, в таежную избушку... Так что мама твоя никогда их больше не увидит и не узнает. А они ее — тем более. Можешь больше не переживать за этот случай с мамой...

За дикой яблоней

И снова непонятное чувство охватило Елизавету Павловну. Волной горячей дрожи от сердца до пят окатило. Почему она должна слушать сейчас о внезапной смерти какой-то Нинки, которую и в глаза не видела, и знать не знала. Не знала, как выглядела Нинка эта... В сознании своем реальном не знала и не видела. А в нереальном — общалась. И даже умереть могла. Только не как Нинка, на своем лежаке, в своем доме, а где-то на обочине лесной дороги, под дикой яблоней... Тоже ведь мог инсульт случиться от проглоченной гадости угощавшей ее Нинки, а потом перешагнувшей через нее той же самой Нинки... Могла бы, не стой за этой яблоней какой-то случайный прохожий, которому просто не спалось в эту ночь... Под яблоней, на обочине лесной дороги валялась бы она до утра, и уже окостенелой нашли бы ее какие-нибудь грибники. И страшна бы не сама смерть

была, а позорность смерти этой... Да, не смерть вовсе, а стыд и страх, которые испытала бы за нее дочь. И ведь если загнаться где-нибудь на обочине лесной дороги, то неважно, профессорша ты там была со всякими столичными званиями и наградами или простая бабка пенсионерка, вырванная под конец из контекста своей привычной жизни, привычной работы, привычного окружения... Просто бабка, напившаяся и почившая в бозе. Просто не нужная этому обществу бабка. Да, так и могло бы случиться, если бы какому-то одному незнакомому человеку в эту ночь просто не спалось...

— Мама, — чуть не плача звонила Наташа, — я говорю ему: «Купи себе собаку, чтобы тебя за маньяка какого не приняли. Будешь с собакой по ночам гулять, когда не спится». А он мне: «Какую собаку ты предлагаешь?» Я ему: «Да хоть эту ча-хуахуа заведи!» А он: «Так я бантики не умею завязывать...» Так трогательно... Почему-то, мама, мне это так трогательно показалось... Я до слез смеялась... Хотя столько растерянности в этой фразе. Простой фразе: «Так я бантики не умею завязывать». Будто в этом неумении и заключается вся неустроенность его жизни... Или только личная неустроенность...

В полночь, когда Илюшка уже спал, Денис снова позвонил дочери, и Елизавета Павловна слышала, как они разговаривали. Понимала по отдельным фразам Наташи, что он просит ее просто выйти, просто поговорить. Но тут Илюшка заворочался в кровати, и не то спросонья, не то, реально проснувшись, вдруг пролепетал: «Мама, а папа скоро приедет?» Услышав это, она попросила Дениса больше не звонить, положила трубку и пошла к сыну.

— Почему ты с ним так резко? — спросила Елизавета Павловна, когда Илюшка снова уснул. — Ведь можно бы и в друзьях такого порядочного человека...

— О чем ты, мама? В каких друзьях, когда с каждым словом все сильнее притягивает... Да и не смогу я через мужа перешагнуть... Что я, по-твоему, Игорю скажу? Извини, моя прежняя любовь из могилы восстала... Двой-

ником вернулась ко мне... Я за счастьем своим пойду... А ты обойдись как-нибудь. Без нас с Илюшей обойдись... Что ли, так?

Елизавета Павловна молчала. Однажды она тоже не смогла сказать полюбившемуся человеку: «Сейчас выйду...» А мужу: «Обойдись как-нибудь без нас с дочкой...» Мужа вскоре не стало... А полюбившегося уже было не найти...

Через несколько дней Денис все-таки позвонил еще раз. И дочь пересказала его слова:

— Я думал, что таких женщин не существует. Я никогда не встречал таких... Ты моя женщина. Я искал такую всегда. И нашел благодаря твоей маме... Выйди! Я скоро уезжаю в Италию по работе. Поехали со мной! Илюшка будет мне роднее родного... Как тебя люблю, так и его буду. Выйди, прошу тебя!

Наташа ответила: «Нет. Завтра муж приезжает. Со всем НЕТ!», выключила телефон, пошла в ванную. Елизавета Павловна слышала, как там, за дверью, всхлипывает на полную мощь включенная вода... Слушала, как всхлипывает вода, и думала, что все-таки не каждому дано перешагнуть через чью-то жизнь... Ведь скажи дочь мужу Игорю, что другого полюбила, он и смысл своего существования потерял бы. Спился бы и помер где-нибудь на обочине...

И еще подумала, что завтра надо будет пройти по лесной дороге, которую она никогда не видела, но которая была и есть. Пройти по ней и обязательно найти ту дикую яблоню... Яблоню, под которой однажды в сумерках чуть было не откинулась она, «англицкая» королева... Дикую яблоню, за которой стоял спаситель... Ту яблоню... Обязательно найти...

Продается мать

Моя дочь продала меня чужим людям как вещь, ненужную, надоевшую, до отвращения намозолившую глаза. Это не преувеличение, не плод больной фантазии, не бред — юридический факт. Она избавилась от меня, совершив вполне законную сделку, заверенную необходимыми бумагами на бланках с печатями и подписями.

Продала и предала...

Предала и продала... Невыносимо!

Ведь я жизнь свою ей посвятила, всю, себе ничего не оставила, лишь чисто биологическое существование своего организма поддерживала, чтобы она могла им (мною) пользоваться по мере надобности. А надобность во мне была всегда, еще бы — она ведь полное ничтожество, хоть мне горько и стыдно это признавать, как единственный результат моего самопожертвования. Да что же поделаешь. Правде приходится смотреть в лицо, коль не по-счастливилось ослепнуть вовремя.

Дочка, девочка моя, Аннушка, Нюся, — нежный бутон в розовой упаковке. Боже праведный, как все было красиво и радостно, когда она родилась. И муж у меня был, и любовь, и дочка — дитя любви. И надежды. И мечты, прекрасные и, казалось, вполне осуществимые: жить вместе долго-долго, дружно-дружно, шагать легко и весело, взявшись за руки, преодолевать все трудности припеваючи, постигать жизнь во всем ее многообразии. Как в кино. А что тут, собственно, такого — несбыточного? Даже главная задача не пугала недостижимостью — сделать так, чтобы Нюся была счастлива. Иначе ведь и быть не могло.

Но она продала меня чужим людям по объявлению. Вместе с моей квартирой, в придачу к ней, в нагрузку, как раньше продавали неходовой товар. Официальная формулировка: «С пожизненным проживанием». То есть меня продали, но как бы разрешили пожить, хотя не нужно особой прозорливости, чтобы понять — теперь все заинтересованы в моей смерти. Ждут не дождутся. А может, и попытаются ускорить конец. Даже наверняка. Теперь мне грозит смертельная опасность. Тем более после второго инсульта я не вполне самостоятельна — едва передвигаюсь по квартире, а соседи из жалости кое-чем помогают.

Так и при Нюсе было, когда она еще не уехала. От нее помощи ждать не приходилось. Она и до болезни меня вниманием не баловала, а уж после — кроме отвращения я не вызывала у нее никаких чувств. Она и смотрела-то в мою сторону искоса, не сосредоточиваясь на неприятном зрелище. А я старалась изо всех сил выглядеть пристойно — опрятно и по возможности бодро. Только и эти мои усилия были напрасны. Как и все, что было до того, всю Нюсину жизнь — ненужность моего существования при полной ее от меня зависимости была очевидна.

А теперь я полностью зависима.

Кто-то такую злую шутку сыграл со мной. Неужто Бог? За что? — спросить хочется, но как-то неловко: банально и глупо.

Конечно, я зависима поневоле, от беды, Нюсей же до такого состояния доведенная, а она — просто купалась в ничегонеделанье, это ее стихия и ее органика. Она будто для того только на свет и родилась — для всепоглощающего безделья. Зато как изящно выглядела моя Нюся со стороны, не то что я сейчас — неловкая до безобразия, и чем больше стараюсь, тем более неприглядно выгляжу. А Нюся никогда и не старалась, она молча, грациозно протягивала руку, и я тотчас подавала ей яблоко, кофе, сбитые сливки с клубникой, сок или чай — всегда безошибочно то, что она желала в данную минуту. Как по щучьему велению. Я одевала ее до школы и позже тоже, ку-

пала, причесывала, носила на руках, пока могла оторвать от земли, а после брала такси — Нюся не любила городской транспорт, ее укачивало, тошнило, раздражала теснота и толчея. И пешком ходить не любила — ни в мороз, ни в жару, ни под дождем. И не ходила — ездила. А я на трех работах работала, чтобы удовлетворить ее растущие потребности: в техникуме преподавала немецкий, там же убирала классы и туалет, а в выходные вела группу малышей, приучая их к иностранным языкам, — для детишек, кроме немецкого, у меня были вполне приличный английский и испанский. И дома убирала, мыла, стирала, варила и прочее тоже, разумеется, я.

А Нюся целыми днями лежала на тахте, нет, не болела, здоровенькая девочка получилась — тут муж меня не подвел. Просто лежала, от лени: реснички, ногти накрастит, щечки напудрит — красotka, куколка, глаз не отвести. Лежит, то по телефону поговорит, так, ни о чем, потому что не о чем — за душой пусто, то на кнопку магнитофона пальчиком надавит, наушники наденет и откинется на подушки, будто перетрудилась. И часами, днями, годами — одно и то же. Школу в восьмом классе оставила — надоело и неинтересно ей, видите ли, скучно. А что интересно — пока не знает, еще не нашла себя, в поиске.

Она и сейчас в поиске. Только не здесь, расширила зону — теперь она ищет что-то в Америке. А что ищет, Господи?! Она ведь не только меня продала с квартирой, но и себя с ребенком — по брачному объявлению в газете. А он оказался шарлатаном — встретил, отобрал деньги, которые она за мою квартиру выручила, и выгнал их с Олечкой, внучкой моей маленькой, на улицу. А Нюся по-английски двух слов связать не может — недоучка. Но и никакую другую работу неквалифицированную, примитивную, с которой даже глухонемой справится, не осилит — ни судомойки, ни уборщицы, ни санитарки-сиделки. Упаси боже — это все не для нее. Пропадет сама и ребенка погубит.

А меня меж тем кто-нибудь убьет потихоньку, коварства особого не потребуется. И способ один верный

есть — лекарственное отравление. Ни у кого подозрений не вызовет. Да и кого моя смерть заинтересовать может? Только с точки зрения свершившегося, наконец, факта, который незамедлительно повлечет за собой ремонт квартиры, как протечка на потолке. Я, правда, слежу за таблетками, по цвету и размеру их отличаю и пересчитываю, чтобы лишнюю не проглотить. Можно, конечно, в пищу что-нибудь подмешать, а это уже никак не проверишь, тем паче ни кошки, ни собаки у меня нет, одни только тараканы. Да я бы животное пожалела, не стала бы подвергать риску.

Вот только меня пожалеть некому.

И почему-то страшно, и никак понять не могу — почему. Неужели смерти боюсь? Быть этого не может. До последней точки отчаяния дошла, хуже того, что случилось, — ничего не бывает. Тем более смерть ни в какое сравнение не идет, она же ничего не несет с собой, кроме избавления. Полного и окончательного, и от всего разом. Мне бы только и мечтать об этом. А вот поди ж ты — боюсь. Может, не за себя боюсь, а за Нюсю — какая ни мерзавка, а все же дочь, родная кровиночка, а уж за Олечку, цветочек прекрасный, — и подавно боюсь.

Невинное создание, невесть каким образом на свет явившееся, — лежала-лежала Нюся на диване, музыку свою сумасшедшую вкушала, запивая чем-нибудь прохладительно-горячительным — по настроению, и вдруг родила, похоже, что и сама не ожидала. Правда, удивления особого я не обнаружила, как, впрочем, и огорчения или радости. Все же событие: человек родился. А Нюся моя — хоть бы что, лежит себе на боку, как тюлениха ленивая и неповоротливая, дочку свою в упор не замечает — не кормит, не пеленает, не купает. Знает, что я тут рядом, на подхвате, самоотверженная, преданная и семижильная.

Ой, да что это я про Нюсю — она и слова-то такие не слышала: *самоотверженность, преданность*, а если и слышала, то как иностранные: знакомая звуковая комбинация, а о чем — непонятно.

Так что просто — она лежала в свое удовольствие, а я крутилась из последних сил. Олечку, внучку, жалко было, да и надежда откуда ни возьмись нахлынула — вдруг все у нас наладится и будем мы жить вместе, долго-долго, дружно-дружно, шагать легко и весело, припеваючи. О Господи! откуда эта надежда, истлевшие останки которой разметало давно и бесследно? Да вот же Нюся — результат моих мечтаний и бесплодных усилий. Итог всей моей жизни — не просто плачевный, не трагический даже, а смертельный.

Умереть, умереть бы скорей, чтобы спастись от этой муки: за что? за что? — кричу, все слова позабыв. За что?! Зажимаю себе рот руками и ничего не слышу — ни своего голоса, ни ожидаемого ответа.

Умереть хочу.

Только бы узнать перед самым концом, что они живы, Нюся и Олечка, живы — и то бы утешило. Я ведь через посольство в полицию обращалась и уведомление получила, что о нелегальных эмигрантах сведений никаких нет, даже если погибли: они не зарегистрировались, и их не регистрируют. Взаимное несоблюдение правил. А Нюся, стерва, три года уже — ни строчки, все, что могла, из меня вытянула и теперь знает, что жизнь моя на волоске, и даже если оборвет его, дотянется — ничего ей уже не обломится. Все здесь выбрала, до последнего.

А все же весточки жду.

И лекарства каждый день аккуратно по предписанию врача принимаю, чтобы еще на день-другой продлить свое постылое существование — авось объявятся девочки мои, дочка и внучка. Вдруг, измытарившись в чужих краях заокеанских, Нюся моя не то что поумнела, она дурочкой никогда и не была, а хоть потеплела чуточку. Или, может, так плохо ей, что боль и страдание из формальных лингвистических категорий, заимствованных из чужого словаря, обрели вдруг реальное измерение — плохо, кричит, мне, совсем плохо. Невыносимо! А тогда и до сочувствия рукой подать, и жалость сама собою прорежется, и не только к себе, а и к ближнему.

Ай, я неисправимая идеалистка. Или того хуже — идиотка. Обыкновенная старая идиотка. Нет, я знаю, я читала и даже в жизни не раз наблюдала, как человек меняется к лучшему, пережив какое-то страшное потрясение, добреет. Так бывает, бывает. Только это к Нюсе моей отношения не имеет, она из какой-то другой, огнеупорной материи вылеплена, вся, от кончиков ногтей до мозга костей. Мне всегда страшно делалось от одной только мысли, что это я ее родила.

До судорог страшно, до умопомрачения.

Когда носила ее, это тоже было похоже на помешательство, но тихое, блаженное. Я все время грезила. С первых дней слышала детский голосок, не просто детский — девчоночий (я ведь сразу поняла, что во мне поселилась девочка). И не просто голос различала: слова, разговоры, она говорила — я отвечала, она — строго, я — расслабленно, почти бездумно, но всегда знала правильный ответ, ни разу лицом в грязь не ударила перед моей дочурочкой. И все время похихатывала тихонечко, потому что она щекотала меня мизинчиком левой ноги, о, абсолютно точно — мизинчиком левой. Я кормила ее оладьями с клубничным вареньем, мы уплетали их, запивая холодным молоком, перемазанные липким вареньем, красным, тягучим, и одна густая, как застывшая смола, капелька блестела у нее на носу. Хватит, говорила я, смеясь, ты еще маленькая, тебе нельзя оладьи, потом. Давай лучше нырять — и мы ныряли в прозрачной холодной воде, и она как рыбка выскальзывала из моих рук, я ловила ее, она снова выскальзывала, маленькая, верткая. Мы погружались все глубже, глубже — туда, где вода бурлила и пенилась, обжигала кожу, затрудняла дыхание, втекала плотной струей в пересохшую гортань и медленно остывала внутри, скручиваясь клубочком, примачиваясь поудобнее, принаравливаясь. Я обнимала себя руками за живот и, стараясь не потревожить ее своим дыханием, замирала.

Боже, какое это было счастье, его невозможно было вытерпеть. А терпеть предстояло девять месяцев. И я жутко боялась все время, каждую минуту — просыпалась

в холодном поту, засыпала, не смеядохнуть. Такое мучительное было счастье. Долгое, мучительное, сладкое.

Мне бы умереть тогда — на вершине.

Потому что ясно же — дальше или кубарем вниз, или ангелом в небо. Мой удел — кубарем вниз, все быстрее, больнее, острыми ядовитыми шипами боль вонзается в мое тело, мне нечем защитить себя — не умею, не успела узнать основные приемы, не знаю противоядия. И нет сил. Все, выжата до предела, как непригодная к употреблению половая тряпка, об которую уже и ноги вытирать нельзя, и выбросить некому.

Не похоронить и оплакать, а выбросить и забыть некому.

Хотя почему же — Нюся как раз это со мной и проделала, так что жаловаться мне не на что. Одного раза мне мало, что ли? Да и на кого я могу рассчитывать, на чьи слезы — дочь моя свою миссию выполнила. И забыла о моем существовании. А я все маюсь — живучая оказалась, никакое горе не берет. Обездолена — хуже некуда, а все дышу и ползаю. И последнее желание теплится — не угасает: узнать перед смертью, что живы они, Нюся и Олечка. Узнать бы — и навсегда уйти, шагнуть прямо через подоконник в серый мгlistый морок, холодный, дремотный, раствориться в нем и, став одной из множества безымянных капель, прильнуть к своему же окну немигающим, неприметным зрачком. И видеть все, что случится позже.

Ведь что-то же непременно должно случиться.

Главное — действовать, приблизить событие. Сколько можно впустую маяться. Пусть хоть что-нибудь произойдет наконец в моей бессмысленной жизни. Итак: горсть таблеток из заветного флакончика, приготовленного на крайний случай, торопливо, давясь, запиваю холодным прокисшим чаем — лишнее подтверждение моей заброшенности, никому ненужности. Ускорить, ускорить ход событий, пассивное ожидание — невыносимо.

Вот уже и тело делается легким и послушным, как прежде, — не поднялась с трудом, напрягая каждый мускул

и пересиливая боль и страх и отвращение к собственной немощи, а вспорхнула и словно бы поплыла над грязной, дурно пахнущей постелью, над судном, наполненным отходами моей жизнедеятельности — единственный зримый и обоняемый признак того, что я существую, — над пылью, паутиной, тараканами, над тем, что некогда было домом, уютным и светлым, хотя бы с виду, а стало душным, зловонным казематом, куда заточили безвинно, бессрочно.

Над — это оказалось так здорово. Из всего, что было прежде, сродни, пожалуй, лишь подводному плаванию с маленькой рыбкой Нюсей, до ее рождения. Невероятная легкость движений и чувств, невесомость души и тела. Все остальное — в гравитационном поле земли, будто пудовые гири на руках, на ногах и на шее, и сил нет тащить, и смысла нет — куда? зачем? А все же, согнувшись долу, лбом упершись в землю, тащила, не видя конца, не находя спасения.

Над — вот спасение. И прильнуть к своему окну.

О! Там что-то странное происходит... Все вроде то же, но что-то изменилось до неузнаваемости, новых хозяев не видно, кругом светлым-светло и пусто. Двери все распахнуты настежь — ждут кого-то. А на подоконнике телеграмма: «ПРИЛЕТАЕМ 7 ИЮЛЯ ГОЛДА НЭНСИ». И чей-то голос доносится из пустоты квартиры. Отчетливо слышу голос и отчетливо понимаю — зовет меня.

Но меня нет.

Я — серая капля, прилипшая к стеклу, зрачок невидимого глаза. Однако — слышу и вижу и понимаю. Правда, не все. Седьмого июля — день моего рождения, Голда — моя бабушка, а Нэнси — кто? И кому телеграмма? И вообще — что такое смерть, если опять эти вопросы, на которые нет ответа. И что-то похожее на беспокойство, отвратительно и мучительно знакомое, покалывает где-то в сердцевинке, там, где раньше было сердце, будто меня, каплю серую, расплывчатую, к стеклу иголкой булавкой пришилили насильно и намертво. А я сама

к нему прильнула, добровольно. Понаблюдать чтобы — как события развиваться будут.

И наблюдаю.

Вот тень какая-то появилась, по пустым комнатам кружит, будто ищет что-то. Или кого-то?

А никого нет. Ждали-ждали моей смерти, дожидаться не могли, а теперь почему-то не спешат занять освободившиеся кубометры пространства. Странно это. Все очень странно. От кого телеграмма? Голда? Нэнси? Это кто? При чем здесь мой день рождения? И где я сама, в конце концов? — загадочная метаморфоза.

Помню — умереть хотела. Помню — как это началось: ощущение легкости, освобождения. А сейчас мне кажется, что я хочу жить. Жить хочу — как это отвратительно в моем положении. И недостойно. Нюся бы обсмеяла меня и была бы права.

Но все же, мне кажется, — жить хочу.

И не просто узнать, что там происходит без меня, а присутствовать, поучаствовать, попереживать. Видно, мало мне всех моих прижизненных переживаний, коли так хочу добавку получить уже после. Не сполна наелась, значит, потому и умереть не могу пристойно — раз и навсегда, без сожалений и ничтожных сомнений.

Безумие какое-то!

Упокоения вожделела душа моя, упокоения — я это помню. Ни на что другое уже не было сил. Тем непонятнее то, что сейчас происходит. Я ведь ушла, добровольно покинула опостылевший мир глубоких чувств и нестерпимых переживаний, мир, полный парализующих страхов, кровоточащих потерь и неисполнимых желаний. Отвратительный мир, населенный омерзительными живыми существами, которые норовят погубить каждого, в ком теплится свет любви, сострадания, жалости. Мир темных сил и жестоких правил.

Я ушла оттуда. Но зачем-то прильнула ничьим зрачком к прогалине на грязном стекле своего окна, как к замочной скважине, — неистребимое любопытство людское выиграло в этот последний миг: что там без меня? как?

А никак.

И ничего непонятно, будто не только что покинула сей бранный мир, а вечность где-то скиталась, пытаясь сбросить с себя коростой выросшие воспоминания. Тщетно, однако — их не уничтожить. Меня уже нет, а воспоминания живы. Сквозь небытие продрались, нетронутые, целехонькие. И вдруг — озарение, и ясно все стало как на ладони: Голда — Олечка, внучка моя, Нэнси — Нюся, дочь драгоценная, прилетают домой из далекой чужой Америки в день моего рождения.

А я как раз в этот день решила свести счеты с проклятой своей жизнью. И как всегда — невпопад. Господи, какое странное совпадение — горькое или счастливое, сразу и не пойму.

Только взглянуть на них хочется и узнать, почему — Нэнси, откуда — Голда, и надолго ли приехали, и зачем. Взглянуть бы, узнать — и успокоиться. Уже настоящему и навсегда. Все-таки здесь, вне жизни, хорошо, и никто меня не достанет, ни пакостями своими, ни претензиями. И никому я уже ничего не должна, и обузой ни для кого не буду, потому что меня нет.

Вот они прилетели сегодня, эти заокеанские Голда и Нэнси, Олечка и Нюся мои, зайдут в дом — а меня нет. Никто им не сообщал о моем исчезновении и никто объяснить не сможет, где я, что со мной стряслось-приключилось, — без свидетелей обошлось, никто не оплакал меня и не помахал горестно вслед, и удержать никто не пытался. Никому до меня нет дела — это не новость, а давно пережитая горькая правда. Или, точнее сказать, до сегодняшнего еще дня переживаемая. А теперь — все, никаких треволнений.

Я абсолютно спокойна.

Только взгляну на них. Все же давно не видела, даже на фотографии — Олечка тогда еще совсем маленькая была и на свою прапрабабушку Голду похожа — белолицая, губки бантиком, глаза серьезные, внимательные, как две черные пуговицы, прижатые к переносице, и чуть насупленные тонкие брови, и лобик высокий, чистый,

и темно-рыжие кудряшки над ним. Вылитая прапрабабушка — такая игра природы. Какая Нюся умница, что назвала ее этим именем — Голда, — не ожидала от нее такого: словно узелок затянула на невидимой нити, которая всех нас в одной связке держит. Да только сомнение гложет — как это Нюся вдруг это имя вспомнила, кто подсказал ей, она и знать не знала о прабабушке своей, и мое бы имя позабыла, не понадобись оно ей для купли-продажи. Нет, Нюся здесь ни при чем, это не ее придумка. Зря я обрадовалась, вдруг, ни с того ни с сего. Будто я не знаю ее, Нюсю свою, или Нэнси.

Знаю как облупленную — это она так обособиться хочет, отстраниться от меня подальше — мол, никакого ко мне отношения не имеет, и даже имя носит другое, не то, каким я нарекла. А Голда — это случайное совпадение, и внучка моя уже небось и не говорит по-русски, я ей вовсе никто, она обо мне и не слышала ничего, не сомневаюсь. Бабушка, Grandmather — для нее это полная абстракция, некому было ей обо мне рассказывать. Не Нюся же в самом деле воспоминаниям придавалась в чужой стране Америке. Я бы и сама обо всем рассказала Голдочке, даже и по-английски, но меня ведь нет. Я ушла.

Может, поспешила все же? Нужно было дожждаться Олечку — а вдруг она совсем другая, на Нюсю мою непохожая. Так ведь довольно часто случается. Вдруг она не только внешне, но и характером, и умом в прапрабабушку Голду выдалась — ту все любили и почитали, смолоду и до глубокой старости. Вокруг ее смертного одра вся семья собралась — дети, невестки, зятья, внуки, правнуки, сестры с детьми, соседи и просто знакомые. Фотография есть любительская — на память с ней все сфотографировались, в три ряда встали полукругом за ее спиной, и лица у всех печальные, неподдельно скорбные, а у нее просветленное и доброе и улыбочливое, как всегда, — даже смешливые ямочки на впалых щеках угадываются. Лишь по глубокой складке на переносице догадаться можно, что едва превозмогает боль.

Вдруг и Олечка такая же. А я ушла и никогда теперь этого не узнаю.

Прилепилась снаружи к грязному окну и страдаю, мучаюсь сомнениями, и как-то сыро сделалось, и потекло что-то вниз по стеклу, оставляя узкую бороздку на жирной мутной пленке. Слеза?! Я снова плачу, и нет мне покоя. И значит, конца никакого нет, нет избавления, нет ничего после жизни, к чему стоило бы стремиться, есть только очерченный кем-то круг, в который тебя заключили, и по кривой борозде окружности, похожей на размытую слезой неровную, нервную линию на оконном стекле, брести и брести без всякой надежды, без смысла и цели?

И все же странно, что не примирившаяся с жизнью душа моя не хочет умирать. Она жаждет возвращения в счастливое будущее, которого нет.

Его нет, но что-то все-таки есть. Я слышу и вижу, как Нюся, Олечка, Голда и Нэнси — все вместе — вваливаются в нашу бывшую, теперь уже чужую, квартиру, гулко пустую, настороженную. Квартира чутко переживает наступившее вдруг бесхозное безвременье, даже вещи неловко замерли, жмутся по углам, будто прячутся — нет, они и раньше так же стояли, но вижу — прячутся. И паутина, как пыльная, давно не стиранный штора, нависла над ними, прикрывая.

Все замерло в напряженном ожидании. И я здесь, на стекле — тоже.

Только Нюся ничего не боится, ни о чем не тревожится — ногой лихо толкнула входную дверь так, что с толчка посыпалась серая вековая побелка, густо-густо, и Нюсины ножки отпечатали маленькие узкие следы на пороге проданного ею родного дома. А она легко переступила — ничего не заметила, чемоданы бросила, грохнулись об пол — все задрожало вокруг, эхо шарахнулось по углам. А Нюся нос зажала пальчиками: «Фу, вонища какая, гадость!» О, узнаю дочурку свою, изнеженную, нетерпимую. Первые слова в родном доме после долгой разлуки: «Задохнуться можно, фу!» «Сейчас проветрим

все, вымоем и отлично будет. Только где же мама?» Это Нэнси, я вижу — как тень Нюсина, не отличить, только помягче в движениях, потише, помедленнее и повнимательнее — все же мое отсутствие заметила. А рядом с нею две девочки, как сестры-близняшки, жмутся друг к другу, по-английски лопочут между собой, переговариваются и с любопытством озираются — им здесь все внове, незнакомое, чужое вроде бы, но смутно что-то напоминает. Вот они склонились над креслом и разглядывают куклу, однорукую, белокурую, с трещиной на лбу — мой подарок Олечке на ее первый день рождения. Любила она ее, из рук не выпускала, но не взяла Нюся куклу в заморское путешествие — вырвала из Олечкиных рук и швырнула в угол: «Оставь эту уродину, у тебя другие будут, настоящие Барби. Не реви!» Слезы застыли на ресничках, как сосульки, а безымянная побитая калека, Олечкина первая кукла, так и сидела в кресле рядом со мной — безмолвная компаньонка и свидетель каждого мгновения, тяжелой каплей бухающего в неведомое с каждым ударом моего слабеющего сердца. Девочки передают куклу из рук в руки, шепчут ей что-то, поглаживают, жалеют вроде — неужели узнали? «Кукла», — говорит Олечка, осторожно пробуя язычком каждый незнакомый звук. «Кукла», — вторит Голда. И обе смеются. Девочки мои родные. Обнять бы вас, прижать к груди, вдохнуть родной запах, устойчиво пробивающийся сквозь все наслаения неизвестной мне жизни.

Олечка-Голда, внучка или бабушка — все немного сместилось, и я отсюда, из-за стекла, понять не могу вполне достоверно, что все-таки происходит в покинутой всеми квартире. То ли мир раздвоился вдруг, то ли через мой зрачок такая аберрация изображения случилась.

Олечка-Голда, Нэнси-Нюся бродят по пыльному полу, смахивают с лица паутину, зажигают люстры, бра, а и так светло, даже чересчур, слепит как лучом прожектора, и ничей зрачок, которым подглядываю за ними, слезится, сочится соленой водицей, застит, размывает

картинку, которую вижу как сквозь окуляр уменьшающего бинокля. Окна открывают! А я снаружи к стеклу прилепилась, удобную позицию заняла, думала надолго примостилась — наблюдаю, подслушиваю, сопереживаю. Живу.

О Господи — живу! И у меня сегодня день рождения. Я бы и не вспомнила об этом, этот день давно перестал быть поводом — ни горевать, ни радоваться. Если бы не Нюся-Нэнси и Олечка-Голда и телеграмма на подоконнике, где черным по белому — «прилетаем 7 июля...».

День рождения... День смерти... День отъезда... День приезда... Все в один день. Странное совпадение. Случайное? Роковое? Или просто искривление временной оси? Стрелки всех часов вдруг остановились сегодня в полночь, и все события, которые случились давно или только еще произойдут, обречены быть приписанными к этому дню и к этому часу. Хотя какой же час, когда на всех циферблатах — одни нули.

Время остановилось... Никогда не думала, что такое возможно. Остановись мгновение — по моему хотению. Пусть я уже не я, а серая мокрая капля, прилипшая к оконному стеклу, но я вижу, как там, за окном, празднует без меня мой день рождения странная маленькая компания, невесть откуда явившаяся в бывшую мою, а в это застывшее мгновение — ничью квартиру. Празднует, брезгливо морща маленький точеный носик, моя непутевая беглая дочка Нюся; празднует ее тень, хлопотливая и радушная Нэнси, незнакомка, в которой чудится что-то родное, счастливо-щекотное, будто ныряю в прозрачной воде и маленькая скользкая рыбка трепещет рядом или внутри; празднует девочка Олечка со своей близняшкой Голдой, похожей на мою бабушку в детстве. Подняла стакан с золотистой пенистой водой и громко спросила:

— Where is my grandmather? Where? Мой ба-бУш-ка где?

Нюся лениво руку подняла и пальчиком указательным тонким прямо мне в глаз ткнула, в ничей зрачок:

— Да там она, рядом, здесь.

Я испуганно зажмурилась, сжалась в точку — неужто увидела меня доченька, разглядела? Или разгадала? Как глупо и неловко все вышло, как стыдно. Что бы я Олечке-Голде сказала, если б довелось встретиться, как объяснила бы свой поступок? Нет никаких объяснений разумных и оправдания тоже нет, не рассказывать же ребенку всю мою неудавшуюся жизнь, ни к чему ей это. Теперь у меня нет выбора — ухожу навсегда, больше никаких уловок, никакого притворства, никаких серых капель и ничьих зрачков, ни мутного стекла, ни замочной скважины. Ни щелочки, сквозь которую обратно протиснуться можно.

Ухожу...

Уже ничего не видно. И почти ничего не слышно. «Бабушка мой!» — долетело и пропало...

«Родные мои...» — стихло вдали...

И чьи-то слезы...

А может — смех?..

А может — ?..

И все же жаль, что я решила умереть сегодня,
на чуть-чуть не хватило выдержки,
на самую малость...

О чем мечтает туннельная крыса

Полине

1

Яблоком и курицей я кормила ребенка. Яблоко было зеленое — полезное, а курица — синяя, потому что без очереди и за рупь семьдесят. Иногда еще родители с криком: «Ты не мать, а фашистка!» распахивали мой холодильник и закидывали туда... курицу! Но все же розовую — из кулинарии — за три восемьдесят.

Так и жили...

А главное был — Пушкин. Пушкин был «наше всё». Никто не верил ни в Бога, ни в советскую власть, ни в Россию — а в Пушкина все верили и всегда. Он висел на небе Солнцем нашей поэзии и просвечивал дырочкой в левом боку. И Маяковский просвечивал, и Лермонтов, а снизу болтались на своих веревочках Марина и Сережа — «золотые головы», как елочные игрушки, и все остальные вокруг; самым младшим стал Башлачев, наверное, они гоняли его за небесной водкой и ему выдали Гермесовы крылатые сандалии — чтобы легче леталось из окна...

С ними было не страшно. И за Полю не страшно — от яблока и курицы — выживет ее тело, а от Пушкина и К^о — душа. А потом сделалась вот эта — точно из учебника истории — НЕкровая реформистская революция. Сначала пошатнулось яблоко. Я помню свою первую очередь за яблоками — летом — на Петроградской — я стояла часа два с половиной. Тогда я испугалась — и стала вместе со всеми ждать Гражданской войны.

Пушкин упал, и Яблоко упало. Осталась одна Курица — подозрительно похожая на самолет. Вот мы и полетели.

2

— Ты нам с Лизкой оставила квартиру. И Надьке с братом тоже родители оставили. Вот основная разница русских родителей с американскими. Все равно все раселяются с детьми — после восемнадцати лет. Дети должны идти жить с руммейтами, иначе родители от них с ума сойдут. Но американцы — ну ты знаешь, они НЕ ЛЮБЯТ СВОИХ ДЕТЕЙ, и поэтому просто велят им выметаться с квартиры. А русские — ну, наши эмигрантские родители, они ЛЮБЯТ СВОИХ ДЕТЕЙ — и сами уходят с квартиры. Понятно же, что это очень трудно — найти новую квартиру и снять ее, если ты молодой человек и у тебя еще нет работы и кредитной истории. И новая — всегда будет дороже. В русском комьюнити принято — детей оставлять в квартире. А американцам — по фигу.

Она, не задумываясь, произнесла две известные идиомы про детей, только евреи превратились в русских, а англичане в американцев.

— А китайцы? Родители вашей Карины?

С ними жила девочка из семьи китайского императора — родители были миллионеры, а девочка с восемнадцати лет жила в Квинсе с Лизой и Полей, в проходной комнате.

— Обожают! Ты что! Они нам каждое воскресенье завозили полный холодильник китайской еды! Все сырое — свежее из Чайна-тауна. Чтоб мы учились готовить! Она нас учила — китайскую готовить, а мы ее — печь русские пирожки.

Я никаких пирожков печь не умею. Это дети прибежали, насмотревшись на китайскую принцессу к моей маме с криком:

— Немедленно учи нас печь пирожки! А то Юлия говорит, что мы вырастем яппи-женщинами, которые не знают, что макароны надо класть в кипящую воду!

Там у них — мир эмигрантских детей — с испуганным культом готовки, идеи Вечной Женственности и прочих дряхлых ценностей Старого света, видимо все страхи эмигрантских родителей — одинаковы. Ну, тех — которые согласны — не ходить в английский клуб. И даже не бояться, что их дети туда не будут ходить.

А бояться только за язык. За песни, всякие там глупые пирожки.

Брайтон бич и Чайна-таун, там всегда пахнет рыбой и много неправильно одетых людей, которые плохо говорят по-английски... и **ЛЮБЯТ СВОИХ ДЕТЕЙ**.

Я не уверена, что ребенок должен быть счастливым. Иногда я встречаю не особенно счастливых и при этом очень хороших детей. От одиночества у детей здорово развивается фантазия.

Но детство — такая тяжелая пора — сама по себе, что и без войны, и без родительской установки насчет того, что нефиг тебе быть счастливым — ты все равно очень часто бываешь несчастным. Мир прыгает на тебя с первой минуты. Как пес на плечи. То лизнет, то укусит. И лает, зараза!

МИР — С САМОГО НАЧАЛА — ВОЙНА. А за спиной — хорошо, когда **ТЫЛ**. У меня осталось от детства чувство непрерывных военных действий (то атака — то оборона, то засада, то осада) с надежным, никогда не предающим тылом за спиной. Наверное, меня баловали, но это было «все снаряды — фронту!».

«Ля Гвардия» — уникальное место. Там собраны со всего Нью-Йорка талантливые дети: художники, актеры, танцоры, певцы и музыканты — от классических до рокеров и джазистов. Учатся там от 14 до 18 лет, но некоторым приходится учиться гораздо дольше. Дело в том, что в Америке никаких троек никому не натягивают. А просто не выдают аттестат зрелости, пока ты не сдашь все, что положено, но зато и посещать школу не возбраняется лет до двадцати двух, кажется.

Это бесплатная городская школа, но в нее нужно сдавать экзамен — по искусству. Каждый сдает по тому про-

филю, на который поступает. Там учатся дети многих нью-йоркских «артист» и дети почти всех русских художников. Ну, кто не жалеет своих крошек — те сдают их в «Стайвессон» — школа такого же типа, но не по искусству, а по науке, и экзамен там — сложнейший.

В «Стайвессон» очень тяжелая программа, и наркотики там в моде тяжелые и дорогие — кокаин например, а у нас, в «Ля Гвардии», все больше курят траву — по бедности. Но моя Поля как-то быстро, лет уж в 15, докурилась до галлюцинаций, слезла с моей помощью (я чуть с ума не сошла от ужаса, но описывать это неинтересно), и к тому времени — в 16 лет — она была уже убежденный и стойкий враг наркотиков и даже к спиртному на всякий случай не прикасалась.

В школу ходить она любила, но категорически отказывалась посещать почти все занятия, кроме пения (на вокальном факультете она как раз и училась) и английского языка. У них там была чудная компания — утром они встречались и шли себе в Централ-парк на Земляничные поляны — сидеть там и балдеть. Это летом, а зимой — в там же стоящий «Данкен донатс» — это значит «Дунканова пышечная».

В общем, меня вызвали в школу, потому что со мной возмечтали побеседовать учителя физкультуры и математики.

Первым был учитель физкультуры — вид его меня поразил. Сама-то я отказалась ходить на физкультуру еще в первом классе и проявила в этом отказничестве стойкость, не уступающему какому-нибудь вору в законе, в результате мне сначала достали фальшивую справку, что я чем-то больна, а потом, в восемь лет, я и вправду тяжело заболела, и вопрос о физкультуре был снят раз и навсегда. Но учителей физкультуры я помню хорошо — это были или здоровые дядьки-бугаи, или красавицы-спортсменки, ну такие женщины по имени «Светка» — эти были обычно веселые и добрые, а бугаи (такой мне и попался в первом классе) — злые.

Полин учитель физкультуры был очень худой, маленький нью-йоркский еврей — очкарик, с огромным носом и каплей, свисающей с этого носа. Кроме того, он явно был истерик — сразу начал, истерически взвизгивая, орать тонким голосом о том, как это ужасно, что дочь моя не ходит на физкультуру, физкультура укрепляет здоровье, вот он, например, с детства был очень больным ребенком, но превозмог себя, укрепил свое тело с помощью физкультуры и стал могучим богатырем, а теперь он преподает физкультуру, чтобы помочь другим.

Капля от этого крика упала с его красного носа и на нем немедленно стала скапливаться другая. Поля — очень высокая крупная девочка, похожая на греческую статую, стояла рядом со мной и мрачно глядела на него.

— И при этом он все время трогает всех девочек руками. А мне — противно!

— Понятно. Ну, теперь показывай математика. Вот этому бы математику преподавать...

— Математик — индеец. Он никогда на уроках не говорит ни о какой математике — а только целыми днями о том, как Большой Белый Брат обидел его маленький народ. Я-то тут при чем? И вообще рассказывает все время, что индейцы лучше белых, чище и все такое.

В это время мы уже дошли до кабинета математики, и я увидела огромного индейского детину, как из «Полята над гнездом кукушки», — такому бы преподавать физкультуру.

С ним я решила не разговаривать. Мы с Полей пошли сразу к директору, где нам любезно объяснили, что во всех случаях жизни, даже если Поля завтра исправится, ей придется посещать эту школу лет эдак до двадцати одного, чтобы сдать все «хвосты», которые она накопила. И они советуют ей уйти на «Джи и ди программ» — это такие полугодовые заочные курсы — эквивалент школьной программы. Они сказали, что дадут ей хорошую характеристику, и потом при поступлении в колледж — тоже.

3

Выгнанное из школы дитя я пристроила барменшей в еще одно место, которое мне доводилось посещать, — в «Оранжевый медведь». Это был огромный уютный бар с бильярдом и полумраком прямо возле Ворлд-Трэйд центра, и владел им печальный зеленоглазый серб Витя. Витя был вдовец, оставшийся от русской балерины Калерии Федичевой. Все это — наследство Кости Кузьминского, и там, в «Медведе», Костя вместе с другими русскими художниками организовал арт-партию «Правда». Они начали делать всякие выставки — с переменным успехом, но, по крайней мере, это место стало явно русским.

Грустный Витя в меня влюбился, но я не согласилась, — потому что серб не серб, это еще до всякого Павича было, а все ж иностранец! А любовь моя к дружбе народов — она метафизическая и никак на жизнь тела не распространяется. Но зато я по благу устроила несовершеннолетнюю Полю туда в барменши — там почти каждый вечер была классная музыка. Поля сама певица — училась на меццо-сопрано. Я подумала — пусть слушает хорошую музыку и заодно осваивает полезную нью-йоркскую профессию. К тому же Витя тоже жил в Квинсе и мог ночью подвозить ее домой. Правда, через полгода он ее все же выгнал — страшно извинялся передо мной, но я была потрясена, что он вытерпел ее столько времени. Из Поли получилась поистине уникальная барменша.

Бармены в Нью-Йорке бывают двух видов: первый — это молодая красотка, всячески играющая на своей сексуальности. Второй — это некий доморощенный философ, проповедник за стойкой, приваживающий народ своим интересным триндежом. И вот — Поля. Краса-девица в мини-юбке (она в свои шестнадцать выглядела на хорошие двадцать пять), и при этом — философ. Все это было бы здорово, если бы не тема Полиных философских изысканий. Ее в ту пору больше всего волновало

собственное освобождение от привязанности к травке и алкоголю. Она была, что называется, девушка с большим опытом. И, стоя за стойкой, организовала некий филиал «Анонимных алкоголиков» — то есть целыми днями она рассказывала своим клиентам-выпивохам о вреде пьянства. Она говорила:

— Ну и что ты тут сидишь? Что ты тут высидишь? Жизнь твоя проходит за этой стойкой! Нет, больше я тебе не наливаю. Два дринка за вечер — вполне достаточно! Зови, зови свою полицию! Не видишь, что у меня за спиной написано: «Бармен имеет право отказать в алкоголе каждому, на свое усмотрение». Что значит — трезвый? Это я буду решать, трезвый ты или нет. Посмотрите на него, люди! Разве трезвый человек будет так материться? Так орать на *бедную* девушку!

Можно себе представить, как от нее шизели эти несчастные ирландские алкоголики, которые бухали себе уже пару лет в этом тухлом, но родном «Оранжевом медведе», и вдруг вот такой ужас свалился им на голову! При этом она отчаянно храбрая — это у нас семейное, от бабушки — балтийского матроса. В общем, через полгода Витя все же не выдержал. Но в ту пору она еще работала. Зарабатывала около столбика в неделю, и это были ее собственные деньги на личные нужды.

4

В один прекрасный день отсутствие нормальной работы, денег, любви и дружбы смешалось в моей душе с тремя порциями коктейля «Блек рашн» (жуткая вещь — водка с кофейным ликером!) и привели меня к мысли, что жить на этом свете у меня более нет сил. Мне уже давно хотелось уснуть и утром не просыпаться — но самой себе я не признавалась — ведь если признаться, что находишься в такой тяжелой депрессии, то вроде надо что-то делать — ну к доктору идти, а он что? Япповские таблетки счастья выпишет! Ничего такого мне было не нужно, и, определив наконец свое состояние

как суицидное, я просто стала обдумывать время, место и способ своего будущего ухода из жизни. Все это я придумала очень быстро и решила посоветоваться с Полей — единственным в ту пору другом.

— Я считаю, что самоубийство самоубийству рознь. Одно дело, когда истеричная дамочка пьет горсть снотворных таблеток или режет себе вены от того, что ее бросил очередной Гастон. Это грех, конечно. И вообще — минутная слабость, которой не стоит доверять. Но если это решение принимает в совершенно спокойном состоянии взрослый человек, просто уставший находится на этом свете и желающий отправиться куда-то в другое место? Вот я, например, — я верю в то, что после смерти мы едем куда-то дальше. И мне, Поля, очень тяжело ТУТ. У меня, в общем-то, почти кончились силы. Я прожила очень чудную, яркую жизнь, от меня останется много чего — и картины и песни, и ты — такая замечательная, но я — устала. И вот что я решила — ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ, когда тебе исполнится двадцать один — и ты уже будешь взрослая, я покончу с собой. Я поеду в Россию, и это уж будет последняя проверка — вдруг я найду там любовь, и мне станет хорошо. Тогда я там и останусь. Но на самом деле — это нереально: жилья у меня там нет, все меня забыли и никому я там не нужна, как впрочем, и тут...

— Мне ты **ОЧЕНЬ** нужна!

— Так не сейчас же! Сказано — через пять лет. В общем, увидев, что я и там никому не нужна, я поеду на Кавказ, заберусь на какую-нибудь высокую гору и брошусь вниз. Это будет не страшно и не больно. Можно ведь мне так поступить, правда? Ты меня простишь, если я так сделаю?

— Я тебя понимаю, я тебя прощу, а мама?

— Вот насчет родителей я все тоже продумала. Тебе придется для этого немножко изучить буддизм. Родителям наврем, что я ушла в буддийский монастырь. Как муж Наташи Козловой. И не хочу никого больше видеть. А ты будешь писать нашей маме письма от меня из этого

монастыря! Всю жизнь, пока они не умрут от старости. Они никогда не должны узнать правду. Будешь?

— Буду.

— Значит, ты согласна, что человек имеет на это право?

— Конечно, согласна... Слушай я пойду спать, ладно? А то у меня голова что-то разболелась.

Я тоже пошла спать. Это была пятница. Немножко еще успела подумать перед тем как уснуть: «Какая у меня Поля все же неэмоциональная. „Голова разболелась...“ Другая бы сказала: „Мамочка, не надо!“ Да она и не зовет меня мамочкой, а только Юлей. Мамой и папой она зовет моих родителей. Моя сестра Лиза старше Поли только на два года — вот и выходит, что они вроде как сестры, а я — старшая сестра. Ну, в общем, кажется, все прошло нормально и можно будет через пять лет спокойно умереть. А уж пять-то лет — ерунда, это я вытерплю. Дотяну Полю до колледжа и даже до аспирантуры. А жить-то мне ясно, что больше незачем, — я лузер — неудачница во всем, и художник я никакой, и дизайнер хреновый, и друзей у меня нет, и любовника нет — и все меня считают сумасшедшей, и мама меня больше не любит... и жить я тут больше не могу! Все — еще пять лет, и конец...»

Тут я и уснула. А утром выхожу на кухню — там, на столе, лежит стольник и записка:

«Юля! Ты вчера что-то взгрустнула. Вот тебе сто долларов — пойдешь в „Самовар“, выпей, развейся. Или пойдешь купи себе какой-нибудь подарок. А то у тебя плохое настроение. Поля».

Это была как раз вся ее зарплата за неделю.

И тут я поняла, что я никакой не лузер — потому что одну работу в своей жизни я кажется, уже выполнила, и кажется, на пятерку. Какой же я после этого лузер? И как же я могу помирать, ведь ясно же, чем мне надо заниматься — мне надо растить каких-нибудь детей — надо идти в няньки или в гувернантки. Выращивать еще вот таких Полин. Совсем расхотелось помирать.

5

Пойдем, Поля петь. По-хорошему — бутылкой по голове они не понимают. Надо пойти и рассказать им про Русскую идею. И вообще, что козлы они. Я, конечно, очень храбрая, но петь-то я не умею, так что пойдем — будешь петь со мной хором.

В общем, это был уже не первый случай, когда Бедная девушка чувствует, что ей открылась высшая истина, и надо по этому поводу что-то делать. Была уже одна чудная девица, которой под деревом что-то там сообщили голоса.

— Говорить тоже?

— Только петь. Говорить, не бойся, я сама буду. Ты только стой рядом со мной, а то страшно.

— Пошли!

Поля почти все мои песни знала. Я договорилась с сербом Витей на какой-то неходовой будний день. Никаких гитаристов тогда не было. Я и Поля.

Ну, Поля хоть меццо-сопрано.

А я — отродясь дальше своей кухни не пела. Ладно, думаю, чего мне терять-то? У меня устоявшаяся репутация Городской Сумасшедшей, не хуже Чацкого. Нечего бояться — пора скакать к осажденному Орлеану.

6

Выяснилось, что при поступлении в колледж все дети с этой «Джи и Ди» автоматически приравниваются к двоешникам, и надо было не выпендриваться, а идти по стопам моей сестры Лизочки, которая училась в той же школе, двумя классами старше — на художницу, и невозмутимо, не теряя чувства собственного достоинства, посещала какие-то отдельные классы как раз до двадцати одного года.

В общем, Поля, что называется, попала, и когда через год дело дошло до колледжа, выяснилось, что ни в один приличный ее не берут и денег на учебу нигде давать не хотят. Она посылала свои документы в одно место за

другим — и всюду отказы. Наконец она пришла ко мне радостная, размахивая бумажкой:

— Вот, эти меня взяли! Я была уверена, что возьмут. Они прислали анкету на специальную программу «Возможность» — это для детей, у которых были трудности со школой. Им надо было послать эссе на тему «Почему я бросила школу», я им ТАКОЕ написала, что ясно было, что они меня возьмут.

— Ты мне об этом ничего не рассказывала. Интересно, обычно ты мне все рассказываешь и показываешь...

— Ну, знаешь, я не хотела тебе показывать, боялась, что ты немножко обидишься...

— Я?

— Ну, начало там такое, — Поля начала декламировать с выражением: «Когда мне исполнилось 16 лет, моя мать, хроническая алкоголичка, спилась окончательно и выгнала меня из дома. До школы ли мне было? Пришлось с шестнадцати лет тяжелейшим трудом зарабатывать себе на хлеб...» Ну и дальше в таком же духе.

— Как тебе не стыдно! Кто алкоголичка? Это мои пару дринок в «Самоваре»? Ты же знаешь — мне было так тяжело...

— Да при чем тут это! Юля! Я же знаю, что ты никакая не алкоголичка. Но мне же нужно было, чтоб меня взяли туда. И, в конце концов, я же поступаю на писательскую программу. Могла я проявить фантазию? Я посмотрела, как пишут всякие знаменитые актрисы и рокеры про свое детство в журналах, и написала!

— А если я приеду тебя навестить?

Зачем? Зачем тебе ездить в эту Аи Тейт Нью-Йорк Онианту? Я буду приезжать каждые каникулы. Ну в крайнем случае скажем, что ты поступила к «Анонимным Алкоголикам» и вылечилась. Приняли! И деньги дадут. Потому что в графе «Расовое происхождение» я написала «Рашн блэк»!

— Чего?

— Рашн блэк. Там есть три варианта: «вайт», «блэк» и «хиспаник». Ты же знаешь, «блэк и хиспаник» идут со-

вершенно по другой линии — по «Аферматив экшн», там всякие привилегии в поступлении и в деньгах. Вот я и подумала, если есть «рашн джувс», то почему ж не быть «рашн блэк»? **ТЕМ БОЛЕЕ ВОЛОСЫ У МЕНЯ, ПОЧЕСТНОМУ, НЕГРИТЯНСКИЕ...**

— А если они тебя спросят, где живут эти русские негры?

— Это я еще не придумала.

— Отвечай, что «рашн блэк» живут в Абздекии. Запомни — **АБЗДЕКИЯ**. Это маленькая горная республика на Северном Кавказе. Там живут абздэки — это и есть русские негры.

— А есть такая республика?

Я даже не пытаюсь ее пристыдить — в Америке географию отменили раз и навсегда, интересно — **ЧТО ОНА ИМ СДЕЛАЛА?**

Потом Поля поехала в эту Онианту в специальную летнюю школу перед колледжем. В этой программе «Возможность» она оказалась не только единственной белой девочкой, но и единственной, кто умеет нормально читать, писать и даже говорить по-английски. Там были собраны всякие трудные дети из плохих семей, но с проблемами таланта и мозгов. В этой летней подготовительной школе их заново учили учиться. Поля говорила, что это напоминает детский сад. Потом она опять позвонила, страшно довольная собой:

— Знаешь, я очень не хочу иметь руммейта. Но думаю, мне и не дадут. Сегодня мы должны были заполнить специальные анкеты, у кого какое хобби. В общем, я написала, что изучаю «Викку» — ну, ведьмовство, и любимое мое хобби — это по вечерам после занятий вываривать у себя в комнате, в кастрюльке, трупы некрупных животных — например лягушек, белок или крыс... Они там определяют кому с кем жить — по тому, у кого какое хобби. Думаю, что я буду жить одна.

Не тут-то было! Через дня три — поздно вечером звонок:

— Юля! Они поселили со мной **ТАКУЮ** девочку! Она вся в татуировках с ног до головы. И вся проколота! Я боюсь ее!

На самом деле, соседку Поле подобрали вполне удачно — они очень даже потом подружились.

Но на следующий год Поля уже жила одна — у нее там началась головокружительная карьера в этом колледже, на следующее лето ее уже поставили преподавать в летней школе, потом она все время была ассистенткой у всяких педагогов и даже президентом местного студенческого Пен-клуба. Я каждый год получала за нее почетные грамоты и всякие «Листы Чести».

Позже, «отслужив» Онианту, Поля вернулась в Нью-Йорк и поступила в адвокатскую аспирантуру, объявив, что устала от бедности и хочет иметь возможность много зарабатывать, и семья ее поддержала в этом начинании.

На самом деле — не важно, богат человек или беден. Просто одни и те же качества называются по-разному. У богатого — жадность, у бедного — прижимистость. У богатого — нахальство и наглость, у бедного — гонор и обида. А все хорошее — даже и называется одинаково.

7

— Поля ты любишь Америку?

— Американскую идею? Конечно, люблю.

— А какую идею?

— То, что она принимает в себя всех. Эмигранты. Первая зима — вот идея.

— А ты не думаешь, что от этой бесконечной Первой зимы — когда нет ни табуретки, ни тапочек, ни йода, ни открывалки для консервов, они полностью заклинились на жизни тела?

— Конечно. Но идея была не в этом. Я люблю — американскую идею.

— А Америку?

— Нью-Йорк? Люблю, конечно.

— Ну вот вы — центровые нью-йоркские ребята, а расслабиться вы можете? Жить вам легко?

— Нет. Конечно, в Н.У. нельзя расслабиться. Тут тяжело.

— А в России...

— Где в России? В Москве — тоже нельзя!

— Москву не бери — это наша русскоязычная заграница. Питер...

— Питер — это не пример. Питер, может быть, лучшее место на земле. При чем тут Россия и Америка? В Вермонте можно расслабиться. В маленьких красивых городках. Где ходят старые хиппи-интеллектуалы.

— А где ты хочешь жить?

— В Питере и в Нью-Йорке.

— А кто у тебя свои-наши?

Тут все-таки молчание. Пару минут.

— Дети эмигрантов в Нью-Йорке. Ну, такие, которые ходили в специальный класс «английский — второй язык». Артистические дети эмигрантов. Из разных стран, но самые свои — русские. Артистические дети русских эмигрантов. Ну, русские ребята из «Ля Гвардии».

— Евреи? Больше свои?

— Нет. Это совсем не важно.

— А как же антисемиты?

— Нету. Есть белые супрематисты — они всех ненавидят. И всех эмигрантов.

У нас в компании — желтые, черные и дети эмигрантов. Русских супрематисты страшно ненавидят. Больше даже, чем евреев. Слушай, у нас такая компания — мы все дети, которых били в школе. Меня — там, в Индиане. Не за то что русская и не за то что еврейка, — за то, что чудюдо из страшного, ненавистного Нью-Йорк города.

За то, что «москвичка». В общем, да?

— Да!

Про тебя я знаю, но остальные в вашей компании... красивые, высокие, отчего били?

— Да, а бьют маленькие, низенькие... Всегда есть лидер, и бьют тех, кто не согласен идти под лидера.

— Я тоже всегда была не согласна. Меня не били. Просто не принимают, и все. Да, в общем, до сих пор. Но ты права, из таких, кого не принимают, тоже делаются компании.

В таких компаниях никого не травят...

8

В одиннадцать лет, в Мид-вест Индиане, им дали задание-проект: исследование какой-нибудь проблемы на двух реальных примерах.

Поля сделала проект «Исследование злодейства. Гитлер и акула-людоед».

— Какая ты глупая! Акула — животное. Она не нарочно!

— Ты не знаешь! Она полная сволочь! Никто так себя не ведет. Все остальные акулы ведут себя прилично.

— А что Гитлер? Если бы ты встретила его, пятилет-него, и знала б, что это Гитлер, а у тебя был бы пистолет, убила бы его?

— Нет, конечно! Я бы его УКРАЛА!

— Откуда?

У его родителей, и привела бы к нам, чтобы ты его воспитывала. Он бы не вышел никакой Гитлер, а вышел бы хороший художник.

9

Стихотворение, написанное Полиной в нью-йоркском метро.

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ТУННЕЛЬНАЯ КРЫСА

О чем мечтает туннельная крыса,
Пока она спешит по темным туннелям метро,
вечно избегая смертоносных поездов,
которые когда-нибудь разрежут ее пополам?
Пока она ест мусор и падаль,
Пока она отравляется ядом,
выложенным для неё как лакомство людьми.
Пока она умирает в бою со своими.
Почему она живет в туннелях?
Всегда черных, всегда оглушительно-громких
туннелях.
О чем может мечтать туннельная крыса,

избегая смертоносных поездов,
которые когда-нибудь разрежут ее пополам?
Эта уродская тварь, которая противна нам так,
что мы даже не затоптали бы ее под ногой.
Этот низкий вредитель,
который несет с собой смерть и чуму.
Как мы ненавидим крысу.
С ее морщинистой серой кожей и скользящим
хвостом.
Какие мечты может иметь она?
О чем мечтает туннельная крыса?

Она мечтает о солёном воздухе моря.
О нежном покачивание волн.
Она мечтает о древесине и матросах.
О тишине, оставшейся от грома.
Но иногда она мечтает о фарфоровой гладкой
коже.
О благодати.
О крыльях.
Иногда она мечтает быть ангелом.

Одна девочка

Китайское полотенце с тигром покрылось мелкой песочной пылью. Тигр недовольно огрызнулся: то ли песок в глаза попал, то ли Наташа опять уронила липкий абрикос на его ухо. Песок становился все белее и белее от солнца. Наташе нравилось погружать в него пятки, тогда они становились очень горячими, Наташа визжала и опять забиралась с ногами на тигра.

— Наташенька, давай в тенечек, — раздался над ухом голос бабушки. — А то перегреешься. У нас во дворе одна девочка так перегрелась, что на «скорой» в больницу отвозили...

«Одна девочка» появлялась в жизни Наташи постоянно, и всегда с ней что-нибудь случалось. То она наступала на пчелу и потом две недели не могла ходить, то она глотала соленую воду и у нее сильно болел живот, то она падала с велосипеда и разбивала локти и колени. Но самое ужасное с ней происходило, когда она шла ночью в парк. Из кустов выползали злые люди и резали ее своими ножами.

— Да, Наташ, иди ко мне, — сказала мама. — Хочешь абрикос?

Наташа уткнулась носом в мамино плечо. Гладкое, прямо как то дерево. Когда Наташа с мамой и бабушкой ездили в Ялту, там было одно дерево с очень тонкой корой. К нему нельзя было прикасаться. Если его потрогать, то оно покрывается ранами. Наташа опасно посмотрела на мамину кожу. Вроде бы все в порядке.

Бабушка сидела на коврике неподалеку и читала книгу «В ог-не стра-ти». Что такое «страсти», Наташа не

очень понимала, но ей казалось, что раз в огне, то наверняка это большой пожар на корабле. Матросы бегают по палубе и заливают мачту морской водой. И среди них бабушка в огромной шляпе с фиолетовым цветком, в синем купальнике с белыми полосочками. «Полный вперед!» — командует бабушка.

— Ты абрикосы вчера покупала? — спросила мама. — Какой-то у них странный вкус.

— Да, — гордо ответила бабушка. — На рынок ходила, такие хорошие попались. А сегодня помыла их «Фейри», собрала в пакетик...

— Господи, а «Фейри»-то зачем?

— Ну как же. «Фейри» микробы убивает. А то здесь на юге кишечная палочка, стрептококк, гонококк.

— Мам, прекрати.

— А что, не так, что ли? Наташенька, иди сюда, дай я тебе почитаю.

Наташа подумала, что бабушка будет читать ей в «В огне страсти» и замерла от восторга. Но бабушка открыла «Незнайку». Незнайка и его друзья попали в больницу. Синеглазка и Медуница лечили их медом вместо того, чтобы давать касторку. «Одежду у всех отобрали, выдали по носовому платочку. Лежи и сморкайся, вот и все удовольствие», — читала бабушка.

— Ба, а зачем малышей положили в больницу. У них же ничего не болит? — спросила Наташа.

— Ну как же, они же разбились на воздушном шаре. У всех синяки и шишки. А вдруг столбняк?

— А что такое столбняк?

— Это когда лежишь, температура высокая, все болит. Потом начинаются судороги, дрожишь весь. Потом за тобой на скорой приедет дядя доктор, и будет больно колоть уколы. Вот когда я была маленькая, у нас одна девочка напоролась на гвоздь, подхватила столбняк и умерла.

— Насовсем?

— Насовсем.

Наташа грустно вздохнула. И девочку было жалко. И умирать не хотелось. Особенно насовсем.

— Что ты ее пугаешь? — спросила мама. — Наташ, пошли купаться.

— У бережка, у бережка плавайте, — напутствовала бабушка... Дальше течение холодное. Вот у нас был случай...

Мама учила Наташу плавать. Она выставляла вперед руки, и Наташа ложилась на них. Наташа представляла себя большой рыбой с двумя хвостами и била этими хвостами по воде. А еще она крутила руками как мельница. Иногда вода поднимала ее наверх, и Наташа совсем чуточку плыла сама. А потом переворачивалась на спинку и смотрела в мамины морские серо-зеленые глаза.

— Ма, а ведь девочка которая заболела она не умерла совсем?

— Не знаю, Наташ, не знаю.

— Наверное нет, — сказала Наташа. — Маленькие девочки совсем почти не умирают. Умирают старые тетьки и дяденьки. А потом вырастают из могилки как деревья.

Мама ничего на это не ответила, но вспомнила, что пора ужинать. Она вынесла Наташу из воды и растерла своим пушистым полотенцем. Бабушка покидала вещи в матерчатую сумку, а потом все пошли домой. Дома Наташу накормили борщом, в раскаленной красной воде которого плавали водоросли капусты. Они прилипали к скалам картошки. Потом Наташа немного порисовала цветными карандашами, посмотрела мультфильм про пингинов и легла спать.

На следующее утро бабушка как всегда пошла на базар и вернулась оттуда очень мрачной.

— Все, закончились ваши купания. Людмила Никанорова сказала, что у них мальчик через два дома заболел. Температура под сорок, весь красной сыпью покрылся. А вдруг корь?

— Что же нам теперь, дома сидеть — возмутилась мама. — Кроме того, Наташе делали прививку от кори.

— Прививки эти только чтобы эпидемии не боялись. А она есть, потому что в поликлиниках детям вместо

прививок физраствор колют. Ну идите теперь, целуйтесь с этим мальчиком, раз такие бесстрашные.

— Ладно, не ворчи, — пробормотала мама. — Посидим пока.

День прошел очень грустно. Наташа попыталась мелом нарисовать на паркете классики, но бабушка ее отругала. Потом она рассыпала муку, которую мама купила для сырников. Бабушка пыталась читать Наташе «Незнайку», но потихоньку закрыла глаза и стала посвистывать, как чайник. Мама приготовила все сырники и пошла с Наташей посидеть на лавочке в саду.

— Смотри, какие звезды на небе. Смотри, это Большая медведица, а это Малая, — говорила мама.

Мама провела по небу рукой, и там появились белоснежные медведица с медвежонком.

— А вот там видишь, Полярная звезда, — показала мама на яркое пятнышко на хвосте у медвежонка.

— А на звездах люди живут? — спросила Наташа.

— Может живут, а может и нет.

— А кто там живет? Те, которые еще не родились? Те, которые умерли? А девочка там живет?

— Какая девочка?

— Та, при которую бабушка рассказывает.

— Нет никакой девочки, — устало сказала мама. — Нет и не было. Пойдем спать.

Наташа сразу заснула а приснились ей звезды. Сначала звезды были очень спокойные и тихие, дружили со всеми, а потом вдруг разошлись стали громко кричать друг на друга. Наташа открыла глаза. В комнате было очень темно, а из-за двери доносился рассерженный бабушкин голос.

— Никуда вы не пойдете! Ни завтра, ни послезавтра, — злилась бабушка.

— Оставь нас в покое. И меня, и Наташу, — говорила мама.

— В покое? Уж оставляла! Вырастила девку: ни профессии нормальной, ни семьи. Художник от слова «худо». Отец тебе квартиру подарил, я в контору нашу

пристроила. Слабая ты, поэтому и Борька тебя на седьмом месяце бросил. Слабая и никчемная соплячка.

Мама вдруг замолчала, а потом из-за двери раздался вой. Так выл на остановке чумазый лохматый пес, который потерял хозяина. Наташа очень испугалась, потому что никогда не слышала, чтобы выл человек. Она закрыла уши руками и сидела так долго-долго. А когда убрала руки от ушей, то услышала, что в окно кто-то постучал.

В темноте было плохо видно, поэтому Наташа приблизилась к окну и открыла его. За окном стояла смешная девочка с тоненькими косичками и платьем в синий цветочек. А глаза у нее были серо-зеленые как у мамы.

— Ты кто? — спросила Наташа.

— Кто? Я девочка, про которую бабушка рассказывала. Только все это неправда. Я упала с велосипеда, и мне было совсем не больно. И в парке гуляла ночью, и никто не хотел меня зарезать. А потом наступила на гвоздь, помазала медом где болит, и все быстро прошло. И даже со страшным львом играла, а он оказался добрый и меня не укусил.

— Я так и знала, — улыбнулась Наташа. — А ты как сюда пришла?

— А я около моря живу, под старой лодкой. Хочешь, тебе покажу?

— Конечно!

Девочка протянула Наташе руку и помогла ей спрыгнуть в на улицу. Они быстро пробрались через колкие кусты и побежали по асфальтовой дорожке. Дорожка грелась в теплом свете, который на нее лили фонари. А за фонарями все было как будто черное-черное, поэтому туда Наташа старалась не смотреть. Она крепко держалась за руку девочки и бежала к морю.

Песок на пляже оказался очень мокрым. Темное море набегало на песок, быстро хватало блестящие камушки и убегало обратно. Наташа и девочка легли на лодку и стали смотреть на звезды.

— Значит, дети не умирают.

— Никогда, — сказала девочка. — И мы с тобой теперь будем жить на пляже, ловить рыбу. А потом придет большая лодка, и мы уплывем очень далеко.

— И маму с собой возьмем?

— И маму.

Наташа посмотрела вверх. В небе плыл облачный корабль со звездными парусами. С корабля спустилась тонкая лесенка. Она была совсем близко, и Наташа протянула руку вперед...

— Наташка, куда убежала, дрянь такая!

Наташа увидела раскаленные бабушкины глаза и жесткую ладонь, зависшую в воздухе.

— Не трогай ее, — закричала мама.

Она быстро подхватила Наташу с лодки и, спотыкаясь, побежала по песку. Море и звезды прыгали вверх и вниз, а бабушкины крики уже почти не было слышно. Наконец мама опустила Наташу на песок, встала на колени и обняла крепко-крепко.

— Меня нельзя бить, даже бабушке. Я маленькая, — прошептала Наташа.

Мама заплакала и прижалась к Наташиному лбу горячей щекой.

— Обе мы с тобой маленькие. Обе мы с тобой...

ТЭГИ

ТЭГИ

— А у меня тэги есть?

Мама пила чай и смотрела в окно, казалось — в свое прошлое. Улыбнулась, ответила тихо, будто извиняясь:

— Не знаю... Теперь не у кого спрашивать.

— Так почему ты не спросила, когда он был жив? Мы даже вместе к бабушке ездили!

Мама растерянно пожала плечами:

— Даже в голову не приходило. Тогда ведь еще ничего не подтвердилось... А потом, в наше время корейцы уже в такое не верили, даже в селах.

Эх! Ну как так... Как здорово было бы знать, особенно сейчас! Нет, не буду ей про ипотеку рассказывать, незачем волновать. А вслух сказала:

— Жаль. Ведь все, что бабушка предсказал, сбылось, правда?!

Мама промолчала. Факты были налицо.

Платье-радуга

Даша затянула узелок и обрезала красную нить. Взяла оранжевую и начала новый ряд. Она вязала радугу.

Рукодельничать девочка научилась сама, по книжкам. Матери было некогда возиться с дочерью, да и свойственный ей яркий темперамент к вязанию не располагал. Вот дояркой она была отличной, куда с добром. Ниток сейчас в магазинах полно, были бы деньги.

И Даша обвязывала сначала кукол, потом украсила салфетками столы и тумбочки, а скатерть бросила на середине — взялась за платье. Платье-радугу. Ей хотелось связать что-нибудь совершенно особенное, такое, что нигде не увидишь! И пройтись по селу красавицей.

Искренне считая себя дурнушкой, Даша не пользовалась ни косметикой, ни прочими женскими уловками. Темно-рыжие, жесткие как проволока, волосы она привычно заплетала двумя змейками, хотя распущенные кудри шли ей куда больше. Если бы подкрасить те мной тушью блеклые ресницы, расправить плечи, ее можно было бы назвать хорошенькой, но сутулиться она привыкла, а пользоваться косметикой не умела.

Даша закончила оранжевую полоску, желтую, взялась за зеленую, потом — за голубую...

Шли дни. Радуга обрамляла горловину, спускаясь на плечи. Небо связалось золотисто-бежевое, а потом сами собою появились ослепительное золотое солнце, нежные облака, а по подолу новорожденными цыплятами проклюнулись одуванчики в изумрудной траве.

...Даша затянула последнюю петельку переда и радостно улыбнулась. Ей захотелось изменить прическу. Распустила волосы и долго вглядывалась в зеркало, наконец решительно обрезала челку. И сразу ее удлиненное, чуть скуластое личико приятно округлилось, перестал выделяться острый подбородок. Даша даже рассмеялась. Бросила ножницы и принялась вывязывать спинку. На спинке будет космос: звезды, кометы, планеты, солнце.

Работа спорилась, благо основным узором была сеточка. Через неделю девушка закрепила нить и поспешно облачилась в обновку. Скинула тапочки, достала предназначенные для выпускного туфельки — легкие, золотистые...

Вошла мать, всплеснула руками:

— Доча, чудесница ты моя!

Посреди комнаты улыбалось ее солнышко, окруженное радугой и облаками.

Мать взяла щетку, расчесала медные дочкины волосы, а потом принялась завивать крупной плойкой. Выпотрошила косметичку, нашла коричневую тушь-плевалку и, преодолев Дашино сопротивление, накрашила и подогнула ресницы. Отошла в сторонку, поглядела.

— Красавица ты у меня! Прямо невеста! — выдохнула восхищенно. — А ну, давай на улицу!

Накинула праздничную шаль, поправила прическу и гордо поплыла с доченькой к центральному магазину.

Никогда еще Даша не была окружена таким вниманием. Татьяна-модница обзавидовалась, а заносчивая Кристина стала упрашивать связать и ей! Даже ребята оценили — проводили восторженными взглядами.

...Вечером, засыпая, Даша прошептала матери: «Следующее платье тебе свяжу. Будешь у меня весною! Знаешь, много-много розовых, голубых и белоснежных цветков, листья изумрудные, а между ними яблочного цвета ленточки атласные тонкие-тонкие... Красота!»

Дом на окраине

...Мойра стряхнула в кипяток остатки черной муки с ладоней, посолила и принялась размешивать суп деревянной ложкой. Кусочки теста кружились в мутной воде, становясь все прозрачнее с краев. И ей казалось, что в этом горшке существует своя жизнь, протекающая по своим законам... Она бросила в бульон крупно накрошенную луковицу и принялась вылавливать из горшка кусок свиной кожи, чтобы нарезать ее тонкими полосками и разложить по мискам, посыпав толченым чесноком.

Огонь уже почти погас, и угли слабо потрескивали. Мойра была довольна, что ей удалось так точно набрать нужное количество дров. Она разворошила очаг длинной кочергой, вытерла руки о передник и принялась накрывать на стол.

Этот стол запомнился ей еще с детства, когда отец только принес его из сарая, заменявшего столярку. Сто-

лешница пахла смолой и немножко — табаком. А с ее нижней стороны можно было отколупывать маленькие красноватые стружки. Каждую пятницу мать скребла его широким тяжелым ножом и натирала крупным песком.

...После гибели отца мать полгода ходила из угла в угол, бесцельно перебирала старые тряпки, не обращая внимания на забившихся в угол детей... Однажды утром она навсегда покинула дом, и двенадцатилетняя Мойра стала воспитывать братика и семилетнюю сестру одна.

Они наверняка умерли бы с голоду, если бы не корова, которую Мойра берегла пуще зеницы ока. Мойре вспомнилось, как однажды, вернувшись с пастбища, корова даже не притронулась к теплomu пойлу и потом легла, печально глядя детям в глаза... Подобрал холщовый подол, девочка долго молилась, прижимая к груди холодные, в цыпках и царапинах, руки, и Бог услышал ее, и корова осталась жива. Мойра долго не решалась притронуться к ее вымени, пока корова сама не ткнулась мордой, погладив ее ладонь теплым шершавым языком. Мойра отправила детей за свежей травой, и вскоре их уже поджидала долгожданная крынка молока...

С тех пор прошло так много времени, что Мойра даже удивилась своим воспоминаниям, как и внезапно напомнившим о себе родным лицам...

Она разлила похлебку в две большие миски, в одну добавила немного масла, а другую поставила на широкую низкую скамью.

— Обедать!..

Услышав ее голос, в избу вбежал старый лохматый пес и стал бесшумно лакать суп, упираясь лапами в скамью и виляя куцым хвостом.

Красные сапожки

Мальчик был напуган. Он стоял на мелководье, речка уносила его самодельный кораблик, а глинистое дно безжалостно засасывало. Малыш рванулся и выскочил на

берег, оставив сапоги. Бросился было вытаскивать, но испугался и заплакал.

Новенькие, пронзительно алого цвета, с мягкой пушистой подкладкой и удобной «тракторной» подошвой, они были его гордостью и будущими спутниками во всех мокрых весенних забавах. Мамка на день рождения подарила! Он нашел их в шкафу задолго до праздника, и все никак не мог заставить себя спрятать их обратно. Трогал, обувал, даже нюхал. И вот — обновил!

Вечером мальчик почти не притронулся к толченке. Не шалил и рано лег спать. Ночью у него начался жар, и перепуганная мать, напоив сына аспирином, бросилась проверять, сухи ли сапоги. Их нигде не было.

...Мать сидела у кровати, ерошила успевшие выгореть мягкие, почти младенческие, кудряшки и приговаривала:

— Дурачок мой, чего переживал? Куплю тебе другие сапожки. Яичек вон дачникам продам, кролей — и куплю!

— Красные, как у Супермена? — вскинул малой заплаканную мордочку.

— Красные, красные...

Хороший знак

Павлинка не спала ночь. За окном летал снежок, курился золотым дымом вокруг фонаря. Дочке Тине пришлось выдать последние деньги на обувь, и она, купив хорошенькие квадратные, темно-желтые ботинки, ушла с подружкой их обмывать. Настала ночь. Глаза замерзали смотреть во тьму. Тоска не отступала, сжимала сердце так, что не вздохнуть. Ну ладно хоть сын уехал в детский санаторий, может, там его откормят, в бассейне поплещут, на снегоходах покатают! Всё легче. О том, что сын будет скучать, она старалась не думать. Пришел из гостей хитрый, в ленинских лучиках, муж Павлинки и сказал, глядя на ее сгорбленную фигурку у окна:

— Это нормально! Пьет отец, пьет дочь. Когда дочь похожа на отца, это примета! Хороший знак.

— А почему я не пью? — прошептала Павлинка.

— Потому что ты зомби. И ты никогда не делаешь, что хочешь. У тебя вообще бывает что-то хорошее? Удовольствие какое-то? Все преодолеваешь...

Он искренне недоумевал.

Получается — все хотят пить, и пьют, и это свобода, а то, что Павлинка не пьет, — это несвобода. Ну извините. Берите же себе свою свободу, а я беру свою.

Павлинка легла на двух креслах и пыталась спать. Кто-то три раза звонил в дверь, и она думала — это дочка пришла, но напрасно. Там не было никого. Она, бессмысленно крестясь, стояла, думала, открывать или нет. Но помнила, что во время таких странных звонков в дом может проникнуть невидимое. И не открывала. Потом сильно закричали за окнами. Павлинка бросилась выгля-

нуть в окно — там стояли люди из бара напротив, приличные с виду, и орали друг на друга по-английски. Ноги быстро замерзли на полу. Вся она замерзла.

Ой! Громко-то как. Это был звонок из автомата — Тина со смехом говорила, что вот, они сейчас доедят ящик мороженого, и всё, по домам. То есть как — ящик? Павлинка быстро и неправильно оделась, и в сапогах на босу ногу побежала к почтамту, где стояло много телефонов-автоматов. Три или четыре девчонки давились смехом и мороженым на ледяном ветродуе. Увидев Павлинку, скислились и стали разбредаться. У них сразу пропало желание веселиться.

А время после полуночи уже. Тина цеплялась тонкими пальчиками за чугунные перила лестницы и говорила, что домой не пойдет, пойдет только в бар, именно сейчас, завтра в баре уже не будет того, кого надо. Потом легла на лед и все, все, отстаньте от меня, сегодня уже католический Новый год...

— Люди! — слабо крикнула Павлинка. — Помогите!

Но редкие ночные люди только косились на нее. У нее было горе, у них была свобода от горя, вот так вот. Как воспитывала — так и разбирайся.

Потом бесконечная дорога, упирающаяся Тина, немой плач Павлины. Усталость. И тишина комнаты, где только будильник тикает, укоряет... Ручки Тины, слишком маленькие, как лапки австралийского зверька, сложенные на груди с криво сдвинутой, не переодетой на ночь кофточкой. Бровки ее, вечно насупленные, разгладились и парили на высоком лбу. «Ты, царица Тинатин...»

Павлинка видела обрывки снов, но в каждом сне кто-то обижал ее, и она, торопясь убежать, проснуться, возвращалась в свою не менее грустную ночную действительность. Это был бытовой слой жизни, такой и никакой другой, он не менялся, он понемногу разрушал ее, отучая веселую Павлинку любить жизнь.

Если раньше ей было все нипочем, то теперь она шархалась ото всего. От телефона, от стука у соседей. Любят люди в час ночи мебель двигать.

И совсем другая жизнь была на работе.

Например, она на работе одна в приемной копирует документы и видит в зеркале свои беспощадные круги под глазами. «Наверно, все видят», — смущается она. В приемную входит Зимин. Он молодой, с крутым ежиком и в своей вечной джинсовой жилетке с десятью карманами. Но он тоже все видит и понимающе улыбается. Порывшись в папке, протягивает диск.

— Слышала про вирусы? По сети так и сыплют. Не забудь поставить защиту. И на английском всякий мусор сразу кляй.

— В нашем отделе, кажется, стоит что-то.

— А ты обнови!

— Хорошо. Какие новости в небесных сферах?

— Выше нос, Павлина. Сегодня начался Золотой век!

— Ты шутишь все.

Где ей заметить такое. «Поставьте на ваши компьютеры защиту от вируса, отмечена новая вирусная атака. Обновите версию». Хорошо, поставим. Она поставила на свой компьютер то, что он просил, — и вот она, смешная картинка с зонтиком. А на рабочем столе у нее бывшие «Снайперы» сняты так здорово — вместо зонтика у них тарелка металлическая от ударной установки. Значит, у них такая вот была защита. Не ладится жизнь, разные они очень, одна — культурная девочка со скрипкой, другая — пацанка хулиганская, полный магадан. Но есть, есть музыка! Не та, от которой с ума сходят, а та, которая спасает. Которую ищешь, когда и слова не помогают. Большая и нежная, как романс номер четыре. Сквозь холодную печаль просвечивает улыбка. Но теперь они давно порознь. У скрипачки был квартирник, только для избранных. Хорошо поет, говорят, и вообще она сложнее, тоньше, лучше...

Павлинка щелкнула на закладку и заглянула на сайт... Скука, одни тинейджеры... А музыка... Где наушники? Звуковую карту она выпросила уже. Нет наушников.

Подумайте, еще только атака идет, а у людей уже зонтик есть, защита. И до чего ж умен этот Касперский или

как его там. А она до сих пор не удосужилась себе зонтик купить. Правда, сейчас зима, но все-таки. Такая зима в душе, не передать. Какая может быть защита, если ты не нужна?

Делая выборку компьютерных книг с разбросом цен, она листала разные сайты и задала в поиске — Золотой век. Вместо выкладок и таблиц на сайте пошли рассуждения о вселенской любви. При чем здесь любовь? Толпились картины божественных братьев и сестер, сиреневые и огненные радужные фантазии, девы с очами, очи с лучами. Знаем, знаем. Полистала «Мистерию единения».

«Россия и за ней все человечество вступает в эпоху Золотого века и только от самих людей зависит — как долго люди будут отрицать то новое, что уже вошло в нашу жизнь». Вошло, да не у всех. Смотри-ка, Зимин... А на вид такой простенький.

Задумалась Павлинка. Золотой век? Откуда? Все так грустно. В ее понятии золотой век несоизмерим с грустью, это когда будет всем хорошо — и Тине, и мужу, и ей, и сыну на лечении, и Зимину, который день и ночь ищет потерянную любимую в интернете. И за него вся фирма переживает. И помогает сессии сдавать.

«Две тысячи лет назад на землю пришел Иисус, чтобы напомнить, что Бог есть Любовь... и подготовить его к принятию этой любви... После прихода человек познал тоску, томление и неясное стремление куда-то. Человек познал любовь. Начался процесс единения всего со всем».

Оказывается, этот век уже наступил. Что-то незаметно.

Похоже, она, Павлинка, живет по привычке, не догадываясь об этом. Все так отвратно. Отправила письмо через два этажа: «Зимин, ты зачем говоришь — золотой век, а как же все эти катастрофы? Америка, наконец». Зимин ответил быстро, видно, клиентов не было. «Для тех, кто заслужил! У кого ощущение! Может, Америка тоже нуждается в очищении, а это всегда боль...» —

«А если у меня плохие ощущения?» — «Сама не хочешь, значит, привязки, значит, ненужный груз. Надо еще до-расти, очиститься, чтобы думать о вечном...» Так-так...

Она делала выборку, работала, попутно отвечая на всякие опросы, анкеты. Она была так тиха, так покорна, что не задумывалась. Просят — ну вот вам, берите. Она любила считать, заполнять, заверять, она была талант-ливым клерком, исполнителем то есть. Работа без граф, ведомостей и стрекотания струйника была для нее немыслима. Меланхоличная полная Павлинка с большими глазами и губами, концы которых неизбежно загибались вниз, в пестром просторном трикотажном блузоне, который то ли платье, то ли кофта — когда как нужно.

Однако за выборку начальник похвалил ее. А на дру-гой день пришел имэйлик: вы в анкете покупателя набра-ли большие очки и вот вам приз, сударыня. И что вы ду-маете? Да наушники, о которых она так мечтала. Ура! Еще один человек предложил ей обзрывать новинки. Тут уж предстояло пошевелить мозгами! Тем более не-которые книги и у них были на продаже. Павлинка умела быстро читать, но здесь даже читать-то не надо было. Скорее, создавать путеводитель с комментариями. А как же он на нее вышел? Может, опять засветилась в каком-то опросе?

Павлинка с головой ушла в обзоры. Ну, все равно же выборку делать. Несколько дней выбирала, обзривала — и уже сколько-то долларов пришло... «Тинатин! — дума-ла Павлинка. — Просит новую косметику, так вот тебе, детка, новая линия. А мне новые книжки. А мне диск но-вый надо, который „Сурганова и оркестр“». Рассказала мужу, тот удивился:

— Ты что, уже научилась отправлять имэйлы? А ты помнишь, какие у тебя были обломы в интернете месяц назад? Помнишь, как ушла, а пред тем нафиг удалила Каперского? А потом — ах, ах, ничего не работает... И засмеялся. Ага, хороший признак. Подкальывает, зна-чит, оттаял. Жизнь снова становилась привлекательной.

У нее только за последние дни столько друзей во всем

мире появилось. И вот сейчас она откроет ящик и... И что? Этого же нет в реальности, нет, только холодные сигналы на слепящем экране, о чем волноваться? Но тукает сердечко, предвещает. Это окошко в другой мир, там все иначе.

Идя на работу, Павлинка столкнулась с Зиминым.
— Какие новости в небесных сферах?

— Сегодня очень символично все. Сегодня просто потрясающе — будет подниматься Атлантида.

— Но она же мертва! Ее затопило...

— Нуу. Не физически. В душах. Сегодня самое главное строится там! Ты ведь чувствуешь что-то особое?

Павлинка прислушалась к себе. Что-то вибрировало. Не смогла сдержать улыбки. Ну что этот Зимин всегда провоцирует?

— Ага! Помолодела, посветлела? Можешь! — Зимин улыбался своей американской вывеской. — У каждого из нас своя задача. Кто осознал — тот уже воин света, тот работает на мироздание. А кто еще и не понял...

— Да, Зимочка. Спасибо за диск. Я даже знаю, что буду делать не только сегодня, но и завтра, послезавтра... Но полезно это мирозданию или нет?

Зимин по-детски оттопырил губу.

— Говорят тебе — главное в душе. Ты... сейчас все можешь. Ну? Что не нравится? Можно не глобальное.

— Мне... Мне не нравится вот эта дверь из отдела, когда я хожу через клиентский зал. Всё мимо начальника. И люди ко мне попасть не могут... Не могу же я их водить через склады...

— Так ты открой прямую дверь, которая была сначала. Которая забита.

— Но она на замке. Надо подписи начальников, охраны, меня убудут... Столы переставлять... Нет, боюсь. Давай ты спросишь сначала?

— Так-так. Хочешь передоверить. Отказываешься от свободного волеизъявления. Ты сама, без подписей, а? Все увидят, что ты для всех, не только для себя. Все же люди, ну? А столы мы поможем с Фрэдом.

Павлинка сосредоточилась и пошла. Она удивительно легко пошла через клиентский зал. Яркий блузон тикал вертикальными изломами. Она шла, не боясь никого, так как уже знала — все гениально получится. Она уберет все со столов и стеллажей, станет легче двигать. Позвонит Зимину и Фрэду. Они освободят эту самую дверь. И люди смогут прямо из магазина к ней заходить, а она тут как тут, консультат по самоучителям, справочникам, спецификациям... У людей не станет вопросов меньше, но картина-то яснее. А то придут, потаращатся, потопчутся. А кто его знает, где узнать, то или не то.

Зимин не обманул. Они сделали все, как она сказала, и притом все улыбались, как заговорщики. Вбежал вспотевший охранник, который засек грохот, замахал руками.

— Спокойно, — сказала Павлинка твердо, — ничего не пропало. Чужих нет. Реорганизация. Ключи принесите из запасников. Вот у меня заявка.

Охранник, привыкший к немоте консультанта, втянулся в плечи по подбородок. Но ключи принес, прибормотав:

— Теперь тут будет проходной двор, разхлебайка.

— Ничего. — И еще прилепила на дверь листок «Консультант по технической литературе».

Она хотела для людей придумать как лучше. Посмотрим еще.

— Спасибо, товарищ Зимин... То есть Олег! Что я все по фамилии... — Она смутилась, ее заливало теплом.

— Спасибо тебе, что приобщила к доброму делу. И еще...

— Благодарность номер два воспоследует позже!

— Я не о том. — Зимин поерошил крутой ежик. — Каждое дело начинается с благодарности. Даже мелочь. Пробудить это в себе важно, ведь, что бы мы ни делали, чего бы мы ни достигали, всегда были те, кто учил и помогал. Благодарность — это самое простое, естественное чувство для живого существа, ибо никто не живет в одиночестве, но только благодаря заботе другого существа.

По секрету. Я благодарен Фаине, которая, исчезнув, изменила меня. А то бы я всегда был такой самоуверенный. Я ее благодарю каждый день, я же не злюсь. И от этого все... Оттуда.

И поднял опоясанный лейкопластырем палец, за которым все невольно проследили и уперлись в пористо-зефирный навесной потолок и тихие таблеточные светильники. А где-то еще выше было небо, которое теперь опускалось на землю, или, может, люди поднимались, кто знает.

Позвонила дочка Тина.

— Мам, ты там чего-то про хор толковала. У меня такое расписание, что я только в среду могу. Я все-таки будущий дирижер.

— А что это ты вдруг так вспорхнула? Я уж и забыла.

— Да так, хор же интереснее, чем в школе, там вообще отстой, загоняловка. И на практику однозначно погонят. Ты записала желающих? Сколько их?

— Записала десять человек. Неужели у нас будет свой хор?

— Ну да. Скажи, что в следующую среду прослушивание

Вот так номер. Тина, легкомысленная студентка музыкального училища, проявила интерес к маминым проблемам.

— Хоровое пение — лучший способ объединения людей, — сказал Зимин. — Ты все правильно делаешь. горловая чакра отрывается, когда человек поднимается на ступеньку выше...

Нет, иногда он на редкость занудлив.

— Да может не получится...

За окном летел и вихрился снежок. Началось глобальное потепление. Зима кончилась уже в январе. У Павлинки появилась защита от горестей. А может, это действительно как-то связано с Атлантидой?

Строгая мама

Моя мама была строгой женщиной. В автобусном парке, где она работала заместителем генерального директора по личному составу и кадрам, прожженные шоферюги говорили: «Людмила Пантелеевна как посмотрит — вокруг города склоны загораются!» При том, что она никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах не повышала голос, все окружающие спешили выполнить все, о чем бы она ни говорила. Мы с сестрой боялись ее страшно, даже не знаю — почему. Видели бы вы, с какой скоростью разлетались по своим местам разбросанные игрушки, книжки и другие предметы, традиционно разбросанные по всей квартире, стоило ей вопросительно поднять бровь, заглядывая в комнату. За провинности нас сажали на стул посередине комнаты. Помню, только два раза в жизни она меня побила: когда во втором классе я упала с высокой качели, сломала руку и не могла подняться, потому что окованная железом доска продолжала раскачиваться и «приезжала» по моей непутевой головушке. Только теперь, когда я сама уже дважды мама и даже уже бабушка, я понимаю, какой ужас она испытала, прибежав за позвавшими ее пацанами и увидев меня внутри убийственного «маятника». От этого страха мне и «приехало» бывшей у нее в руках скаткой газет по мягкому месту, откуда ноги растут.

Кстати, во второй раз орудием стала все та же скатка (то есть, конечно, не буквально та же самая). Я училась в шестом классе, и путем длительного нажима «вымогла» у родителей велосипед, и вот вожденный транспорт, сверкая хромированными частями, встретил меня после

школы в прихожей. Наскоро перекусив и оставив родителям записку, что ушла кататься (выпендрож), я выкатила велик на улицу. Он оказался массивным и тяжелым (в скобках замечу — и дорогущим, как мне сообщила с несколько натянутой улыбкой мама позже, — полторы ее зарплаты). Мой маршрут проходил по дамбе вдоль Одры (я не сказала? — дело происходило в Польше), и мне не всегда удавалось удержать на скользком после дождя склоне этой дамбы тяжелую машину. Короче, я устала, вымокла и решила сократить обратную дорогу, но заблудилась и выехала на старую берлинскую трассу. Там я повернула, как оказалось потом, в обратную сторону — на Берлин. Тем временем меня уже кинулись искать, подключили польскую милицию. Вернулась я в десятом часу вечера, сама. Мама, как потерянная, бродила вдоль дома и измученно сжимала в руках газеты — как раз пришла почта, когда появилась я на покореженном велосипеде. Сердце у меня сжалось, и я разревелась от жалости к ней — и вовремя, потому что получила свое скрученными газетами от своей бедной мамочки. Мне было не больно и не обидно, потому что крупно проштрафилась. В тот вечер я впервые пожалела ее, мою строгую, сильную маму.

Строгость ее выражалась не в том, что она ругала нас — я вообще не помню чтобы она ругалась, даже просто повышала голос... но как смотрела!.. Мой дед рано ушел из семьи и девочку баловать стало некому, воспитывали ее в основном старшие братья в рамках суровых кавказских правил, — и безо всяких там мусипуси. И в нашей семье «телячьи нежности» тоже не приветствовались. И когда уже в зрелом возрасте теперь уже моя дочка призналась, что ей не хватало в детстве этих самых мусипуси, я сначала удивилась, но потом задумалась — и поняла, насколько обделяла и своего ребенка, и себя, отказываясь от внешних проявлений нежности и любви! Ведь нас окружают не телепаты...

До сих пор не могу понять, зачем родители купили тогда такой дорогой велосипед?

Светлана Смирнова

На разных языках

Людам любви не хватает гораздо больше,
чем хлеба, и этот голод самый сильный.

Мать Тереза

— У меня никогда не было мамы, — задумчиво произнесла Рита.

Лицо ее казалось немного растерянным, а взгляд был устремлен в какую-то, ей одной ведомую точку, словно перед ней простиралась бесконечная линия горизонта.

Но перед ней стоял обычный сервант, на полках которого поблескивала нарядная посуда.

Вера резко обернулась, в ее глазах читался немой вопрос.

— Нет, физически она, конечно, была. Но не было такой мамы, которую воспринимаешь как защиту от внешнего мира, укрытие от бед и врагов.

Мне никогда не хотелось, прибежав с улицы, уткнуться в ее колени, обнять, поделиться детской обидой, мечтой. Или просто прижаться к ее боку, чтобы ощутить тепло и любовь.

Внешне мама, конечно, заботилась обо мне.

Помню, когда я корью болела, сидела у моей постели, переживала. А на тумбочке, на блюде, всегда лежало мое любимое бисквитное пирожное с розочками из крема. Но я ничего не ела и не вставала с постели — безучастно смотрела в потолок.

Я всегда была одна. Жила наедине с собою и своими мыслями.

Может, дело во мне? Это я всегда была слишком занята собой?

А мать тогда была молода и красива. Носила модные нарядные платья, красила губы яркой помадой. На ее туалетном столике было много косметики. Я любила вертеть в руках разные затейливые стеклянные пузырьочки. Меня волновала прозрачность стекла, изящная форма флаконов, нежный, необычный аромат духов, напоминающих что-то далекое, забытое, эфемерное.

У моей мамы был облик загадочной женщины. Впрочем, все женщины — загадочны, как цветы. Каждая хороша по-своему. А мужчины просты и понятны, как деревья.

Я чувствовала себя чужой в семье.

И в школе, в своем классе, я тоже чувствовала себя чужой и держалась немного особняком. У меня был свой мир: книги, стихи.

В девятом классе многие девочки завели себе мальчиков, важную часть их жизни стали занимать наряды, косметика, прическа. Они шептались между собой, делились секретами. А я жила, как монашка. Нет, у меня тоже был мальчик. Но это была любовь!

Он уже окончил школу, служил в армии, и мы переписывались. Его письма были главным в моей жизни того времени. Я жила от письма до письма.

Каждый день ждала почтальонку, с замиранием сердца заглядывала в наш почтовый ящик, и если видела в нем белый конвертик, была на седьмом небе! Тихий, потаенный родничок счастья бился в моей душе несколько дней. Я никому об этом не рассказывала. Даже лучшей подруге.

В общем, я витала в облаках. А мама жила на земле, реальной жизнью.

Мы были слишком разными и не понимали друг друга.

В подростковом возрасте я интересовалась астрономией. Меня притягивали звезды, далекие и непонятные. Они мигали над головой на ночном небе и казались загадочными. Я прочитала много книг на эту тему.

А потом мне попал в руки томик Лермонтова. В стихах Лермонтова был тот же космос! Но космос души!

Нет, я не была замкнутой, я была общительной и веселой. Но у меня был свой внутренний мир, свои интересы, о которых я никому не рассказывала. Я где-то прочитала, что с людьми надо разговаривать на их языке и строго придерживалась этого правила.

С каждой подругой разговаривала только на интересующие их темы. Какой смысл был разговаривать, например, о книгах с той, которая их никогда не читала?

Я поняла, что мир живет на разных языках. Как в Вавилоне.

Подруги меня любили и даже ревновали одна к другой. В юности их было слишком много: несколько девочек из нашего класса, несколько из параллельных, подруги подруг. Они были очень разные. Но точку соприкосновения я находила с каждой.

У них не было серьезной любви, они не писали с детства стихов, мало читали. Но с ними было хорошо гулять по улицам, болтать.

И я слушала рассказы про их легкомысленный флирт, шуршащий, как дешевые конфетные бумажки; про новые платья, про косметику...

А на улице была весна, или осень, или зима... Мы бродили по милым старым улицам нашего города, и все было хорошо.

Но мы говорили на разных языках!

Считалочка

Новая жизнь, разорвав материнскую плоть, явила себя миру. Акушерка, отрезав пуповину и отерев младенца от родовой крови, объявила как приговор: «Девочка».

Девочка сунула маленькие ножки в туфли на высоких каблуках и потащила их, как вериги, через всю комнату к огромному зеркалу рядом с родительской спальней.

На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич...

Началась считалочка.

Царь был — отец. Он спускался вниз, большой и добрый, подхватывал ее на руки, тормозил и, понарошку кусая в живот, приговаривал: «Я серый волк, я тебя съем». Девочка от восторга понарошку визжала, огромные туфли падали на пол, отец усаживал ее за стол и собирал завтрак.

— Лялечка, что ты будешь есть? — спрашивал отец.

Лялечка специально капризничала, как это делала мама.

— Нет, не хочу кашу.

— Ну, тогда бутерброд с колбасой?

— Нет, она толсто нарезана.

Но тут спускалась мама, после душа, красивая, с мокрыми волосами, и папа, уже не спуская с нее глаз, клал на тарелку девочки бутерброд, какой был, и Лялечке становилось грустно и одиноко.

На шестом году Лялиной жизни отец оставил мать. Мама из капризной и томной превратилась в нечесаную и злую. Усадив напротив себя перепуганную девочку, кричала про папу непонятные слова, заходила рыданиями, и Лялечка, замерев от страха, не смела от-

даться чувству утраты, чтобы не расстраивать мать еще больше.

Иногда она виделась с отцом и украдкой, испытывая страстное желание вернуть его любовь, проявляла нежность, терлась о его огромную фигуру и очень старалась быть полезной, но у него уже была другая женщина. Так между двумя столпами враждующих родителей истлело сиротское Лялино детство.

Мама больше не вышла замуж. Десять лет ушло на поиски, по одному кандидату в год. В каждом она обнаруживала предателя и со злорадным уличением изгоняла его из своей жизни, утешаясь на кухне с подругами бесконечными интерпретациями несложившейся любви.

Долговязая Лялина фигура так же активно обсуждалась в кругу маминых подруг. Сквозь сигаретный дым на маленькой кухне они причитали и сравнивали, делились опытом, давали советы и ругали. К шестнадцати годам Ляля усвоила весьма противоречивые знания о мужчинах, результат чужого неудачного опыта. В семнадцать она, красивая, после душа, с мокрыми волосами, несла себя своему королевичу и с гордостью наблюдала, как рослый парень при виде ее прелестей набрасывался и мял ее. Постепенно она превратилась в опытного дрессировщика, смело выходила на арену спальни, и сдернутый халатик, как удар кнута по звериному инстинкту, приводил в действие и лишал воли самых отъявленных местных мачо. Иногда они возвращались, царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, но в основном никто надолго не задерживался, и Ляле становилось от этого грустно и одиноко. Но однажды в город приехали артисты. Они разбили шатер на главной площади города, и Лялечка, проходя мимо, заглянула внутрь. Там орудовали какие-то великаны. Они натягивали канаты, устанавливали прожекторы и говорили на непонятном языке. Какой-то парень улыбнулся Лялечке и протянул ей трос. Она ухватила за него, и никто не заметил, как она стала там главной актрисой. Лялечка уехала с театром, и никто никогда ее больше не видел в этом городе.

Шапка

Почему-то вдруг, совершенно неожиданно, она пере-менила тему разговора.

- Расскажи мне о них.
- О ком?
- О твоих подопечных.
- Зачем?
- Хочу знать, как ты живешь.

Может же иногда такое прийти в голову. Ни с того ни с сего, когда уже не ждешь, вдруг пробуждается неожидан-ный интерес к ее делам... Его бы лет двадцать с лиш-ним назад. Впрочем, так думать нельзя. Тем более сейчас, когда они уже миновали МКАД и на въезде в знакомый подмосковный городок припарковались и зашли в это кафе, чтобы выпить чаю и съесть блинчики.

Екатерина Григорьевна, всегда аккуратно подстри-женная и покрашенная, тихо делает небольшие глотки из чашки. Для нее это кафе значит куда больше, чем для Ольги, она всегда любила заходить сюда. Правда, это было давно.

- Ты и так знаешь, — отвечает Ольга Сергеевна матери.
- Ну, не все...
- Не думаю, что это тебе интересно.
- Ну примерно... Я не знаю всего. Это, наверное, очень трудно. Кто они?..
- Кто... Сама знаешь. Это все люди... Люди, оказав-шиеся в трудной жизненной ситуации.

И поймала себя на том, что как-то размеренно, чуть ли не по слогам произнесла эти несколько важных, весо-мых слов — «трудная жизненная ситуация».

— Да это я знаю... Про эти жизненные ситуации...
А подробнее? Какие они?

— Все разные.

У Ольги Сергеевны еще крутится в голове сегодняшний день: лица, слова, вопросы... Посетители с их недоумением, как могло произойти в жизни то, что произошло. Очевидно, улавливая ход ее мыслей, Екатерина Григорьевна говорит:

— Чем же тебя привлекают они, эти странные люди, которые в стороне от жизни?

— Они не в стороне от жизни. У них такая жизнь. Другая.

— Другая? А что им мешает жить, как все?

Ольга кладет ложку на блюдце и старается спокойно представить, а можно ли вообще о ком-либо что-то рассказать. Всего лишь два часа назад в рабочем кабинете, прежде чем закрыть файл и выключить компьютер, она в который раз напоминала себе, кто приходил, и просматривала список тех, с кем еще предстоит беседовать. Торопилась, потому что предстояло ехать через пробки и непогоду в этот подмосковный городок, чтобы повидать давнюю подругу матери, ныне тяжело больную женщину, как-то незаметно, быстро и легко превратившуюся в беспомощное существо, божий одуванчик. Сегодняшний день Ольга обещала своей маме.

«Они меня не любят», — спокойно говорила сегодня девочка. «Да что она такая... — восклицала, словно в ответ, ее мать. — Разве такой она должна быть?..» И там, в глубине, — жестокость, которая передается как заразная болезнь, и даже любят они как-то жестоко, и это кажется им нормальным. «Да почему я должен вникать во все это? — раздраженно говорил отец мальчика, которого удалось наконец найти в подвале заброшенного дома в соседнем квартале. — Я не понимаю, почему он убегает... Я не знаю его проблем, но почему я должен думать об этом! У меня столько дел, я так занят, и тут еще с ним такое!...» — «Но он убегает, когда вы приезжаете домой... Вы не видите связи?» — «Ну и что? Хочется ему убежать,

пусть убегает, подумаешь...» И так далее... И обязательно всплывают слова: «Склонность к суициду», «девиантное поведение», «истерики», «самоагрессия вследствие жестокого обращения», «отсутствие контакта с родителями»... И это еще не самые худшие ситуации. В самых худших случаях говорить нечего. Никто не приходит по их поводу.

Девочка, которая не помнит прошлого. Сейчас она в центре. Кажется, ее заставляли собирать милостыню. Она не знает ни своего имени, ни имен родителей. Она только кричит иногда. Мальчик после черепно-мозговой травмы — папа ударил головой о батарею — медленно приходит в себя. Этих историй так много, что кажется иногда, что все они превращаются в одну бесконечную историю.

Или еще, например, история: девочка никак не могла понять, куда она дела шапку. Нет, не свою. Мамину.

* * *

Как всегда, не хотелось после уроков идти домой. Не потому, что в школе так уж нравится, а потому, что не нравится дома. Зато дорога домой бывает немного радостной и разноцветной.

Сначала — перекресток, потом магазин, потом поворот на улочку, и вот уже виден он, бледно-желтый фасад. К концу последнего урока всегда можно было сказать, через сколько минут окажешься дома.

Ее обгоняли одноклассники, весело насвистывая и размахивая портфелями. Четыре урока — и ты на свободе. Она проходила палисадники соседних домов, где сквозь деревянные перекладины пробивались на дорожку одинокие тонкие ветви малины и смородины. Осталось лишь толкнуть скрипучую тяжелую калитку в деревянном заборе, продолжавшем бледно-желтый фасад. Там, за ней, находились стабильно плодоносящий яблоневый сад, пышущий картофельной ботвой огород, аккуратно возведенный на маленьком пятачке цветник и, ко-

нечно, дом с небольшой верандой. В глубине, у забора, на экономно выделенном клочке был посажен куст розы. Но к тому времени уже был выкопан картофель, яблоки глухо падали на землю, и цветник потускнел, оставив лишь несколько жестких стеблей до следующего лета.

Ее встречали кот или пёс.

Мать встречает, если она дома, уже только у входной двери, как правило, строго — или строгим взглядом (словно пытаюсь прочесть по лицу, что сегодня было в школе), или строгим вопросом («Какие оценки принесла сегодня?»), или строгим замечанием («Ты не убрала вчера нитки, которые брала для шитья с моей полки»). Но это в лучшем случае.

А в худшем — может быть вот так, как в этот раз:

— Я не могу найти мою шапку. Мою новую шапку. Норковую. Куда ты ее дела?

Можно было спросить о чем угодно. Куда она дела зонтик. Куда она дела тетрадь для рисования. Но шапка? Да еще мамина?..

— Какая шапка?

— Новая! Норковая! На прошлой неделе купила на зиму.

— Я не знаю.

— Кроме тебя некому. Куда ты дела мою шапку?

— Я не брала твою шапку.

— Где шапка?

— Я не знаю!

— Я сейчас уйду. Вот я вернусь, и чтобы нашла мою шапку! Ищи где хочешь!.. Кроме тебя некому! Ремня получишь, клянусь!

Мама уходит, а девочка забирается в угол и плачет. Она знает, что мать может сдержать слово. И вечером все может продолжиться.

А ведь она действительно не знает, куда делась шапка.

И она со страхом будет ждать вечера, чтобы узнать наконец это продолжение. У нее не будет желания ни делать уроки, ни есть, ни гулять, ни читать. Это ожидание будет бесконечно, как перед судом за преступление, ко-

того не совершала, но надо согласиться и убедить себя, что совершила.

Вечером мать придет с дежурства, но прежде чем «продолжить» («Ну что, вспомнила где шапка? Может быть, помочь тебе вспомнить?..»), она пойдет к соседке поговорить. Иногда они разговаривают через забор — стоят в наброшенных на плечи куртках и даже передают друг другу угощения и какие-нибудь вещи. Они даже подзывали друг друга через забор. Они — здоровые, сильные, властные.

Хорошо, если, вернувшись, она забудет «продолжить». И вечером уже нет никаких сил — от ожидания, от страха. А так хочется поговорить с кем-нибудь. О чем-нибудь хорошим.

Но разговора не будет. Будет монолог. «Что у тебя глаза красные? Опять ныла из-за чего-нибудь? Не верю, что у тебя аллергия. Откуда у тебя быть аллергии, ты здоровая...» Потом, на следующий день, проходя в который раз знакомой короткой разноцветной дорогой от школы до своей улочки, она смотрит с тоской в ту сторону, где находится детский интернат, потому что ей кажется, что там лучше. Ведь тоже, наверное, желтое здание. Может быть, там одни взрослые люди могут защитить ее от других взрослых людей?

* * *

Знакомый голос выводит Ольгу из раздумий и возвращает в старое кафе в городке за МКАДом, где они с Екатериной Григорьевной пьют чай и едят блинчики.

Кафе это можно условно назвать старым. Оно старое по возрасту и по памяти о нем. Здесь все изменилось. Только чай и кофе здесь всегда были плохими. И блинчики тоже.

Последний раз она была здесь пять лет назад. И еще раньше как-то приезжала по делам одного подростка.

— Я звонила ей, — продолжает Екатерина Григорьевна, и это уже о цели сегодняшней поездки. — Сказала, что

мы ненадолго. Не будем утруждать и утомлять. Повидаемся, и все.

Она говорила это спокойно, без эмоций, как будто выполняла какую-то обычную работу по своему расписанию, для отчета, для порядка. С таким настроением она ехала бы и на день рождения, и на крестины, и на похороны. Выполняя важный долг.

Ее голос стал немного хрипловатым в последнее время. Руки стали слабее, легче, и от этого движения кажутся тяжелее; она аккуратно стряхивает пылинки с берета, и снова кладет его на край столика. Потом легким движением забрасывает прядь волос назад. Она красится в пепельно-русый цвет, и седые волосы пробиваются от корней едва заметно, а во всем остальном она осталась прежней: прямая осанка, четкие, наполненные уверенностью движения. Она надела сиреневый пиджак, который надевала в особых случаях. Решила поехать именно сегодня, в будний день. В этом она не изменилась, осталась прежней в своем безусловном знании того, что и когда надо делать, и как. Отголосок советского жесткого, идеологически выверенного подхода ко всему: ни тени сомнения в своих поступках. Сейчас, после стольких лет, это напрягает, но сегодня Ольга мирится и с этим. В конце концов, это уже ее не касается. Она делает глоток чая и рассеянно смотрит сквозь стекло на круговое движение машин на площади, пытаюсь понять, сколько времени придется потратить на суету в автомобильной толчее.

— Так всё же? Чем тебя привлекают они?..

Екатерина Григорьевна повторила этот свой вопрос, но уже без этих неприятных колющих слов «в стороне от жизни» и «жить как все».

— Но ведь это дети. И не от них зависит, что случилось с ними. Что значит — «как все»? Все — это кто?

— Все это все.

— Нет никаких «всех», у большинства из этих «всех» проблемы, которых никому не пожелаешь!

— Знаешь, что я думаю, — продолжила вдруг строго Екатерина Григорьевна, — мне кажется, ерунда все это. Все эти трудные жизненные ситуации.

— Ты хочешь сказать, что их нет?

— Я хочу сказать... Что они несколько надуманны. Не может быть, чтобы было плохо просто так. Эти люди сделали что-то плохое, если у них так плохо. У плохих людей всегда все плохо, у хороших все хорошо. Это закон жизни. У хороших людей не бывает плохо. Ты покопайся в их жизни... Станет понятно, почему так происходит!

— Послушай, мама, — сказала с напряжением Ольга Сергеевна, чувствуя, как медленно подкатывает негодование, — по большей части вся наша жизнь — это трудные жизненные ситуации. Только степень их может отличаться.

— Нет! Это твоя работа навевает тебе такие мысли. Я бы не хотела, чтобы ты работала со всеми этими проблемами... И как тебе удастся их находить?

— Вот послушай, — сказала Ольга, понизив голос. — К нам привозят трехлетнего мальчика после черепно-мозговой травмы, потому что папа ударил его головой о батарею, а ударил потому, что так понимал процесс воспитания. В чем вина этого ребенка?

— Знаешь, хватит об этом. Я не хочу так много слышать об этой стороне жизни. Это слишком концентрировано. Это другая сторона жизни, как другая сторона луны, не надо туда ходить. Да, да. Не надо ходить на эту темную сторону луны! Иначе долго не проживешь. Большинство людей живут хорошо и благополучно. Долго и счастливо. Не надо говорить об этих несчастных, иначе сам станешь несчастным. А я не хочу, чтобы ты была несчастна. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Как все. А твоя работа не дает тебе этого. Ты почему-то повязана с ними. Но это твоя профессия. Увы.

Сколько было случаев, когда Ольга Сергеевна с улыбкой встречала волну раздражения и гнева и спокойно, без малейшей тени, продолжала разговор. А сейчас с та-

ким трудом подавила вдруг вспыхнувшее желание ответить совсем не то, что полагается ответить.

— Может быть, и да. Повязана. А почему «увы»?

— Жаль. Ты отстаешь от жизни, которая коротка. Люди стремятся к богатству, благополучию, к месту под солнцем, к разным благам, к счастью, но никак не к тому, чтобы идти, например, в лепрозорий. Все стремятся брать от жизни всё. Все нормальные люди!

— Но тогда, может быть, и к тете Нине не надо ехать? Ведь она больна, и очень тяжело.

— Это другое. Это визит вежливости. Не более того. Это нормально.

Ольга вздохнула. Скорей бы прошел этот дождь, и вообще надо поскорее выбираться отсюда и ехать дальше, туда, куда собирались. Этот чай и блинчики, зачем это нужно... Все эти серьезные разговоры вдруг обнаруживают пропасть недопонимания, а стоять еще перед одной пропастью в жизни совсем не хочется.

— Ну и что?.. Каждый живет, как хочет. У каждого свое понимание нормальности.

— Это да, конечно... Но я не этого хотела. У меня были другие ожидания... Ты... ведь не такой должна была быть.

Чай выпит, лучше всего уехать поскорее. Рядом озаченно снуют посетители, не обращая внимания на двух женщин, занятых какой-то своей нудной болтовней.

— А какой? Какой я должна была быть?

— А вот такой. Как все! Которые берут от жизни всё!..

* * *

В квартире на первом этаже хрущёвки затхлый запах, какой бывает в домах, где живут больные люди. На вешалке много старых курток и ветровок, под ногами обувь, брошенная как попало, скомканный пыльный коврик. Руки не доходят до уборки, говорили эти стены, некогда, нет сил и нет смысла. Здесь царят атмосфера безысходности, полумрак и тишина.

Женщина, отдаленно напоминающая тетю Нину, встретила их радостно, пыталась подняться с постели,

хотя получалось это тяжело, опиралась на ходунки, и снова села, махнув рукой, приглашая и их тоже сесть рядом. Екатерина Григорьевна радостно и сокрушенно восклицала: «Ах, дорогая, как давно мы с тобой не виделись!.. Эх, как же это ты, давай, вставай, поднимайся!.. Сколько времени прошло, ведь все было так недавно...»

— Боже мой, да, жизнь прошла, как один день, видишь, как мы теперь с тобой видимся!.. Я все помню, все... Все наши разговоры... — отвечала тетя Нина.

Ольга и Екатерина Григорьевна вытаскивали подарки, которые могут порадовать, могут утешить и даже еще могут пригодиться. Теплый платок на плечи, набор кухонных полотенец, кремы и шампуни. Как будто необъявленные проводы в дальнюю страну, которые случились совсем внезапно.

— Нина, Нина! — вздохнула Екатерина Григорьевна. — Выздоравливай! Вспомни, как мы с тобой ходили, гуляли, как дети наши подрастали здесь...

— Твоя позже, — вздохнула Нина. — Мои были старше.

И тоже протянула им пластиковый пакет с подарками.

Они вспоминали — как вместе ходили в лес, какие выращивали цветы, как пережили девяностые годы, как быстро выросли дети, и еще соседи, какие были, — куда кто делся, кто отбыл и куда, кто появился и занял освободившееся место... И, словно из старой колоды карт, вытаскивали из прошлого случаи, которые Ольга уже не помнила.

Чай гости заварили сами на маленькой кухоньке. И сами накрыли на стол, постелив чистую скатерть.

Екатерина Григорьевна держалась спокойно и уверенно. Она все делала, как надо. Как всегда.

— Нет наших домов, — сказала Нина. — Нету больше. Снесли все, нет больше ничего. Помнишь, какие флоксы у меня были! Какие роскошные! И еще лилии. Жаль, что Боря умер, он так хотел жить в квартире, чтобы все удобства...

— Не только цветы были. Сколько было веселья! А помнишь наши разговоры? О чем только мы не говорили тогда... Помнишь, стояли у забора...

И они вспоминали разговоры, которые Ольга, конечно, не могла слышать, потому что они проходили без нее. И теперь удивлялась, о чем они говорили. Рассказывали про соседей. Про учебу детей. Про цветы и деревья. Про какие-то отношения с родственниками и знакомыми. Про некоторых знакомых по работе. Про то, у кого какая мебель. Кто что приобрел за последнее время. Кто куда съездил в отпуск. А ей казалось тогда, что они говорили о чем-то серьезном и важном.

— Память, только память, — вздыхала Нина. — Это все, что у нас осталось. Больше ничего. Я никак не могу понять, это не умещается в голове. У меня больше нет сегодняшнего дня. И завтрашнего нет. Есть только вчерашний. И вся наша прекрасная жизнь остается только в нашей памяти, больше нигде...

Гости засобирались после чаепития. Дорога сюда заняла гораздо больше времени, чем встреча.

— Чашки не мойте, — сказала Нина. — Ребята придут вечером, все уберут. Ключ туда же, под коврик.

Они сделали так, как она сказала, и вышли на улицу, на свежий воздух после затхлой атмосферы маленькой двухкомнатной квартирki. Ольга еще раз окинула взглядом места, где когда-то прошли ее детские годы. Старый универмаг. Пятиэтажки. Та часть квартала, где были частные дома, теперь застроена многоэтажными. Ничего не напоминает о том, что здесь было. И только дорогу от школы можно продолжить и мысленно провести линию до места, где находились их улица и дом.

Она прошла до подъезда девятиэтажки — примерно здесь был поворот в их переулок, откуда виднелся дом с бледно-желтым фасадом.

Теперь его не было. Ничего не осталось от частного сектора.

— Надо же... Даже места не осталось. Даже места... — вздохнула Екатерина Григорьевна. — Где-то на уровне этого подъезда был мой цветник.

Ольга ничего не ответила. Ведь они знали, что уже

давно так. Снесли уже давно, и строили поначалу тут разное.

Но она пошла даже не в сторону дома. А в другую сторону, где было здание школы. Оно была там же, на том же месте, ничего не изменилось, тот же силикатный кирпич, та же ограда. Вот отсюда надо идти прямо, в другую сторону, противоположную, и можно найти другое здание, тоже бледно-желтое. Интернат для детей, у которых не было своего дома.

Как странно, думала она. Развеелось все. Нет ни цветов, ни огорода, ни сада, ни дома. Ни кота, ни пса. И даже место, где все это было, с трудом определяется теперь.

* * *

— Ну вот и все, — сказала Екатерина Григорьевна, хлопывая дверцу машины и укладывая на колени берет. — Теперь съездили. Теперь уже не увидимся никогда.

— Почему же? — спросила Ольга. — Если хочешь, можем съездить на следующей неделе.

Проезжая площадь с круговым движением, Ольга еще раз на прощание окинула ее взглядом.

— Нет, нет, это не нужно! — возразила мать. — Считай, что попрощались. Это уже навсегда. Для этого и ездили. Всё кончается.

Она сказала это спокойно и уверенно, как будто встреча с подругой, ставшей тяжело больным человеком, была для нее чем-то повседневным. Хоть и подруга, но уже не та — больной человек, а значит — другой, у нее изменилась жизнь, и сама она изменилась. У нее появились какой-то свой ход мыслей и свой язык, каким говорят и рассуждают больные люди, и понимать его не очень-то хочется.

— Но ведь вы столько общались когда-то. Даже стояли у забора и говорили по полчаса. Я помню.

— Это хорошо и в то же время грустно. Очень грустно. Куда делись здоровье, силы, красота? Она была такая активная и веселая. Она научила меня выращивать цветы, спасибо ей за это. Что происходит с человеком? Раз-

ве так должно быть? Где те годы, когда мы были молоды? Мы были молоды и бодры, у нас были маленькие дети, такие хорошие, так хорошо играли. У меня была девочка, а у нее мальчик и девочка. Здесь сбылись все мои мечты! И так было хорошо ощущать себя вот такой... Такой, какой я была тогда... Ну что ты хмуришься, это были мои счастливые годы. А разве ты не была счастлива тогда? У тебя не вызывают ностальгии эти места?.. Неужели нет?

Ольга пожала плечами.

— Нет, не очень.

— Ну и жаль. А я все старалась сделать для тебя, чтобы тебе было хорошо. И у меня всегда было все хорошо, потому что я все делала для этого. У меня с тобой не было больших проблем.

Екатерина Григорьевна смотрела прямо вперед, как рулевой, а Ольга начинала ощущать себя лишь дополнением, как когда-то давно, к чьей-то благополучной жизни.

— А у меня? А у меня были с тобой проблемы?

— Думаю, нет. С чего бы? Впрочем, не знаю. Но это неважно.

— Что неважно? Были у меня проблемы или нет, или знаешь ты об этом или нет?

— Не цепляйся к моим словам. Я бы этого не говорила, если бы не знала.

Снова пошел дождь. Дворники забегали быстрее, раздвигая поток воды на стекле. Машины поехали медленнее, упираясь временами в небольшие заторы.

Странно, подумала Ольга, что люди иногда не меняются. Не меняются в своей основе через столько времени, когда многое можно было передумать и переоценить... Странно, что некоторые люди, разные внешне, думают одинаково, как близнецы. Сколько раз она слышала такие слова от своих посетителей, и каждый раз находила, что им ответить. А сейчас — нет, не может.

— Что ты называешь благополучием? И что ты знаешь о моем благополучии?..

— Знаю, — ответила Екатерина Григорьевна. — Потому что все сделала для этого. Я воспитывала тебя правильно. Все, что нужно, ты получила. Может быть, я иногда перегибала палку, но это мелочи. Так ведь? И я никогда не попаду в такую историю, как они. И ты никогда не попадешь. И не попадала. Я убеждена, что если все делать правильно, то все будет хорошо.

Как хочется крикнуть: «Нет, это не так! Ты так ничего и не поняла! Как ты могла не видеть того, что было перед тобой!..»

Но опять сказала спокойно:

— А Нина, значит... что-то сделала не так? Уж если с ней случилось такое?.. Такая болезнь?..

— Я не знаю, за что ей это. Она хороший человек, но может быть, есть за что...

— Но ты же понимаешь... — сказала Ольга, — ты же понимаешь, что такое может случиться с каждым.

— Ты хочешь сказать, что такое может случиться и со мной?..

— Я говорю — с каждым.

— Надеюсь, со мной такого не произойдет.

Ольга замолчала, глядя на поток машин впереди. В каких-то случаях лучше не говорить ничего, пока запал не пройдет. Она знала, что Екатерина Григорьевна продолжит. И она продолжила, но уже после некоторого размышления, с другой интонацией, после короткого вздоха:

— Ну хорошо, может быть, когда-то в чем-то я была неправа. Но в целом все равно я все сделала правильно. Хотя иногда начинаю думать... Наверное, я что-то сделала не так... Разве я что-то делала не так?

— Даже не думай. Ты все делала правильно. Что за мысли у тебя?

— Я рада это слышать. Да, это просто мысли.

— Ну и прогони их.

Вот уже и съезд с МКАДа, вот и знакомые светофоры. Потом — поворот на знакомую улицу, и еще несколько поворотов. Парк, спорткомплекс, школа.

— Мне жаль Нину, — продолжила Екатерина Григорьевна, — мне жаль ее. Но она, наверное, чем-то тоже заслужила свою болезнь...

— Да чем же?

— Ну не знаю... Наверное, заслужила. Хотя бы тем, что сдавала комнату этой воровке... Валентине...

Она взяла берет и снова отряхнула его, как будто он мог запылиться за часовое путешествие. Потом разгладила его и снова положила на колено.

— Какой еще воровке?

— Я же тебе говорю — Валентине. Ты, наверное, ее забыла. Она снимала комнату у Нины. Она приходила к нам в гости, чаю попить... Так вот, однажды пропали мои сережки. Потом — мой кошелек. Кошелек она положила на место, только без денег. Я уже намекнула ей. Нет, ты не помнишь этого, ведь ты все время проводила в школе... А однажды... Она даже украла мою шапку!

— Что? Шапку?.. Какую шапку?

— Мою новую шапку. Норковую. Я сначала искала, думала, потерялась. Но потом поняла, что это она. После кошелька и сережек я поняла, что это она.

Преодолев себя в очередной раз, Ольга спросила спокойно:

— Ну так что, нашла шапку?..

— Нет, конечно, разве она отдаст? Продала кому-нибудь. Но я перестала ее пускать к нам. Она перестала к нам ходить. И Нине я сказала: не сдавай комнаты воровкам. Вот, наверное, за это ее Бог наказал, Нину...

— Шапка... Да, шапка... И это все?..

— Да, все. А что же еще?

— Значит, шапку украла Валентина?

— Да, Валентина, кто же еще?

— Но ведь ты еще кого-то подозревала.

— Разве? Я уже не помню.

Усилием воли Ольга протолкнула подкативший ком и приподняла голову, вглядываясь в поток автомобилей. Силуэты машин слегка покрылись туманом.

Она замолкла настолько ощутимо, что Екатерина Григорьевна как будто почувствовала это. И сказала вдруг неожиданно спокойно:

— Знаешь, извини... Я, наверное, не права насчет всех этих людей... что они странные, плохие и все такое... Я не хотела тебя обидеть, ведь ты с ними работаешь... Я не должна была так говорить.

Еще один поворот, череда светофоров.

— Ну вот и съездили, — сказала со вздохом Екатерина Григорьевна, словно ставя себе оценку в каком-то ей одной ведомом журнале, когда они повернули на знакомую улицу. — Не забудешь, никогда не забудешь, где мы жили!.. — завершила она с пафосом.

— Не забудешь, — рассеянно повторила Ольга. — Тебя проводить до квартиры?

Екатерина Григорьевна надела берет, взяла сумочку, подняла голову при виде стоявших под козырьком соседа. Раскрыла зонтик. Прямая, высокая. Выше Ольги, которая, как ни старалась когда-то вырасти, так и не смогла догнать ее.

— Нет, что ты! Я сама, все сама. Езжай домой, трудная была дорога. Но все равно хорошо, все сделали! Приезжай в воскресенье. Ты не представляешь, как хочется иногда поговорить. О чем-нибудь хорошем. В субботу у меня дела в ТСЖ, буду весь день занята. Что у тебя с глазами?..

— Ничего. Все хорошо. Попало что-то, — ответила Ольга и протянула ей пакет с подарками от Нины.

— Аллергия, опять аллергия! Она никуда не делась! Нет, это у тебя от переутомления, от работы... От этих всех... Как их... С трудными жизненными ситуациями. Надо больше отдыхать. Не принимать их так близко... Не хочу, чтобы ты переутомлялась и болела. Хочу, чтобы все у тебя было хорошо. Как у всех.

Отражения

Судьба моей матери отражается во мне...

История ее детства — тайна, которую я никогда не смогу открыть... и она, эта тайна, течет в моей крови, и где-то во времени скрыт ответ, найти который нет никакой возможности...

По сути, неизвестен даже год ее рождения... и только обрывки воспоминаний чуть-чуть пририсовывают размытыми штрихами картину ее детства. Это как рисунок песком на стекле — неустойчивый и зыбкий...

Она не помнила ничего до того момента, когда семья оказалась в городе Чимкенте.

Вначале они хорошо были устроены в большом доме с высокими потолками, дорогими шторами на широких окнах, с частыми богатыми застольями. Ее отец, мой дед, по фамилии Чернышёв, то ли Лев, то ли Леонид... работал в Учреждении, оно располагалось в центре города, в здании, куда после войны вселился Институт культуры, и, видимо, занимал приличную должность. Это был высокий сухощавый синеглазый человек с русой пушистой бородкой, одевался он по-городскому, в «тройку», и ходил с тросточкой.

Мне было трудно вообразить себе, будто вышедшего из чеховских пьес деда, одетого в костюм-«тройку» и шагавшего по пыльному жаркому азиатскому городу, пощелкивая тростью...

Впрочем, это, видимо, недолго длилось.

В один *прекрасный момент* их выселили в барак на окраину города, куда вообще расселяли ссыльных и разного рода переселенцев.

Мама смутно помнит бабушку, то есть свою маму, та уже заболела и больше лежала в темном углу за шторкой — туберкулез пожирал ее кости.

В один из дней ранней весны подъехала к их бараку подвода, в нее погрузили бабушку и увезли в санаторий для туберкулезных больных в Минводах. Больше мама бабушку никогда не видела. Бабушка умерла в этих Минводах. А мамин отец, мой дед, оказался с двумя малолетними детьми на руках. Маме моей на тот момент было лет пять, а ее родному брату Пете что-то около года.

Исхудавший и поникший от горя отец спозаранку уходил куда-то на службу, все со своей неизменной тростью, а четырех-пятилетняя Ирина (так звали мою маму) оставалась на целый день с братом.

Зимой надо было поддерживать в печке огонь, кормить вечно голодного, но молчаливого худого младенца. Ирина нажевывала ему хлебный мякиш, размягчала его козьим молоком и засовывала в нежный, беззубый ротик. Петя только глядел черными, блестящими, огромными глазами и никогда не плакал.

Весь ее день проходил в ожидании отца... Сердце трепетало в предчувствии знакомого постукивания тростью; вот этого звука — глухого постука трости о крылечко она и поджидала весь долгий день.

Но однажды не дождалась.

Он не пришел. Он не пришел ни в этот день, ни на следующий. Ни через неделю. Никогда. Никогда в жизни. Ни в маминой, ни в моей. Как и для нее, для меня он навсегда растворился в пыльной, маревой от жара дали, в конце азиатской улицы, между глиняных дувалов.

Двое детей остались одни в темном унылом бараке, полном мокриц. Никто к ним не заходил. Подъели, что оставалось в доме до последней горстки муки, до крупинки перловки. Не понимая ничего, все ожидая папу, Ирина инстинктивно сберегала сухарные крошки и по чуть-чуть ела сама и давала брату. Ей теперь приходилось самой ходить за водой на колонку. Это путешествие по

улице, которая растворила ее отца, было большим и страшным.

Ей казалось, что она путешествует внутри длинношеюго азиатского кувшина. Страшно было идти к колонке: из-за дувалов смотрели враждебные испуганные лица, и страшно было остаться умирать от жажды и голода...

Голод все жестче и жестче ухватывал, и только сытые длинные сны — когда и она, и Петя забывались надолго, сны-дремы, сны-обмороки, сны — в которых был опять большой дом и много всякой еды на столах, и родители — приносили короткое, как всхлип, облегчение... Хотелось забыться таким сладким, пахнувшим сдобой, сном, положив голову на колени отца, и больше не просыпаться. Но... надо накормить брата...

И, осмелев от голода и думая все время о худом безголосом младенце в кроватке с деревянными поручнями, Ирина выбралась на страшную улицу, и через два дома постучала к соседям — те были родом откуда-то из Малороссии.

Нехотя впустили. Мама навсегда запомнила страх в глазах этой плотной, с упругими щеками, обрызгнутыми черными, как маковки, родинками, тетки Марийки.

Тетка замахнулась полотенцем: мол, иди отсюда, не пушу беду на свой порог. Но, муж ее, суровый, бровастый, усатый дядька, прищыкнул. И причитая, одновременно жалеючи и ругая себя за жалость, Марийка дала четверть хлеба, да еще холстинный мешочек пшена, и небольшой, в два пальца, коричневато-прозрачный со слезой и духовитый кусок копченого сала — это была жизнь.

Пока бежала со всех ног к Пете, все время внюхивалась в этот запах, от которого кружилась голова. И ей казалось, что и дувалы, и утопанный до блеска земляной тротуар, и резной карагач возле колонки, и серые горлицы над головой, и даже дальний край неба — все пахнет этим малоросским копченым салом, дающим жизнь.

И только примерно через десять дней на пороге их барака появились люди. Это были две женщины и мужчина — все в форменной одежде, перепоясанные внахлест ремнями.

Ирину с Петей поместили в детприемник, откуда должны были этапировать в лагерь для детей врагов народа.

Потом в детприемник вошла женщина, видимо, начальница этого отделения. Ирина навсегда запомнила ее. Это была коренастая, в суконной юбке, открывавшей крепкие икры, молодая женщина, стриженная, с гребенкой в волосах и неулыбчивым крестьянским лицом. Она все что-то долго-долго думала, сидела, вставала, прохаживалась туда-сюда, курила в форточку папиросы, выходила, заходила обратно, опять курила.

Потом сказала Ирине: «Ну, вот что — по документам, мать твоя болела туберкулезом: я вас отправлю в санаторий как больных по контакту. А там. Как судьба». И только в этот момент что-то вроде улыбки тронуло сухую складку прямого узкого рта. Мама мне потом всегда говорила одно: «Пожалела нас, спасла. Я ее всю жизнь помню».

И почти полгода Ирина и Петенька жили в хорошем месте, где всегда было много вкусной еды, где было светло, журчали фонтаны, ласковый персонал — нянечки и сестры в белых халатах, как ангелы.

А дальше те же ангелы разлучили их с Петей.

Ну, не они сами так захотели, может сами бы и не захотели, но такой поступил приказ: всякому раю на земле приходит конец. И ангелы тоже подчиняются чьей-то более сильной воле. Они даже плакали — жаль было разлучать сирот; но отдали Петеньку в дом малютки — он был еще слишком мал, а Ирину перевели в простой обычный детский дом.

Мама чуть не каждый день сбегала из своего детдома к Пете — такая у нее была отчаянная привязанность к брату... Ее гнали из дома малютки, ее наказывали в ее детдоме, запирали в кладовой, лишали обеда. Ничего не помогало. Брат — это все, что у нее осталось от семьи...

Но жизнь в стране шла своим стремительным ходом дальше, не обращая внимания на частные драмы.

Петя чуть подрос, это был удивительно красивый и смысленный ребенок, и его усыновила семья военного

летчика. Семья была, была молодая гордая жена — а вот детей завести бог им не дал. И они забрали себе нашего Петю. Ну то, что забрали себе маминого брата, в этом ничего нет плохого, а вот то, что маме не давали с ним общаться — это было жестоко.

В какой-то мере понять их можно.

Они не хотели, чтобы Петя когда-нибудь узнал, что он не родной их сын, они хотели сохранить тайну усыновления, но поперек их тайны стала маленькая девочка. Со своей никому не нужной любовью и страстной отчаянной привязанностью к брату, со своим горем и одиночеством.

Мама так и не смогла вспомнить, откуда она узнала адрес и вообще как узнала, что Петю усыновили именно эти люди, я не знаю — не помнила, а, может, просто не захотела мне открыться, может быть, даже много-много лет спустя не захотела выдать имени человека, вероятно кого-то из персонала дома малютки, нарушившего свой служебный долг ради никому не нужной сироты. И взял с нее слово навсегда никому не проговориться.

Только теперь она стала тайком убегать уже к дому этого летчика и караулила и поглядывала из-за стволов дубов и карагачей, когда жена летчика выходила с Петей на прогулку...

В тот момент государство вело отчаянную борьбу с беспризорностью, повсюду открывались трудколони по примеру макаренковской, детдома, приюты — детей забирали с улиц и для усиления почина, было такое вот негласное решение, возможно, даже изустное, в Казахстане, чтобы партийная номенклатура тоже приняла участие в программе усыновления детей-сирот. И тогда детей стали пачками разбирать из детских домов в семьи партийных работников. Маму забрал первый секретарь обкома партии города Чимкента.

У нас до сих пор хранится документ: справка об удочерении, в которой у мамы длинная, сложная казахская фамилия.

Но как выглядели приемные родители, мама не помнит.

Помнит только, что сидела на какой-то низенькой скамеечке, в углу огромной, крашенной известью комнаты, вдоль стен были свернуты длинными рулонами кошмы и атласные, переливающиеся, зеленые, малиновые, желтые, расшитые диковинными цветами и райскими птицами одеяла.

Родители новые не обращали на нее никакого внимания, своих собственных детей к ней не подпускали. Только иногда приходила старуха, одетая в длинное до пяток платье, в расшитой бисером и золотыми нитями жилетке, на голове ее был чепан, обмотанный белым кисейным платком, из-под чепана виднелось крошечное коричневое личико и злые щели глаз. Старуха молча садилась на подушки в другом углу и принималась разглядывать маму, потом так же молча подходила к ней и больно щипала за икры или за щеку. После чего удалялась — мама страшно боялась эту старуху. Но никому не жаловалась: молчала и терпела.

Так она год и просидела на скамеечке в большой пустой комнате.

К тому времени зачин по усыновлению детей пошел на спад, и маму вернули обратно в детский дом.

И в первый же вечер мама улизнула из него через дыру в заборе и со всех ног помчалась к дому, где жил военный летчик, она так истосковалась, что ни о чем не думая взлетела по лестнице на три пролета вверх и нажала кнопку звонка. За дверью мелодично претеленькало, и на пороге появилась красивая летчикова жена в креп-жоржетовом, в пене оборок нарядном платье, от нее пахло дорогими духами, видимо ждали гостей, но она вмиг побелела и отшатнулась, из глубины квартиры мужской теплый баритон спросил: «Ляля, кто там?» «Ошиблись квартирой», — немедленно ответила Ляля и захлопнула перед мамой дверь. Но мама не сдавалась, она опять позвонила. Тогда Ляля вышла наружу и яростным полупшепотом, забыв, что она — жена летчика, что она — красивая интеллигентная дама, — стала ругаться самыми площадными и бранными словами:

— Негодяйка, шалава, убирайся вон, наглая тварь...
Я сейчас милицию вызову, скажу, что ты воровка...

— Вызывайте, это вы воры, вы у меня брата украли.
Верните Петю, он мой брат, — тихо, но твердо ответила мама.

Тут вдруг лицо женщины перекосило страданием, она мгновенно стихла, заплакала, и маме показалось, что сейчас прямо на лестничной площадке летчикова жена рухнет перед ней на колени. И испугалась, что это вот-вот случится, а жена летчика совсем другим, севшим голосом, в котором сквозило отчаяние, обратилась к маме: «Прошу тебя, уходи, я тебя умоляю... пожалей нас... меня... он теперь мой сын. Я люблю его. Прости. Я так люблю его...».

И мама ушла.

Но вот, наконец, судьба подобрела к маме. Ее удочерили, и на этот раз навсегда.

А удочерила ее моя любимая бабушка, Александра Максимовна Ившина, в недавнем прошлом воспитатель трудколони для малолетних преступников, а в тот год уже учитель начальных классов школы имени В. И. Ленина.

Мама долго крепилась и не ходила к Пете. Ей не хотелось обижать бабушку, не хотелось ничего от нее скрывать, бабушка не одобрила бы подобных визитов. Но уже перед самой войной не удержалась, и ноги опять принесли ее к тому заветному дому.

Она долго стояла, караулила, ходила подряд несколько дней, но ни разу не встретила Лялю на прогулке с Петей. Маме ничего не нужно было: она издали хотела увидеть своего брата. Потом решила, вошла в подъезд и долго стояла на лестничной клетке возле двери, все не решаясь позвонить; потом внизу хлопнула входная дверь, по лестнице поднялась пожилая дама, она удивленно оглядела маму.

— Девочка, ты к кому?

— К Комаровым.

— Да они здесь больше не живут. Они давно уехали.

— Как? Куда?

— Он же военный — перевели в другую часть. А куда — не знаю...

А потом началась война и навсегда захлопнула перед нами дверь, за которой остался мамин брат, а мой родной дядя, Петя, Петр Леонидович, или Петр Львович Чернышёв, ставший Петром Комаровым, а может, он и не Петр, может быть, они метрики вообще поменяли, а как их судьба сложилась, пережили ли они войну... тайна.

Ведь если он выжил, вырос, женился, то через него, инкогнито, неведомо ему самому, продолжилась ветвь чернышёвского рода, через него где-то гуляют по белу свету внуки моего деда, мои двоюродные братья, сестры, и племянники. Я думаю о них. Я думаю о своем дяде, о бабушке и дедушке, которых никогда не видела. Они отразились во мне через маму и отпечатались навсегда.

Вместо эпилога

Я жила со своей любимой бабушкой Александрой Максимовной Ившиной, она уже была на пенсии, а я хотела пойти в первый класс с шести лет и поэтому на семейном совете было принято такое вот решение. Я переехала в Чимкент, к бабушке: родители осваивали новое горно-рудное месторождение в предгорьях Каратаусского хребта, в двухстах километрах от Чимкента..

Мы жили в доме сталинского ампира, на противоположной стороне находился Пионерский парк, мы гуляли там почти каждый день. Вдоль аллея парка росли неохватные дубы, поэтому все скамейки, дорожки и клумбы, были усыпаны лаковыми бочонками желудей, которыми я набивала карманы школьного фартука. Кроме дубов вдоль аллея стояли гипсовые горнисты с золотыми горнами и разные герои-пионеры. В глубине парка располагались два старинных красивых здания — в одном находился институт культуры, в другом — дом пионеров, куда я ходила в балетную студию к однокурснице Галины Улановой.

Это был мой любимый парк, и когда я подросла, уже лет в четырнадцать, в один из приездов в Чимкент, мы гуляли в нем с мамой, подошли к институту Культуры, и тут мама вдруг сказала: «Знаешь, Света, а в этом здании когда-то работал твой дедушка, у него была пушистая светлая бородка, и ходил он с тростью вот по этим самым аллеям».

Я просто встала как вкопанная — ни о каком дедушке с бородкой и тростью я понятия не имела, слыхом не слыхивала.

И вот тогда, в тот день, я и узнала всю эту историю. А еще меня как громом поразило то, что, оказывается, мой самый близкий друг, мой наставник по жизни, мой доверительный собеседник, моя бесконечная любовь — моя бабушка Александра Максимовна Ившина — мне не родная по крови. И что вся эта многочисленная уральская родня на станции Вязовой, куда мы каждый год выезжали всем семейством, все эти, как мы их называли, уральцы, и начальник вязовского депо, дядя Шура, муж старшей бабушкиной сестры, тети Муси, и дядя Женя, фронтовик, бабушкин младший брат, директор Катав-вановской средней школы, который когда-то работал непосредственно с Макаренко, его три сына, среди которых был физико-математический гений, Вовка, поступивший в МГУ с лету, и весь этот глубоко корнями вросший в уральский горный хребет многочисленный род Ившинных-Гладышевых, принадлежностью к которому я так гордилась — все-таки не совсем мой. То есть, мой, конечно, но не кровно...

С того дня я навсегда утратила целостное представление о самой себе. Как будто у меня только половина тела, половина головы, половина души.

А вторая часть меня где-то блуждает в потемках времен, и нам никогда не суждено соединиться...

Хочу быть нормчелой!

Сегодня вошла в скайп, я вообще редко туда хожу. И сразу мама звонит. Она, наверное, дежурит.

Говорит: «Что-то ты какая-то грустная...»

Я говорю: «У меня приступ мизантропии. Вокруг многовато дураков, а я умная. Вот и грущу».

Мама высказывает мысль примерно следующего содержания: «А, может, тебе перестать быть умной, может, и вокруг тогда дураков станет меньше?»

Я начала жаловаться, что мои дети не хотят учиться. Тогда мама начала говорить, что это я плохая мать, и я во всем виновата, с ними надо заниматься, а я ничего не делаю...

Тогда я говорю: «Ну, ты же не занималась со мной».

Тогда мама говорит: «Я на трех работах работала, мне было некогда. И ты была умная, с тобой не надо было заниматься. А у тебя дураки, и ты с ними должна заниматься».

Маша начала поддакивать, что мне на детей пофиг. «Да, — говорю, — Маша, я и за тебя в институт должна ходить учиться».

Потом Маша рассказала, что назвала ее на днях толстой и спрашивала, почему она не ходит больше гулять, предполагая, что она, Маша, поругалась с друзьями. Якобы в моих предположениях слышались злорадные нотки.

И тут маму реально начало заносить:

«Ты лентяйка. Ты до восемнадцати лет ни разу трусов не постирала. Все, что ты умеешь, это трахаться. Да ты самый настоящий эгоист, думаешь только о себе. Зачем ты рожала? Таким рожать нельзя...»

Я Маше говорю: «Ты вот уже расстроилась, что я тебе сказала, что ты потолстела чего-то, а я каждый день такое

вот по два-три часа выслушивала. Массированная моральная атака каждый день. У меня была самая настоящая токсичная мать».

И теперь Сева на меня давит, чтоб я рисовала ему космонавта. Я говорю: «Рисуй сам». Он специально рисует плохо и говорит: «Вот, вот тебе космонавт!» Потом он говорит жутким голосом: «А сейчас я буду стирать, что нарисовал». И стирает. Потом опять рисует заведомо плохо. Потом опять стирает.

В общем, вот мне космонавт...

Я загналась теперь и думаю, что я реально как те тёлки из кино, которые сидят целый день перед телевизором и заливают горе пивом и наркотой... Только я не наркоманка, не алкоголик и даже не курю. Хочется, конечно, как-то выбраться... Но я пока не знаю, как.

Я вообще хочу быть нормальной. Стараюсь. Но общество стало какие-то непомерные требования предъявлять по отношению к нормальным. Нагрузка на нормальных стремительно растёт. Ненормальным быть значительно, значительно проще. Но я пока не сдаюсь, моя борьба за нормальность не закончена. Психом я всегда стать успею.

Недавно активно стали внедрять феминитивы. Будто женщин стало оскорблять, что их называют словами в мужском роде, а надо только в женском, иначе это дискриминация. Вот интересно, как слово «человек» придумать в женском роде? И я придумала. Нормальный человек — сокращенно «норм». А «человек» — сокращенно «чел». Вот я и буду зваться теперь нормчелой. А мне вот как мужиков называть? Я, например, говорю: «Ты ж моя радость, моя надежда и опора». А мужик мне сразу ответит: «Что меня бабскими словами этими называешь?» И я тогда скажу: «Ой, прости, ты ж мой радост, ты мой надежд и опор!»

Вчера приняла участие в митинге против пенсионной реформы. На Суворовской площади собрались представители оппозиции, и моя партия тоже. Мне доверили флаг партии. Когда держишь флаг, то вроде ты уже не просто человек, а человек с флагом. Приятно смотреть,

как белая ткань с логотипом партии развевается в небе. Нам сказали стать как можно ближе к сцене и не пускать вперед наших главных конкурентов в желтых кепочках — партию «Справедливая Россия». И мы расслабились только тогда, когда люди в желтых кепочках сказали, что не претендуют на наше право стоять впереди. Оказалось, что они за Путина и только делают вид, что участвуют в протестном движении. Лицемерят. Одновременно с нами на другой площади проходил такой же митинг, но его проводили коммунисты, и с ними тоже нашей партии не по пути. Те, как мне сказали, вообще крайне левые и за Собянина. А нам никак нельзя быть за Собянина, потому что он поддерживает грабительскую пенсионную реформу. Позже я узнала, что представители альтернативного митинга в том же самом обвиняли наш митинг, что за Собянина мы, и объединяться не захотели тоже мы. Мне выдали наклейку, и я наклеила ее на грудь, обещали, что клей легко счищается. На наклейке было написано: «Народ против пенсионной реформы!» И все проходящие мимо меня спрашивали, где я взяла такую наклейку, и хотели себе такую тоже.

По телевизору передали, что сегодня с 11 до 12 будут производиться испытания систем оповещения. Чтоб мы, жители, не пугались. Открыла окно — гудит сирена! Работает! Гудит!!! Теперь-то я спокойна: нас предупредят о ядерном взрыве сиреной. Мы точно узнаем, что нас взорвут!

Недавно прочитала у своей подруги-психолога в блоге, что мы все с возрастом превращаемся в невидимок. Вроде как мы есть — и одновременно нас нет. Большую часть своей жизни мы потратили на то, чтобы стать невидимыми. Чтоб нас не замечали родители и лишней раз не тревожили упреками. Не видели учителя, не вызывали и не ставили двоек за неделанное домашнее задание. Не видели хулиганы на улицах. Контролеры — в транспорте. Не видели наши работодатели и не заставляли сделать внеурочную работу. И со временем люди начинают воспринимать нас как невидимок, не видят, что у нас внутри, и им неинтересно. И, получается, что живешь со-

вершенно зря... Ты умрешь — и никто не заметит. И скажут: «Какой удобный человек умер, никто его никогда не видел». И еще добавляют: «Да, это был такой хороший человек. Он умер, и мы не грустим, он заранее позаботился о том, чтобы мы не грустили, когда он уйдет на радугу». Наверное, я такая невидимка для мужа, а он — для меня. Когда мы не видим друг друга, у нас мир и гармония, а когда видим — мы страшно ругаемся, и к нам сразу прибегают соседи с пожеланиями, чтоб мы не кричали. Всем соседям нужны такие соседи, которых не видно и не слышно. А ведь есть где-то и целые государства, о существовании которых люди даже не догадываются.

Дочь Аглая сегодня с утра опять недовольна. Я говорю: «У тебя плохое настроение уже вошло в привычку. Ты один день в плохом настроении, другой — и всё, каждый день плохое настроение, потому что это уже привычка. А надо сопротивляться, вырабатывать привычку быть всегда в хорошем настроении».

Аглая говорит: «Невозможно быть всегда в хорошем настроении!»

А я: «Как же невозможно, вот я же всегда в хорошем настроении».

Тогда Аглая говорит: «Просто у тебя зона 25 не перезагружается. А если бы перезагружалась, то твоего хорошего настроения не было бы».

Таинственная зона 25... Которая у меня не перезагружается...

У нас с детьми один телевизор. И вот я решила, что буду смотреть шоу «Голос». Дети стали прятать пульт, объяснив, что у них другие планы на телевизор. Это была безуспешная попытка. Тогда они предложили сыграть в игру «Камень, ножницы, бумага». Объяснили мне правила, что ножницы режут бумагу, бумага заворачивает в себя камень... В общем, я поняла... Но сразу предупредила, что всё равно буду смотреть «Голос», независимо от результата. В результате мы вообще телевизор не смотрели.

Сева всякий раз после прочтения стишка про камень-ножницы спрашивал: «Что ты, мама, выбираешь?» А я:

«А ты что?» И мы начинали втроем долго смеяться... Не знаю, почему... У нас болели животы, так мы смеялись. Сева тогда первым называл, я вторая, и я всегда побеждала.

В итоге игра трансформировалась в игру «Кто кого побеждает».

Я нашла хорошее слово «бессмертный». Я пять раз была бессмертной. Бессмертной мамой, бессмертным зайцем, бессмертным роботом, бессмертным драконом... Наконец, дети ввели новое правило, что бессмертным быть нельзя. Хотя я им подсказала, что бессмертного убить нельзя, зато можно его обезвредить, где-нибудь замуравив или посадив на цепь...

Тогда я стала использовать слово «непобедимый». Я была непобедимым микробом, непобедимым волшебником, непобедимым звуком... И так мы играли часа два. Сева назвался слоном, Аглая — огнем, а я — айсбергом... И я опять победила. Потому что огонь растопит айсберг и в воде потухнет, а слон в воде утонет. Сева возразил, что слон умеет плавать. Тогда я сказала, что слоны все равно погибают в холодной воде... И все согласились, что я победила опять.

И тогда Сева назвал слово «пробки». Я сказала, что я инспектор ДПС. А Аглая сказала, что она мэр Москвы Собянин. И победила. Очень хотелось, чтоб мэр Собянин победил пробки, поэтому я согласилась на победу Аглаи.

Снилось, что я на крыше очень высокого здания. Здание такое высокое, что подпирает собой облака. Облака серебряные и кажутся твердыми. Они словно острова в небе. И я хочу ступить на облако. Спрашиваю: «Можно ли ступить на облако?» А мне отвечают, что лучше не стоит. Говорят, ты же знаешь, что облака не твердые, а на самом деле это пар... И меня охватывает страх. Я начинаю двигаться к выходу с крыши как можно быстрее, потому что боюсь самой себя, думаю, что не смогу себя удержать и наступлю на облако.

Разговаривала с другом Яковлевым, поныла ему, что люди — сволочи... Яковлев сказал: «Ну, у тебя же, Ната-

ша, у самой заскоки, все знают, что у тебя заскоки такие, заскокищи». А я говорю: «Не знаю, какие у меня там заскоки. Мне всё чаще кажется, что я в этом мире один нормальный человек остался». Яковлев тогда говорит, что всем ненормальным кажется, что они нормальные. «Неправда ваша, — говорю я. — Я всё время подозреваю, что больна и периодически хожу лечиться к психотерапевтам. Все психотерапевты говорят, что я поразительно нормальный человек, что я настолько адекватный человек, что это уже само по себе ненормальность, и они такую особь, как я, встречают впервые, и гонят скорее из кабинета, мол, мы не знаем, как вам помочь, вы нормальная абсолютно, не приходите к нам больше, и даже за деньги отказываются лечить, потому что невозможно вылечить абсолютно здорового человека. Нам, здоровым, приходится страдать от здоровья. В общем, у меня справка есть». На что Яковлев сказал, что я всегда умею поднять настроение и вселить в людей оптимизм.

Самые счастливые люди живут на берегу моря... Даже если опасность цунами и запах рыбы... Все равно они самые счастливые... Чтоб, прям, вышел из дома — и уже берег... И волны бесконечно накатывают одна на одну...

Как ни выйду на улицу, там — дождь, серость, мерзость, увядание. Осень. И все время натыкаюсь на одну и ту же тройку серых голубей. Они загружаются в самую глубокую лужу и воображают себя в джакузи. Сидят нахохлившись, как важные английские лорды. Курят этот прекрасный октябрьский день. Иногда спрашивают: «А не выпить ли нам чаю, сэръ?» И отхлебывают из лужи. Наверное, когда принимаешь ванны посреди улицы с товарищами, мимо проходящие люди кажутся жалкими плебеями без крыльев, которые вынуждены всю жизнь ходить не в своей шкуре.

Как же всякий раз хочется в эту лужу, но возникает непреодолимое ощущение, что эти три голубя никого не принимают в свой счастливый клуб.

Бабье лето

There is no easy way to stay a live.

После холодного дождливого лета, тянувшегося бесконечно долго и закончившегося без солнца, без просвета, неожиданно наступило долгожданное тепло.

«Вот и бабье лето пришло», — услышала в автобусе Татьяна Васильевна, и сразу же солнечный свет, и удлинившийся, будто день, и мягкие тени нашли свое объяснение. Тотчас из этого сочетания слов возникло воспоминание — сначала пряный влажный запах сельдерея и укропа на осенних грядках, а после — картины первого бабьего лета на даче.

Это была идея мужа — купить участок, построить дачный домик, разбить небольшой огород для свежих овощей. Сначала Татьяна Васильевна слышать об этом не хотела: она не любила дачную жизнь, которая в ее представлении была связана со множеством неудобств — необходимостью жить по новым правилам, вести дачное хозяйство, зачем-то отказавшись от городского комфорта. Для нее приобретение дачи символизировало отречение от всех устремлений юности, окончательную остановку, признание ограниченности своих возможностей. Но постепенно она поддалась на уговоры мужа, который уже был захвачен дачной лихорадкой, и весну они провели в бестолковых хлопотах, пока наконец не выбрали место на холме, недалеко от узкого озера, противоположный берег которого зарос глухим лесом. К началу осени был поставлен сруб, посажены кустарники, а на одной из грядок чудесно выросли укроп и сельдерей, и ей казалось, что она тонет в их аромате.

— Как хорошо, — выдохнула она.

Муж победно взглянул на нее:

— Вот видишь. Разве в городе мы заметили бы бабье лето?

После она удивлялась: как случилось, что грустные осенние запахи, печальная прожелть берез оказалась для нее самым острым воспоминанием о счастье?

В тот год ее захватило чувство незавершенности — столько было дел срочных и несрочных, заставивших их жизнь до горизонта — обустройство дома и участка, выплаты долгов, смена жизненных планов, ритмов. Пришлось отказаться от поездки на юг, а еще сколько компромиссов впереди, пока не устоится жизнь. Только дочери все нравилось. Она бегала по дому, а потом принялась сооружать шалаш из валявшихся веток. Татьяна Васильевна запомнила золотой свет берез, щебетанье дочери, мокрую дорожку к дому, зеленые островки сельдерея. Неосознанно для себя она хотела удержать эти мгновения или хотя бы дождаться, добиться их повторенья.

Тогда она не знала, что дача останавливает время тем, что повторяет жизнь в самых мелочах. Татьяна Васильевна не заметила, как покорила дачной рутине и перестала считать года.

Но когда-то незаметно жизнь переломилась, будто что-то подтачивало ее. И хотя Татьяна Васильевна была предупреждена, что придет пора и она будет считать потери, она оказалась не готова к разрушению. И сейчас она, любившая мечтать и строить маленькие и большие планы, жила только настоящим, боялась заглядывать в будущее, и все ее усилия, как выяснилось, тщетные, сводились к старательным и отчаянным попыткам удержать прежнюю жизнь, спасти ее от исчезновения.

Зазвонил телефон.

— Ты где? — мать звала ее жалобно и требовательно, как она сама звала ее когда-то с бесчисленными просьбами: дать, сделать, защитить; мать могла все, а она чувствовала себя беспомощной и потому виноватой.

Ежедневные поездки к матери через весь город выматывали ее, а мать, кажется, не замечала ее усталости, жаловалась на болезни, но на самом деле на невнимание: почему она должна быть одна? Кто ее поддержит?

Недавно мать стала слепнуть, нужна была операция, но мать почему-то тянула с решением, отговаривалась, хотя Татьяне Васильевне казалось: какой пустяк — операция, надо сделать поскорее и двигаться дальше. Она даже сердилась: как можно безвольно ждать чего-то, каждый день все больше погружаясь в темноту? — пока однажды не поняла: мать столкнулась с чем-то большим, чем слепота: со страхами, которые ей пока не понятны, потому что они с матерью вдруг стали жить в разном времени, на самом деле всегда жили, и сейчас обе чувствовали одиночество, отчуждение, досаду друг на друга.

— Я уже в автобусе, — откликнулась Татьяна Васильевна и подумала, что надо наконец предложить матери переехать к ней.

В тот год соседка пригласила посмотреть свой участок. Неожиданно они очутились в ботаническом саду, среди разнообразных растений: незнакомые травы, цветы, кустарники были собраны с любовной тщательностью. Татьяне Васильевне показалось, что притихший сад находился в непрерывном движении: формы и краски переливались, переходили одна в другую, меняли очертания, так что можно было услышать их звучание, будто невидимый оркестр исполнял музыкальную пьесу, забытую и волнующую. Татьяна Васильевна почувствовала радость, словно с ней случилось что-то хорошее, ее сердце наполнилось любовью к миру, к маленькому саду в его тихой осенней прелести. Она взглянула на соседку: некрасивое лицо женщины светилось от счастья. Татьяна Васильевна подумала, что соседка знает секрет блаженства, и, может быть, когда-нибудь она сама сможет полюбить глухое место, одиночество, сделать из него картину, сад радости, короткого бабьего лета.

Мать встретила ее молчанием, погруженная в себя, отгороженная своими мыслями, и Татьяна Васильевна,

как всегда, почувствовала себя виноватой. Она стала искать подходящие слова для разговора и неожиданно для себя выпалила, как девочка:

— Мам, переезжай к нам. Ну хотя бы на время, пока не восстановится зрение. Лизина комната свободна.

Она замерла, ожидая ответа.

— Нам вдвоем не ужиться, — сказала мать, не взглянув на нее, как о само собой разумеющемся, с чем она давно смирилась. И хотя это была правда, слова матери ранили, и Татьяна Васильевна устало подхватила сумки, ушла на кухню готовить обед.

— Как Лиза? Не звонила? — спросила мать. В этом вопросе Татьяна Васильевна тоже услышала упрек: плохая дочь, плохая мать.

— Давай я приготовлю тебе щи на завтра, — она научилась у матери избегать неприятных разговоров.

— Не надо, у меня есть еще бульон, — проворчала мать.

Татьяна Васильевна знала, что это согласие. Щи, приготовленные по правилам (все овощи с дачных грядок), напоминали о незыблемом порядке, на котором держался мир матери с детства: на утро каша, в выходные щи. И еще это означало, что она проведет с матерью целых три часа.

Недавно мать пристрастилась к радио, каждый раз при встрече она подробно пересказывала последние новости, и Татьяна Васильевна приготовилась слушать долгий рассказ и думать о своем.

Но мать опять спросила:

— Ты ничего не сказала о Лизе. Почему она не звонит?

— Мама, ты знаешь, у Лизы сейчас трудный период. Ей не до звонков.

— Как не до звонков?

У матери дрожат руки, когда она берет ложку, и у Татьяны Васильевны сжимается сердце.

— И как теперь живут дети? — продолжала мать. — Без дома, без семьи, без дела. Раньше такого не было. Ты думаешь о том, что с ней будет дальше?

— Мама, давай пить чай.

Еще они ходили в лес, и Татьяна Васильевна узнала, что в лесу так же хорошо, спокойно, как на берегу океана, она входила в лес, будто погружалась в морскую воду: лес принимал в свою бесконечность и дарил свободу. Муж был заядлым грибником, а она бродила вдоль тропинок и дорожек, и, когда грибы не попадались ей, то забывала о цели и бездумно счастливо шла вперед, мимо знакомых коряг, желтевших кочек, маленьких болотцев с редкими просыпанными пригоршнями клюквы, — все кругом отдыхало, засыпало; без страха и смятения проживало неспешно осенний прозрачный день.

Татьяна Васильевна засобиравшись домой, как всегда в смятении ожидая момент расставания, когда на опавшем лица матери появляются усталость и отчуждение. Неожиданно мать спросила:

— Ты думаешь, там что-то есть?

— Где?

— Бог, иной мир.

— Ах, мама, откуда же я знаю, — сказала Татьяна Васильевна, торопливо закрыла за собой дверь.

Сама жизнь на даче была столь полной, надежной, что, казалось, будет длиться вечно, ибо не предполагала новых желаний, тоски по иному, она уравнивала все на свете, сглаживала острые углы, поглощала дурное, успокаивала, баюкала. И как, какой силой был разрушен этот покой?

Татьяна Васильевна шла к остановке мимо рядов ящичков, на которых были выложены первые плоды осени: морковь, тыквы, урожай зелени и яблок. Осень пришла, неизбежно, как всегда, и как всегда, ее приход принимался как должное, никто не роптал, не просил остановиться, побыть несколько минут в лете, в солнце, в надеждах. И она тоже молчала, шла следом за всеми.

Татьяна Васильевна набрала телефон дочери.

— Лиза, ты почему не звонишь?

У Лизы голос сонный, хотя уже вторая половина дня:

— Все в порядке, мама, ты знаешь. Я бы вечером позвонила.

— Как ты? Ты ешь хоть что-нибудь? У тебя есть деньги?

— Мама, все в порядке.

Татьяна Васильевна неловко сдвинула телефон, и звук отключился. Она не сразу поняла это и продолжала говорить:

— Послушай меня, Лиза, мы с папой тебя ждем. Поживи дома хотя бы немного, тебе нужно отдохнуть. Я прошу тебя, Лиза.

Не дождавшись ответа, Татьяна Васильевна опустила трубку и, помедлив, вновь набрала номер.

На другом конце неохотно ответили:

— Да, — и после паузы продолжили скороговоркой: — Мама, у меня все нормально, не нужно беспокоиться, я же сказала, что позвоню.

И телефон опять отключился.

Дома Татьяна Васильевна собрала сумки, чтобы ехать на дачу. Кажется, ничего не изменилось за эти годы: пятница, сумки собраны, и она ждет возвращения мужа.

Но как светла была дорога в этот раз и бесконечна — так же, как много лет назад, когда они одолевали поворот за поворотом, по дороге, то уходившей вниз, то поднимающейся вверх почти вертикально, так что казалось, им предстоит взлететь на стену, за которой пустота, невесомость. И сейчас Татьяна Васильевна испытывала то же чувство легкости и азарта, она думала, что всему причиной установившаяся, как много лет назад, теплая погода, тот же свет и те же тени, и те же лесные осенние запахи.

И, наверное, оттого, что они ехали долго-долго на дачу, как будто впервые, она начала смотреть на привычный пейзаж глазами чужого человека: на ряды сосен, сменяющиеся мелколиственным, и ряды домов, со временем перенявшими у здешней природы неустроенность и свободу. Иные из них пригнулись к земле, другие разметались, выйдя за предназначенные им пределы кривыми пристройками и покосившимися крышами. Все было ей незнакомо, и следы опустошения, которые она не замечала прежде, ранили ее. Но их дом, недавно подновленный, с большими окнами, показался необычайно друже-

любным, и посаженные за долгие годы кусты рябины, боярышника, жимолости излучали спокойствие. Трудно было представить, что когда-то это место заросло дикими травами, и они с мужем отвоевывали метр за метром каждый год. Она подошла к сосне, росшей на краю. Когда-то они с Лизой нашли крохотную сосенку на вырубке, посадили недалеко от дома и забыли о ней, но вот та поднялась из трав, веселая, цветущая, однажды набросала шишек и унеслась от них высоко-высоко, раскинув у земли длинные зеленые ветки. В жаркие дни сосна источала особый кварцевый запах; изнуренные зноем, они приходили к ней, ложились в тени ее ветвей, смотрели на облака, и тогда им казалось, что их неподвижность обманчива, что они плывут над землею вслед за облаками. Однажды они устроили пикник под сосной, но почему-то было неловко, словно они нарушили какой-то уговор, словно сосна ждала нетерпеливо, когда они унесут свои свертки с едой и лужайка вновь станет космической площадкой.

Татьяна Васильевна занесла сумки в дом. Назавтра нужно было начать приготовления к зиме, сделать необходимую работу в саду, но сейчас можно было позволить себе не спешить, быть праздными, как в самый первый год, когда у них не было ничего, кроме планов. Муж уже затапливал печь. Он сидел на корточках, неловко ссутулившись, и, войдя в комнату, в первый миг она не узнала его. Что-то новое непривычное проступило в его облике. Так бывает: неожиданно на какое-то мгновение в человеке проявляются черты его будущего, и сейчас это были контуры надвигающейся старости. Ее сердце сжалось от жалости к нему и себе, она подумала, хорошо бы они были ровесниками, тогда бы они менялись вместе. Татьяна Васильевна всегда боялась, что может потерять мужа, но впервые этот страх перерос в уверенность: она теряет его, ее одиночество близко.

Она заставила себя не думать о страхах, присела рядом с мужем:

— Как хорошо было раньше, — сказала Татьяна Васильевна, — Лиза маленькая, мама здорова. Помнишь, мы

сажали кусты смородины? Боже мой, почему теперь все не так, почему?

Казалось, муж не услышал ее, но через некоторое время ответил негромко, не глядя на нее:

— Не говори об этом. Об этом нельзя говорить.

Они вместе смотрели, как разгорается пламя, пожирая кору и бумагу, перекидываясь на лучину, подползая к сухим поленьям.

— Наверное, сегодня не нужно было топить печку, — сказала Татьяна Васильевна, — Такая теплая ночь.

Она вышла на крыльцо. День завершался, мутнел, серые, теплые тени ложились на землю, и недавно ясные очертания предметов становились чужими и странными.

Она еще видела яркие календулы у дома и чуть дальше темнеющий куст жасмина, но дальше, в глубине, ветки яблонь уже пропали в сумраке, и островок флоксов превратился в неясное пятно, и только она знала, что они здесь. Она подумала, что так и не смогла сделать дачу причудливым садом, как когда-то тайно мечтала. Но и то, что сделано ею, было хорошо и утешало. И сейчас она смотрела на засыпающий маленький сад, и прошлое перестало тревожить ее, а будущее было так далеко, что о нем нечего было и думать; уходящее летнее тепло окатило ее волной радости, и на мгновение, а оно длилось и длилось, она почувствовала себя счастливой.

Помидоры из Херсона

День похорон выдался жарким и сухим. Друзья дома сестры Порошины в черных «газовых» косыночках сидели у гроба Марго рядом с Катей. Кто-то входил, выходил. Соседка Анна выла «Нет!», пытаясь переспорить гроб. Курили в коридоре на лестничной площадке мужики. Переговаривались, что не развернуться с гробом в узких дверях. Аля отвернулась к стене, когда они потащили гроб в окно. Маленький автобусик подбрасывало на ухабах. Голова Ба подрагивала в открытом гробу. Аля еле сдерживалась, чтобы не придержать Ба голову, чтоб та шишек не понабивала.

— Может, накрыть? — спросил русский мужик.

— Не положено, — строго осадил его старенькая Катя, которая всезнала.

От базара до Камышан добрались за полчаса. Там у ворот кладбища еще кто-то ждал, пошел следом за гробом. У желтой глиняной ямы все сбились с шага, остановились. Поставили гроб на какой-то столик.

— Прощайтесь, — скомандовал незнакомый мужчина и все принялись подходить и прикладываться к восковому лицу Ба так поспешно, словно боялись, что он накажет. Только Тина всеплакала, все головой качала. «Как же так?» — будто говорила. Аля держала Тину — самую родную ей после Ба — и только ее слезам верила.

— Прощайтесь же, — поторопил кладбищенский командир и посмотрел на часы.

Аля смотрела под ноги и напряженно думала о своем. Кусала губу, пытаясь вспомнить, что же такое следует сделать, чтобы Баба встала, и не могла. Дерьмовым

апостолом, толпой дивящимся чуду Христову — воскресению Лазаря — стояла она у гроба, и недоумевала: откуда Тот рыжий полусын-полубог силы черпал, чтоб не знать-не слышать: «Уже воняет», и сдвигал камень? И Лазарь, путаясь в погребальных бинтах, заспанный, выходил наружу!

«Что же я стою, как те двенадцать уродов, что ни мертвых не воскрешали, ни больных исцелить не могли?!» — рокотало в ней отчаяние, и поднималось к горлу.

— Прощайся, — раздраженно подтолкнула Алю Ель.

— Попрощайся, — поддержала её, словно перевела с чужого, старенькая Катя.

«Да не хочу я прощаться!» — поднялся протест внутри. — Нечего указывать мне, что делать. Это моя Баба, я сейчас... »

— Попрощайся, Аленька, — жалобно попросила Тина, и слезки чисто и часто посыпались бисером из ее синих глаз. Аля качнулась в сторону узкого ящика, обитого дешевым голубым ситцем. И отшатнулась: не было там Бабы, в этом желтом лице с закрытыми глазами, в желтых руках, сложенных стопочкой, с желтым крестом из восковых свечей. От ящика тянуло сыростью, как от осенней реки. Аля подняла глаза повыше голов, туда, где открывалось небо.

«Баба, ты где?» — разорвался внутри пронзительный крик. Так она орала в парке, спрыгивая с карусели, когда кружилась голова и все вокруг сливалось в цветное месиво. Ба выходила из круга родителей: «Здесь я, не кричи. Это неприлично».

Аля готова была проститься, но Ба к ней не вышла.

— Прощайся же! — прошипела Ель, и подтолкнула ее в спину.

«Да не надо меня трогать руками!» — выдохнула Аля.

Отодвинулась от Тины, чтоб не задеть еененароком, отступила от гроба, установленного на деревянных козлах, оттолкнулась, что было силы, и рванула, куда подальше — на стык глиняного пересохшего, как стенка

кувшина, поля и вылинявшего в цвет обивки гроба, неба. Прочь от могилы, вырытой на краю безликого кладбища. Мимо экскаватора, водитель которого обедал, сидя в тени ковша у свежевырытой, про запас, могилы. Аля взлетела над этим полем. Увидела, как медленно поплыла у нее под локтем желтая степь, выгоревшая до белизны солома в горбатых низких стогах, обмелевшие запруды в густых камышах, серебристо-белые лилии в зеленой ряске... Дальше открылось бабино поместье Огищевка, усадьба Бурлюков за межой, где кучер пинал колеса брички. Потом сел, свистнул и цыкнул, и холеные тяжеловозы тронули с места. Бричка на смазанных скрипучих рессорах понеслась, подпрыгивая по пыльной дороге к городу, к белым колоннам гимназии княгини Половандовой, где стояла на крыльце строгая тоненькая Марго, застилась ладонью от солнца, тянула шею, вглядываясь в душную даль, где только то и было, что поля, да сухая земля, в которую ее вот-вот опустят.

Босяки из брички улюлюкали:

— Длинношеее животное! Жи-ра-фа!

Бричка раскачивалась, задрав колесо на тротуар, лошади фыркали, городской свистел. А тоненькая Марго делала вид, что не замечала ни рисунков, ни брички, выпрастывала повыше длинную шею из белого воротничка-стойки, словно силилась разглядеть себя самоев свежеструганном бедном гробу шестьдесят лет спустя после гимназии. И не достаивала босяков ответа.

Аля отторглась всем естеством от того места, где она бессильна, где открылось, что конец еевсемогуществу; что было оно в Ба, как Кашеева смерть — в яйце: не стало Ба — и всемогуществу еекрышка. Заколачивали еевсемогущество и спускали на потертых веревках в сухую желтую яму. Стучали о крышку комья рыжей глины, как град по крыше в середине мая, но этого Аля уже не слышала. Только парение и пустота, ворвавшаяся в неё, как гроза — в окно, не дали сойти с ума. Там, в небе, все как-то сравнялось: боль стала размером с небо и перестала быть острой.

Сухая земля осыпалась прахом с ее сандалий, отстала, отклеилась от подметок, не налипала и не тянула, последней картинкой оставив ей ржавый ковш экскаватора, загорелого дядьку с нехитрой снедью на выгоревшей мятой газете, и кровью брызнувший помидор — то ли надкушенный, то ли раздавленный сильной ладонью, что невольно сжалась, когда скошенный глаз его углядел летящую по небу орущую девочку.

Епоймали в том глиняном поле. Скрутили. Кто-то заламывал руки. Кто-то жалел: мол, не надо — больно. Ей всеравно было: не скрутили. Не поймали её: отлетела. Что осталось — пустяк, оболочка.

Добрая, мудрая, всемогущая Ба, кариатидой державшая свод Алиной жизни, осталась лежать в пересохшей земле, и рухнувшее без опоры небо газовой голубой косынкой накрыло выжженную солнцем степь. Горстка изведенных жарой людей забилась в раскаленную духовку автобуса, и он, фырча, пополз по разбитой дороге. Слово через стекло, Аля видела, как маминьы сослуживцы вошли в квартиру, от чего новая и пустая, она стала старой и тесной. Понурой чередой потянулись в ванную. Ель в четыре руки с голубоглазым мужчиной, раздвинула ломберный столик и покрыла его скатертью, вышитой Ба. Зазвенела посуда.

Аля ушла в свою комнату, которая вчера еще была «нашей». Оглядела её, пустую, и спазм стиснул горло. Поискала, куда бы сесть, но не смогла опуститься ни на кровать, где Ба задыхалась, ни на свою. Присела на подоконник. Глянула в окно, откуда открылся вид на бетонную стену автобазы с коробкой телефона-автомата. Задернула оранжевую штору, чтоб не видеть, и опустилась на бабин старый сундук в углу.

— Иди вымой руки, — скомандовала Ель, толкнув дверь.

— Зачем? — угрюмо спросила Аля.

— Так положено после кладбища. Ты землю бросала?

— Не бросала! — крикнула Аля.

Мать отшатнулась и вышла.

За окном стемнело. Слышно было, как кто-то звенел посудой. Аля вышла, когда всестихло. За дверью комнаты Ели звучали голоса. Она толкнула дверь. Ель стояла перед шкафом и бросала вещи в открытый саквож.

— Ты уезжаешь? — не поверила Аля.

— Да, — с вызовом ответила Ель.

— Куда? — с пристрастием уточнила Аля.

— В Крым, — ответил голубоглазый. — Понимаешь, детка, мы на работе дали маме путевку...

— Я вам не детка, — оборвала его Аля. — У тебя есть деньги на Крым, когда я должна была заказывать самый дешевый гроб? — вытолкнула она на выдохе последнее слово.

— Оставь меня! — вскрикнула Ель, закрывая локтем лицо.

Она уехала утром, не простившись.

Аля осталась одна. Сидела на полу, слушала как капала вода неизвестно где — то ли дождь, то ли кран на кухне. Аля проваливалась в сон, но видела только ковш экскаватора. Он нестерпимо сиял на солнце и неумолимо двигался на неё. Стальное лезвие похолодило лоб и обнажило простую мысль, что с Ба можно было не расставаться! Можно было размозжить себе голову об угол этого лезвия так, чтоб брызнуло из-под лба, как из помидора, что раздавил экскаваторщик, когда она пролетела мимо него.

«И положили бы нас вместе, — пробудилась Аля. — В одной могиле, как в египетской пирамиде: Фараон — и его Ушебти».

Маленькие, одинаково остриженные куколки в одинаковых белых нарядах — «ответчики» — Аля видела их в учебнике истории. Они сеяли, жали, вязали снопы и собирали в стога урожай на фараоновых землях, пока тот почивал, спеленатый широким белым бинтом в странном гробу, похожем на разрезанную вдоль, а не поперек матрешку. Свободный от дел, от земных хлопот, и даже от маленького своего сердца, фараон отдыхал. Огромная птица с широким клювом и человеческими руками взве-

шивала его сердце на больших весах, где гирей, измеряющей грехи, служило перо неведомой птицы, покоящееся на другой чаше весов. Ушебти окружали его и ждали, когда фараона разбудят и, например, позовут пахать. Их делом было немедленно вскочить в своем маленьком гробике, закопанном подле фараонова саркофага, ожить, крикнуть во всегорло «Я за него!» — и вспахать всё, что Фараону велят.

«Баба, я — за тебя...»

Аля осеклась, вспомнила, что ничегошеньки она не могла за бабу — даже простого укола маленькой иглой.

«Лежала бы я под боком у Ба, и не было бы этой боли и пустоты».

Она открыла глаза. Ба стояла под окном и смотрела на нее. Аля медленно поднялась. Тихо, чтоб не спугнуть Ба, на цыпочках прошла к двери, а там — опроретью выскочила за дверь, побежала вокруг дома, задыхаясь от страха: сейчас свернет за угол, а там — никого. Ба терпеливо ждала. Аля огляделась, не видят ли соседи. Ба пошла вдоль дома в сторону пустыря. В серо-голубом демисезонном пальто на фоне серо-голубого неба по свинцовому на рассвете асфальту. Она ступала неспешно, но Аля не поспевала за ней. Не оборачиваясь, Ба спросила без звука: «Как мама?»

«В Крыму», — буркнула Аля.

«Ну и хорошо, ей надо отдохнуть».

«А ты, Ба? Как ты ТАМ?»

«Хорошо», — кивнула Ба, и кивок вместил в себя все о том, что там сухо, тепло, уборная не во дворе и не надо топить печь.

«Я тебе „Север“ положила».

— Там не курят, — сказала Ба, и добавила:

— Не реви. Никуда я не делась. То, что положили в землю — это не я. Ты сама смотрела в ящик. Меня там не было.

«А где ты тогда?»

«С тобой. Глаза открой!» — строго приказала Ба.

Аля совершила неведомое прежде усилие и... открыла глаза. Она сидела на полу спиной к кровати. Аля встала,

выглянула в окно. На улице не было ни души. Только серо-голубое небо порозовело над крышами белесых однообразных домов. Аля заскулила зашибленным щенком, легла на кровать и повернулась лицом к окну, чтоб не пропустить Ба. Где-то капала вода и тянуло гарью.

— Как сделать, чтоб Ба не приходила? — спросила она у бабушки Кати, когда та вернулась в дом.

— Запечатать прах, — развела руками Катя так, словно ничего проще не было. — Боже милостивый! — сложила она ладонки и подняла глаза к небу. Потом достала из сумки большой носовой платок. Разложила его, старательно разгладив складки. И сказала: — Поедешь на кладбище, возьмешь с холмика земли. Положишь в платочек, вот так — конвертиком — завернешь аккуратненько, чтобы не просыпалась, и отнесешь бабюшке. Он отслужит панихидку над этой землицей, и все — поедешь назад и высыпешь на могилку. Это и будет печать. Чтоб не выходила она... Но после этого ты бабулечку больше никогда не увидишь. Ах ты, Господи! — закрыла она лицо руками. — На кого же ты меня оставила, сестричка моя дорогая?!

Аля поехала на кладбище. Растерянно замерла на центральной аллее, что тянулась от ворот в степь, и поняла, что понятия не имеет, куда идти. Спросить было некого. Она сделала глубокий вдох, словно перед прыжком в воду, зажмурилась, что есть силы, и... вспомнила, как взлетела над этим кладбищем. Оттуда — сверху — рыжая яма бабиной могилы, экскаватор и черные платочки старух, открылись слева от центральной аллеи. Аля открыла глаза и решительно пошла влево по узкой тропинке. Подивилась, как далеко протянулся ряд свежих могил, выстроившихся за бабиной ровным строем. Венки на рыжем холме выгорели на солнце, цветы в них завяли, пожухли, отчего казались тоже глиняными. Ветер трепал черную ленту с осыпавшимися буквами «Дорогой маме и бабушке».

«Спиритова Маргарита Михайловна» — прочитала Аля табличку. И две даты — пониже через черточку. Она

смотрела в даты рождения и смерти, и с ужасом признавалась себе, что ничего не знает о человеке по имени «Маргарита Михайловна». Бабина жизнь, завершившись, предстала книжкой с оторванной первой частью: все знания о бабиной жизни начинались с первого дня Алиной жизни. С того момента, когда неизвестная ей Маргарита Михайловна лишилась своего имени-отчества, и получила взамен ясное короткое имя «БА».

«Я ничего не знаю о тебе», — со стыдом сказала Аля холмику, и почувствовала себя сиротой. Так, словно ни отца, ни матери у нее отродясь не было. Аля испуганно быстро повторила про себя то, что Ба велела помнить: что крепость Александр-Шанц заложил Ганнибал, что Херсон строила императрица...

— София-Фредерика-Августа, — неожиданно вслух, как требовала Ба, повторила Аля, а имена бабиных папы-мамы — Спиритовых, Кабановых, Огищевых, Мясоедовых — исчезли из памяти. «Это ж мои дедушки-бабушки, — ужаснулась Аля, и понимая, что пробел не восполнить, жалобно проскулила: — Баба! Куда же ты?»

Ветер взвинтил бурунчиком пыль, и она встала столбиком, вертящимся волчком «вертолины», на дорожке между могил. Аля оглядела могилу, высохшие цветы, выгоревшую на солнце ленту, присела у могилы на корточки, поскребла сухую землю холма, и насыпала пригоршню рыжей глины в носовой платок. Вернулась в город. Лавируя в Форштадских улицах, как называла их Ба, прошла от базара к церковке Всех Святых на старом кладбище, подошла с узелком к алтарю, и робко заглянула в лицо бородатому мужчине в рясе. Тот кивнул, и взял с ееладони платочек с землей.

— Имя усопшего?

— Маргарита.

— Крещёная? — строго спросил он, и Аля кивнула.

Он отошел в угол к иконам, где принялся бормотать слова над горсткой земли в носовом платке.

— Упокой, Господи, душу усопшей рабы твоя Маргариты... Блаженны непорочнии, в путь ходящие в законе

Господнем, — погромче выкрикнул батюшка, и Аля сжалась.

«Господи, помилуй», — повторила она за батюшкой. Покосилась на иконы и подивилась: вместо гнева, что был, когда Бог прибрал ее бабушку, внутри поднялось согласие с Богом. «Прибрал... Я бы тоже ее прибрала».

Едва ли не впервые после детства она задрала голову и заглянула под купол. Увидела, как смотрело на нее небо, и снова, как в детстве, не поняла настоящее или нарисованное.

— Забирай, — закончил молитву батюшка и кивнул на платочек с землей.

Аля взяла узелок, и почувствовала, что после молебна он стал на ладони маленьким холмиком, внутри которого... «Ушебти», — снова пришлось впору чужое слово. Получилось, что на ладони у нее лежала есобственная могила, в которой покоилась маленькая она — «ответчик» за Бабу. Аля протянула батюшке намокшую в кулаке купюру, что дала Катя, но батюшка не взял.

— Сама крещеная? — снова спросил он, и когда Аля кивнула, добавил поласковее: — Свечей купи, да поставь, где Бог на душу положит.

Аля купила пучок свечей и побрела от иконы к иконе, впервые в жизни вглядываясь в лики на темных досках.

В тряске автобуса вернулась Аля в Камышаны на кладбище и высыпала пригоршню земли из носового платка на могилу. Ветер сносил пылинки, и Аля неизвестно зачем ловила их в воздухе. Присела на корточки, разровняла ладонями землю на могиле. Коснулась таблички с именем Ба. Впервые ее посетила мысль, что и у нее однажды будет могила, следом открылось, что она подле этой могилы стоит. И даже частично себя похоронила.

«Ушебти уже тут», — в растерянности повертела она носовой платок, подобрала веточку, копнула землю в уголке холмика и закопала платок в изножьи. Отерла руки о подол. И снова боль пронзила: Бабы нет. «Прибрал Бог», — напомнила она себе и огляделась, словно

Бог был где-то рядом. «Я на Твоем месте поступила бы точно так же, — сказала Аля невидимому Богу. — Ты и так дал мне ее на целых восемнадцать лет, а я бы никогда ни с кем Бабой не поделилась. Пусть живут себе на земле, а мы — Боги — будем с Бабами жить на небе».

Аля поискала глазами церковный купол. В небе было пусто. Сухой ветер закручивал в столбики пегую пыль между горбиков сухих могил, перебирал вылинявшие ленты на пожухлых венках и свивался у ног. Аля перекрестилась себе под ноги, и почувствовала, что в этой пустой пыли ей нечего больше делать. Сама — пустая и пыльная — она вернулась домой. Села в кухне на бабин табурет, налила из крана воды, жадно выпила до дна бабину большую чашку со щербинкой, и только потом устало спросила Катю, почему та знает всё, что надо делать, а Ба никогда.

— Столькому научила меня, и ничего — про смерть.

— Да Маргосинька сама ничего про это не знала! — взмолилась Катя. — Mamочка умерла, когда Маргося была маленькая. Бедный папочка наш пожил после этого недолго. Успел, правда, проиграться изрядно. Бабуленька ееумирала долго: Маргосинька коленки сбила, пока молилась. Ей лет тринадцать было, когда бабуля умерла, — подсчитала Катя. — Лёвочка, голубчик, вообще не умирал, — продолжала Катя. — И не хоронили его. Расстреляли со всем гетто неизвестно где...

— Гетто — это что? — перебила Аля.

— Ну кто ж его знает? Кто был там — тех убили, а кто не был — небылицы рассказывают. Главное, что Лёвочку Маргосинька не хоронила. Витюша-девочка пропала. Откуда же ей знать, как что?.. А про смерть знать вообще нечего, — отрезала Катя. — Пока мы есть — еенет, а как пришла она — так нас нет. Богу душу отдашь и всё.

Аля не стала дожидаться, пока мать вернется из Крыма. Она продала свой большой альбом марок, села в поезд и через сутки вышла в Москве на Курском вокзале. Поселилась у бабушкиной сводной сестры Наташи в Останкино на Кашенкином Лугу. Подала доку-

менты в художественное училище, и ее неожиданно приняли.

Наташа побаивалась Алю. И потому, что детей своих у нее не было, и потому, что помнила ее строптивый нрав. Ель вместо благодарности, ненавидела Наташу. За то, что та не прописывала Алю в московской квартире. Объяснить, что Наташа рада бы, но закон не позволяет, было невозможно. Наташа за чаем читала Але свои стихи и хвасталась тем, что их хвалил сам Александр Блок. Он пожелал встретиться с автором, но Наташа струсилась. Старыми фотографиями в красивых рамках, где Наташа заламывала руки в разных ролях и костюмах актрисы Третьей студии МХАТ, были увешаны стены. Аля слушала бесконечные рассказы про великих, и даже успела походить в училище с потертым кожаным портфелем великого режиссера Качалова. Однажды Жанна — соседка старенькой Наташи, услышав что Аля из Херсона, всплеснула руками:

— Надо же! У меня папа тоже из Херсона.

— Как фамилия? — спросила Аля.

— Вы не можете знать, они уехали до войны. Дашевский, — сказала соседка.

— Я знаю это слово, — Аля зажмурилась, припоминая подробности. — Может, вы знаете слово Финкельштейн...

— Лёва? — вскрикнула женщина и прикрыла ладонью рот.

— Это мой дед.

— С ума сойти! — женщина схватила телефон, набрала номер. — Папа, я передаю трубку внучке Лёвы Финкельштейна.

Наташа в недоумении смотрела на них.

— Я тоже выросла в Херсоне, — задето сказала она, но ее никто не слушал.

— Здравствуй, внучка, — произнес бодрый стариковский голос.

— Здравствуйте, — в недоумении ответила Аля.

— Ты чья — Витькина или Елькина?

— Елина. Витя пропала без вести...

— А как Марго? — бравировал знанием имён старик.

— Бабушка умерла.

Аля выдержала паузу, ожидая, что он спросит про Леву.

— Ну что, внучка, когда приедешь знакомиться? Меня дед Гриня зовут, я Левин кузен. Наши мамы были родными сестрами.

— Я помню, — обрадованно вскинулась Аля. — Бабушка говорила, что Елечка любила писать на Гриню Дашевского, когда он брал ее на руки.

— Было такое, — благодушно крикнул старик. — Как Еля?

— Нормально, на пенсию выходит.

— Сколько же ей?

— Пятьдесят пять...

— Неужели? А тебе?

— Двадцать пять.

— Твой братец-лоботряс помладше тебя...

— У меня есть брат?

— Представь себе! И бабушка Мура. Давай приезжай. Жанна тебе расскажет, как к нам добратся. Дай-ка ей трубку.

— Сегодня не надо, — сказала Жанна, положив трубку. — Его только выписали, может разволноваться.

— Мама, прилетай! — позвонила в Херсон Аля. — Я нашла родственников! Помнишь, Гриня Дашевский, на которого ты...

— Заклинаю тебя, не подходи к ним, — простонала Ель. — Это они погубили папу!

С букетом хризантем Аля приехала на Рогожскую Заставу. Незнакомая женщина в раскрытых дверях назвалась тёткой Аллой и пригласила в квартиру. За раздвинутым во всю комнату столом, покрытым нарядной скатертью, сидели знакомые люди.

— Ну, внучка, давай знакомиться, — обнял ее бодрый старик. — Это моя жена, будет тебе бабушка Мура.

— Господи, как она на Витюшу похожа! — всплеснула руками Мура и ощупала Алину косу.

— Еще бы! — подала голос еще одна гостья. — У Ели волосы были каштановые и вились, а у Вити — русые и прямые, как у вас.

— А это наш внук. Посчитай, какой он тебе брат...

— Троюродный, — сказал худенький смуглый мальчик. — Уже сто раз считали. Гарик, — подал он руку Але.

— Ты не руку жми, а целуй сестру, — прикрикнул дед, и Гарик послушно поцеловал Алю в щёку.

Величественная старуха в черном, которую называли «тётка Алла», курила и руки ее дрожали так, что пепел сыпался мимо пепельницы. Стол был накрыт с приборами, с вышитыми салфетками. А на комод в углу были расставлены и разложены бурые дагерротипы. Дед Гриня подвел Алю к комоду и горестно опустил глаза.

— Узнаешь? — подал он ей фото, где Ба и Лёва стояли, склонившись голова к голове. — Это они в Москве. Одна из последних фотографий.

— В Москве? — удивилась Аля. — Я не знала, что они были в Москве.

— Ну как же?! Лева окончил университет в Санкт-Петербурге перед самой революцией, там они обвенчались. Маргоша к нему приехала через Москву.

Аля не могла скрыть изумления.

— Ты что ж — не слыхала, как она приехала в разных туфлях?! — Гриня рассмеялся. — Сошла с поезда, и Лева увидел, что она хромает. Кинулся к ней: «Что с тобой?» А Маргоша даже не поняла, о чём он. Посмотрела на свои ноги, и только тут заметила, что она в разных туфлях: один на каблуке, а другой — без. Такая растерёха была, — развел руками Гриня.

Аля переводила глаза с лица на лицо и пыталась найти неоспоримое доказательство того, что они — родственники.

— А это Леву вызвали в Москву на какой-то процесс, — Гриня вертел в руках фото. — Году в тридцать седьмом. Он был очень известным на Украине защитником.

— Гриня, не морочь девочке голову, — замахала руками Мура. — Садись, детка, кушай.

Алю расспрашивали, чем она занимается, что любит, чему учится, что собирается делать. Мура покрикивала на деда, требовала, чтоб не мешали «человеку поесть».

— Вы меня, конечно, извините, — не выдержала тетка Алла, которая неотрывно следила за вилкой в руках Али. — Вам, может быть, неприятно слышать такой комплимент, но вас руки вашего дедушки. Анатомически абсолютно точно такое же строение. Я просто поверить не могу! И вилку вы держите, как держал ее дядя Лёва. Вы случайно ею не барабаните?

— Могу, — Аля облизала вилку и выбила мелодичную дробь.

— Ой, нет, умоляю вас! — вскрикнула тётка Алла. — Я не могу это выдержать! — она закрыла лицо ладонями. — У дяди Лёвы всегда была прорвана скатерть справа от тарелки... — она в воздухе повела ладонью. — И тётя Маргоша, и прислуга — Тина ее звали — без конца еештопали. Потому что дядя Лёва барабанил вилкой механически, и все знали, что он в этот момент думает.

— Да-да! — воскликнула Жанна — дочка Грини. — Я помню, когда дядя Лева был у нас с тетей Маргошей, ты еще ругалась, что он порвал! — она ткнула пальцем в грудь Муры. — Они уехали, и только Виталик потом их видел.

— Да, он последним их видел перед войной, — кивнул Гриня.

— А почему вы после войны не нашлись? — наконец, спросила Аля.

— Неловко было, — сказал Гриня. — Неловко, что выжили.

Аля сидела в ночи у телефона с фотографией Ба и Лёвы и вертела диск.

Ель в Херсоне сняла трубку.

— Мама, дед Гриня подарил мне фото. Тут твои папа и мама...

— Значит, ты всё-таки пошла? — убито спросила Ель. — Будь они прокляты! Что ты вообще знаешь, а?! —

истерически закричала Ель на том конце провода. — Что ты знаешь о нашей семье, а?!

— Чего ты орёшь? — беззлобно откликнулась Аля. — Откуда мне знать, если вы ничего не рассказывали? Это моя семья тоже, мама. Вот родственники нашлись, так ты говоришь — не подходи...

— А у вас? — тихо спросила Аля.

— У нас только пепел: все сгорело. Немцы вошли, папу забрали в гетто, меня гестапо арестовало, Витя пропала, дом разграбили. Этот Гриня Дашевский нас в Херсоне и бросил — когда война началась, папе нашли машину. Гриня пошел за машиной и никогда за нами не заехал. В результате Дашевские эвакуировались, а наши погибли. Потом Гриня же распускал слухи, что это Маргарита не хотела ехать, потому что ждала немцев.

— Почему она их могла ждать? — не поняла Аля.

— Потому что немка.

— У нее же бабушка гречанка...

— Да, но императрица Екатерина, когда Херсон закладывала, сначала поехала за рабочими людьми в Германию. Купила там немцев, а на сдачу — евреев. И в Херсоне все были если не евреи, так немцы, пока прадеды мои флот не построили, не поплыли и не привезли греков.

— Что между ними было? Не мог брат за братом просто так не заехать!

— Не знаю, я маленькая была! — Ель закрылась ладонью.

— Какая маленькая, мама? — возмутилась Аля. — Ты с выпускного бала пришла...

— Любовница у Грини была, соседка Роза. Родила ему мальчика. Папа этого не одобрял, а Гриня — Марго не одобрял. Он Лёву и погубил.

Аля отправилась на рынок и долго слонялась между рядами, выбирая помидоры.

Наконец, уложила их в красивую коробку и позвонила деду Грине.

Незнакомый голос ответил, что дед умер, и вся семья поехала в больницу — в морг — прощаться. Аля записала адрес.

Мура в добротном коричневом пальто стояла в сумеречном зале поодаль от гроба, плакала и шумно сморкалась в носовой платок. Перестала, когда в зал вбежал высокий военный в долгополой шинели. «Виталик» — зашелестело имя.

— Сын нашей соседки — тети Розы, — пояснила тетка Алла.

Он коснулся лба деда Грини, круто развернулся, пошел прочь от гроба, покуда не боднул стену морга, и плакал, закрывая голову тощими руками, торчащими из широких рукавов ворсистой шинели.

— Он знает, кого оплакивает, — подняла палец Мура. — Дядя Гриня его спас — в эвакуацию вывез.

— Это было так медленно, на волах, — кивнул Виталик, вытирая рукавом шинели глаза.

В Москве мело. В заснеженный переулок у морга входили сутулые старые евреи и тихо звучало посреди Пироговки нездешнее слово «Херсон». Тетка Алла представляла Алю незнакомым людям, они кивали безо всякого интереса, но стоило ей добавить «Внучка Левы Финкельштейна», как евреи заплакали. Только один иронично усмехнулся: «Тоже мне — нашли! — бедную родственницу из Херсона. Не могли найти богатую и в Нью-Йорке?»

На кладбище Аля стояла в общем строю, и когда дошла очередь до нее, так же, как все, бросила горсть земли. И когда вернулись с кладбища в дом, встала в очередь в ванную и помыла руки. Помидоры из Херсона съели на поминках, которых у евреев не бывает, как сказала тетка Алла.

Зеленоглазое такси

«Как же длинна ночь!» — думала Екатерина Ивановна. Она ходила по кухне из угла в угол. Выглядывала в окно. Темень. Уличные фонари выдергивали кусочки из этой темноты. Ни души. В доме напротив только в нескольких окнах горел свет. Не ярко, тепло и весело, как вечером, а приглушенно в каком-нибудь углу. Видно, кто-то еще читал или оставил ночничок для ребенка. А может, кому-то нездоровится.

Телефон лежал на столе и упрямо молчал. Несколько раз Екатерина Ивановна брала его в руки и возвращала на место. Неприлично звонить в это время. Как же вдолбили эти приличия в свое время. Ее время. Все изменилось с тех пор. Да и к своему времени она не очень подходила. А сейчас совсем динозавр.

Время тянулось медленно. На стене громко отсчитывали каждую секунду часы. Она раньше не замечала, что они так громко тикают. Стрелки часов медленно, но неутомимо двигались вперед, натягивая ее нервы. А мысли помчались назад, и не секунда за секундой, а сразу через десятилетия. В воспоминаниях ее занесло в прошлый век. Вот что значит жить на стыке столетий.

Конец шестидесятых. Танцы в парке культуры и отдыха. Среди молодежи танцевальную площадку называли зверинцем. Очень точно подмечено. Танцплощадка была обнесена высоким забором из металлической сетки. Наверное, чтобы бесплатно на танцы не проходили, а покупали билеты. И это действительно походило на большую клетку для зверей. В зверинцах много маленьких клеток, а тут одна большая.

Металлический забор потянул мысли к тюремным зарешеченным окнам, судам, преступникам. До этого они же ходят среди нас. А дочери все нет! Екатерина Ивановна остановилась, глядя на телефон. Ну зазвони же наконец! Тишина. Дрожь в руках. Нет, нет! Думать о чем-нибудь другом. С усилием, Екатерина Ивановна вернулась в воспоминания.

Тогда она, Катя, редко бывала на танцплощадке. Не нравилось. Поведение и раскраска девчонок, которые посещение танцев считали одним из самых интересных и главных занятий в жизни. Про себя Катя называла макияз этих девочек раскраской. Уж очень они походили на индейцев, вышедших на тропу войны или охоту. Рыжие волосы всех оттенков, от медного до розового, начесаны, подняты вверх и сильно налачены. Черная подводка вокруг глаз по контуру верхнего и нижнего века с длинными хвостами к вискам. На губах ярко красная помада, на щеках румяна. В руках сигарета. Катя, очень мило выглядывшая дома перед зеркалом, совсем не вписывалась в эту толпу. Она и ее подруги выглядели там уж очень скромно, но и быть похожими на этих «охотниц» тоже не хотели. Поэтому и бывали на танцплощадке редко и недолго. Особенно хотелось уйти, когда начинали появляться уже не просто выпившие парни и девчонки, а откровенно пьяные. То тут, то там вспыхивали драки.

Вспомнилась мама. Может, она слишком разнервничалась и поэтому была столь груба? Но тут же одернула себя. Опять пытаешься оправдать? Не получится. Времена были другие, спокойные. А материнская любовь безусловна, даже если споткнулся, ошибся. А доверие? Как без него? А та ночь принесла боль, которая накрывает при каждом воспоминании о ней.

Погасли все окна в доме напротив. Телефон молчит. Лифт не двигается. От страха за дочь вскипает мозг. Нет, лучше про старую боль, чем предполагать новую!

Катя и ее подруга Люда жили в разных районах. Возвращаться поздно поодиночке или с малознакомым провожатым было не очень приятно, поэтому, после театра,

танцев или прогулки они обе шли ночевать к Кате или Люде. Или ловили такси и разъезжались по домам. В этот раз девчонки дошли почти до Людиного дома и стали ловить машину для Кати. В то время поймать такси было делом непростым. Свободные машины отличались зеленым огоньком в верхнем правом углу лобового стекла. Но этих зеленых огоньков было очень мало, в основном мимо пролетали машины с шашечками на боках, но не «зеленоглазые», то есть занятые или мчащиеся по заказу. А просто машин и вообще было мало, роскошь это была, а не средство передвижения. Проголосовав у дороги минут пятнадцать, девчонки все же поймали такси.

Довольная Катя уселась рядом с водителем. Им оказался молодой парень. Разговорились. Звали его Толя, и настроение у него было не ахти. Чувствовалось, что Анатолию хочется высказаться. Спросил, замужем ли Катя. Узнав, что нет, решил поделиться выводами, сделанными на основании своего двадцатичетырехлетнего жизненного опыта. Конечно, о женщинах.

Девчонки, пока не вышли замуж, с будущими мужьями приветливые, веселые и добрые. А когда появляется штамп в паспорте, многое меняется. Становятся ворчливыми, требовательными и капризными. Видно, перед сменой у Анатолия произошла ссора с женой.

— Вот, например, моя, — продолжил Толя о наболевшем, — что ей еще надо? Не пью, не курю, зарабатываю. Все равно недовольна. Какого рожна надо?

Катя молча слушала. Тем более, что ответить на этот вопрос ей было нечего. Откуда она могла знать, что нужно незнакомой молодой женщине.

— Знаешь, что она сказала мне, когда я уходил на смену?

— Что?

— Пьяница хоть проспится, а дурак — никогда! Представляешь?

Катя чуть не рассмеялась, но сдержалась. Забавно все это слушать от постороннего молодого, но ведь взрослого мужчины. В его рассуждении сквозило такое детско-под-

ростковое, что возникло сочувствие к жене Анатолия. Но эта инфантильность вызвала у Кати жалость и к нему тоже.

Екатерина Ивановна улыбнулась, вспомнив тот разговор. Это через столько лет ей понятно, что просто два человека ждали друг от друга чего-то другого. Оба могли быть вполне замечательные, но обманули эти ожидания. Воспоминания отвлекли Екатерину Ивановну от темноты за окном, тиканья часов и она села в кресло, стоящее в углу возле кухонного стола. Будто на какое-то время она стала опять той девчонкой Катей, которая едет через весь город в такси.

Машина подъехала к дому. Анатолий выключил счетчик и надел колпачок на зеленый огонек. И счетчик не работает, и для всех занят. Ему явно хотелось еще поговорить. Его слушают и не осуждают. Интересно то, что в его поведении не проглядывало даже намек на кокетство или желание «клеиться». Он разговаривал с Катей как с другом. Или, скорее, как с попутчиком в купе поезда. Со случайным попутчиком ведь можно выговориться, все равно больше не встретишься. А Кате совсем не хотелось идти домой спать, ведь только двенадцать. Да и у нее же еще не было штампа в паспорте, и, по теории Анатолия, она была еще доброй. Вот и слушала.

Вдруг Анатолий предложил: «А поехали работать вместе». Катя посмотрела на окна своей квартиры, свет не горел, значит, родители уже спят. «Поехали!» — решила Катя. Что-что, а ездить она любила. А тут еще пассажиры, люди разные, интересно.

Вот голосует молодая пара. Высокие, красивые, приветливые. Оказывается, молодожены. Целуются на заднем сиденье. Дома продолжают.

А вот женщина средних лет голосует, придерживая за рукав качающегося мужа. Катя представила, как они собирались в гости. Прическа, нарядное платье, мужу галстук. И вот праздничное начало вечера позади. Приятное закончилось где-то уже к середине, когда жена стала замечать, что муж уже хорош. Уже не до веселья и танцев.

Краем глаза она смотрела, чтобы муж не набрался совсем, отодвигала от него подальше бутылку, пыталась водку разбавить лимонадом, когда он отворачивался. Но уже поздно. Главная задача — как его увести, пока совсем не опозорил перед друзьями. И теперь он стоит в съехавшем набекрень галстукe, с идиотской улыбкой на губах. Да и запихать его на заднее сиденье такси не так-то просто. Катя и сочувствует этой женщине, вспоминая свою тетушку, часто оказывающуюся в таком положении. Но и злится на нее, зачем она с ним возится. Бросила бы, и все. В восемнадцать действительно кажется, и все.

Свободной машина не остается. Только тронется с места с зеленым огоньком, как уже голосуют следующие пассажиры. Мужчина со спящим ребенком на руках и женщина. Для родителей маленького ребенка староваты, но ведь по разному бывает. Оказалось действительно, это бабушка и дедушка. Решили дать погулять молодым, но внук никак не засыпал. Скандалил до истерики: «Хочу к маме!» и уснул только когда одели и вышли на улицу. Поехали к маме.

Ночь располагает к задушевности. Машина как маленький дом, который сближает людей в прямом и переносном смысле. Вот и рассказывают кто, куда и зачем. Катя даже и не думала, что работа таксистом так интересна. Как голосуют, как ведут себя в машине, как расплачиваются и прощаются. Общительность, доброта, приветливость, снобизм, хамоватость, пренебрежительность — все налицо. Хоть книгу пиши, хоть кино снимай.

Катя бы с удовольствием ездилa до утра, но ведь родители могут заволноваться. Правда, в два часа ночи они опять подъезжали к Катиному дому, все спокойно, окна темные, спят. В четвертом часу утра начало светать. Ранний летний рассвет это волшебство красок и оттенков. Иногда, кажется, вот нарисуй это, так ведь не поверят, скажут, что так не бывает, не реалистично. А вот бывает и действительно не реально красиво. Но надо домой.

Анатолий закрыл колпачком огонек, и поехали к Катиному дому. Попрощались как приятные попутчики.

Анатолий выговорился, потеплел и успокоился. А Катя получила массу впечатлений. Но в окнах горел свет. Внутри защемило.

Екатерина Ивановна физически почувствовала это щемление в груди. Вскочила с кресла, опять выглянула в окно. Никого. Заметалась по кухне. Ну, где же она? Может, случилось что? Почему не позвонила? Первый раз такое. Скоро четыре. Внутри появился страх. Как будто сердце сжали чем-то холодным. Вот и тогда, когда она увидела свет в окнах квартиры в четыре часа утра, она входила со страхом.

Успокаивала себя мыслями, что расскажет об этой безобидной и интересной ночи, мама поймет и все будет хорошо. Но она ошиблась. Открыв дверь, Катя наткнулась на злые глаза родителей. Мама не спросила, не дала ей возможности рассказать. Била словами наотмашь:

— Шлюха, дрянь! Где ты шлялась? Грязная девка! Ты нам еще в подоле принеси!

Екатерина Ивановна поежилась, вспомнив утренние косые и даже брезгливые взгляды. И только через день мама спросила:

— Так где же ты была?

Тогда она твердо решила. Поздно, мама, поздно спрашивать. Где бы в будущем ни была, а правда не для родителей. Предупредительный звонок: «Задержусь. Буду ночевать у подруги, не волнуйтесь». А у подруги или не у подруги, это уже ее взрослое дело.

Екатерина Ивановна услышала поворот ключа в замке и кинулась к входной двери. Обняла дочь со словами:

— Слава богу! Ты дома.

Они просидели до пяти часов, пока дочка с чашкой горячего чая в руках рассказывала про то, что у нее случилось этой ночью.

Малышка

Каждый день, когда в сумерках Татьяна возвращалась с работы, топая по асфальтовой дорожке к дому и видя издали свои окна во втором этаже, ей мерещилось, что окно в угловой комнате как-то необычно выделяется на фоне стены иссиня-белым сиянием изнутри.

Однажды, когда она вбежала с мороза и сразу же, от дверей, прошлепала в комнату прямо в сапогах, не переобуваясь, то обнаружила, что телевизор работает, правда, без звука. И вдруг догадалась, что голубоватое свечение, которое так удивляло, когда она видела его в своем окошке с улицы, как раз и дает экран невыключенного телевизора. Но она не помнила, когда же это она включила ящик. Сегодня утром до работы? Или еще вчера забыла его вырубить перед сном?

День спустя свечение это опять было ею замечено снаружи. И когда она попала в дом и проверила, телевизор оказался выключенным, но была теплой верхняя его деревянная крышка, на которой стояли скульптурка из раковин, память о крымском санатории, и термометр, запаянный в глыбу из плексигласа. Таня была не из трусливых, но ей стало как-то не по себе.

Она подошла к зеркалу и погляделась в него. Нечасто так она на себя смотрела, вечером — никогда, и только идя на работу, проверяла, не видна ли из-под юбки комбинация. Скользнув глазами, вдруг увидела в зеркале свое отражение. Какое-то необычное: она, Таня, — в позе мадонны, держащей на руках младенца. Ребенок был девчушкой с круглыми глазами и личиком, как у чело-

вечков, которых она помнила по картинкам в «Незнайке» Носова.

Странно, но девочка видна была только в зеркале. Когда Татьяна смотрела на свои всамделишные, а не отраженные руки — ничего они не держали. Малышка как будто приросла к отражению, словно зеркало показывало то, о чем Татьяна мечтала. И она догадалась: вот кто в ее отсутствие включает телевизор, ведь девочка наверняка хочет сказок и смотрит детскую передачу.

На работе Татьяну уважали за трудоспособность, но не очень любили, ведь отношения на службе складываются в доверии друг другу разных секретов и обсуждения событий и сплетен, а у нее не было времени на разговоры в рабочее время. Она не участвовала ни в попойках по пятницам, ни в пинг-понге в обеденный перерыв, ни в дискуссии о том, уступила или не уступила («дала или не дала?») начальнику недавно принятая на должность молодая специалистка.

За глаза женщины зубоскалили, что Татьяна — девственница, никогда мужика у нее не было. Считалось, что стыдно оставаться девочкой в сорок лет.

После смерти родителей она оказалась совсем одна да так и прожила в одиночестве в трехкомнатной своей квартире двадцать лет, почти ничего в своем жилище не изменив с тех пор, как мама была еще жива.

В серванте так же стояли фарфоровые «Фигуристка» и «Снегурочка» с румяными оптимистичными мордашками. На стенке у дивана висел ковер, добытый матерью, когда перед московской Олимпиадой записывали ветеранов труда на получение промтоваров. Тогда семья целый год ждала открытки, уведомлявшей, что очередь подошла, и купили, наконец, этот ковер, в узор которого среди черных и красных среднеазиатских завитков вкраплены были символы спортивного праздника — силуэт кремлевской башни над пятью сцепившимися олимпийскими кольцами. Была еще большая, унаследованная от бабушки, океанская раковина, в оранжевом зеве которой лежали квитанции об уплате за свет.

Теперь Татьяна по окончании рабочего дня скорее стремилась домой. Купив в магазине прямоугольный пакетик «чудо-молока», на котором означено было, что можно кормить им детей с восьми месяцев, бежала на кухню и варила манную кашу.

Она приносила тарелку в спальню, садилась перед зеркалом и, зачерпнув белую теплую массу ложкой и громко дую, чтобы остудить кашу, подносила ложку к зеркалу. И девочка (ее ребенок!) благодарно глотала еду, так аккуратно, что и стекло не пачкалось.

Татьяна никому не говорила о внезапном своем счастье. Подивила, правда, сослуживиц рассказом, как искала в продаже куклу и не нашла. Но никто не спросил, зачем ей кукла, потому что в лаборатории каждый сходил с ума по-своему.

Тетки предпенсионного возраста были помешаны на том, чтобы побольше заработать к пенсии, числились на двух-трех службах и надрывались, совмещая работу руководителя проектной группы с должностью ночного сторожа или уборщицы. Некоторые женщины, несмотря на то что раньше не причисляли себя к идейным, увлеклись политикой. Под предводительством Зюганова они с пустыми кастрюлями в руках неистовствовали на митингах у памятника Ленину на Октябрьской площади. Молодые ударились во все тяжкие, у женщин только и было разговоров, где они устраивают свидания со своими кавалерами: кто на даче, кто в кабинке банного павильона, кто в машине.

Татьяниной девчужке по виду было уже года два, но она не издавала звуков, то ли не умела говорить, то ли из-за стекла не слышно было ее голоса. Новоявленной мамаше не хватало осязательных ощущений. Когда она целовала девочку, губы ее касались холодной поверхности зеркала, но стекло нагревалось, если Таня долго сидела у шкафа, заботливой ладонью поддерживая трогательную малышкину попку и сюсюкая на разные голоса. Повторяла же она те потешки, которые сама усвоила в детстве:

— Как гуси?

И сама себе отвечала: — Га-га-га!

— Как уточки?

— Кря-кря-кря.

— Как собачка?

— Гав-гав.

— Как кошечка?

— Мяу-мяу.

Девочка — маленькая, но уже мудрая — спокойно слушала и, едва растягивая губки, улыбалась Тане из зазеркального хаоса, когда, изображая пальцами рога на голове, та голосила: «Как коровка?» — «Му-у». — «Как козочка?» — «Ме-е». — «Как овечка?» — «Бе-е».

Немалую часть своей жизни Татьяна прожила только в воображении. Так, она представляла себе, какое платье сошьет на Новый год и как будет танцевать с Николаем Ивановичем из соседнего отдела, который, было, заинтересовал ее, и даже репетировала этот танец. Или мечтала о поездке в Коктебель, как она будет плавать и скакать в волнах при двух-трехбалльном волнении моря и искать сердолики на берегу, — и даже купила дорогой купальный костюм на ярмарке в Коньково. Строила планы помощи детскому дому, как будет приносить подарки несчастным сиротам, и поздним вечером, когда те уже все уложены в казенные кровати, приходиться, точно добрая фея, давать каждому по яблоку и в полутьме читать ласковым голосом сказки...

И хотя платье оставалось недошитым; на новогодний вечер она не попадала из-за внезапного флюса; купальник даже и не примерила, потому что на поездку в Крым не было денег; в детском доме забирали принесенные ею мандарины, но внутрь дальше конуры вахтера не пускали, — эти грезы радужно заполняли ее жизнь. И, случалось, она не могла даже сразу дать себе отчета в том, действительно ли произошло конкретное событие или все это выдуманно и пережито только внутренне.

Впрочем, сама Таня считала, что этим своим свойством — мечтать и придумывать — она, в общем-то, не

отличается от других. Фантазировали, по ее наблюдениям, почти все люди, которые окружали ее.

Правда, большинство склонны были планировать какие-нибудь несчастья, подозревая начальство, сослуживцев и близких в разнообразных каверзах. Причем некоторые даже наживали себе панкреатит на нервной почве этим бессонным сочинением монологов, обращенных или к не оценившему их руководству института, или к табельщице, фиксирующей прогулы, или к невестке, которая ленится кипятить детские пеленки.

Другие мечтали о даче, где можно будет полеживать под яблоней возле портативного телевизора, дыша свежим воздухом. Но пока они добивались садового участка, получив в итоге какое-нибудь неудобье, да возили чернозем и навоз, чтоб удобрить мертвую глину, да организовывали бурение артезианской скважины на фазенде, годами перетаскивая туда из городской квартиры всякий хлам, их возраст подкатывал к шестидесяти, грозя инфарктом, и в садовом домике или двухэтажной дачке уже опасно было оставаться в одиночестве без телефона и возможности вызвать «скорую».

Так что на фоне других представительниц женского коллектива Татьяна выглядела прямо-таки святой из-за неприязнительности желаний, чем весьма всех раздражала.

Она понимала: чтобы родить ребенка, надо очень потрудиться. Придется тратить время на посещение всяких малоинтересных сборищ, применять косметику, потому что иначе среди ярких, в боевой раскраске девушек тебя не заметят, терпеть приставания. Потом надо пережить насильное вторжение в себя чужой плоти со всеми пошлыми атрибутами соращения и служить этому человеку для его низменных надобностей, жертвуя своим временем.

У нее не было сил на все это, хотя детей она любила и готова даже была вынести весь набор неудобств и трудов — и девятимесячное нездоровье, и родовые мучения — ради появления родного, похожего на себя существа.

Теперь она была счастлива.

Проблемы всё-таки появились.

Татьяна прошла все палатки с игрушками, но ничего не выбрала, протопав дважды взад-вперед по подземному переходу от одного ларька к другому, изучая возбужденным взглядом разноцветных зверушек и вглядываясь в личики разряженных кукол, которые отталкивали ее явным привкусом сексуальности в облике, той милотой продажных женщин, которая всегда внушала Тане чувство опасности.

Одни игрушки выглядели совершенно невыразительными, другие пугали напряженными, страшными физиономиями. Все эти изделия, доставленные из Китая и Америки, несли отпечаток совсем чужой культуры и были лишены той славянской мягкой одутловатости, той большеглазости, которые присущи были игрушечным персонажам ее советского детства.

Восточные, ядовитого цвета зайцы и медведи из синтетического бархата с намертво пристроченными квадратными лапками и крошечными бусинами глаз, с выражением азиатской невозмутимости на плоских мордочках, казалось, совершенно игнорировали людей, которые хотели приобрести этих тварей для своих детей.

А заокеанские звери, имеющие какие-то индейские черты, с большими меховыми ушами, когтями, натуралистически выделанными из пластмассы, и усищами, похожими на щетину мохнатых майских гусениц, показывали всем своим видом, что мир жесток, и скалили зубы в угрожающей улыбке, напоминая гримасы мексиканских масок.

Где же те круглолицые целлулоидные пупсы с перевязочками на полных ручках и крошечными ногтями, любовно нарисованными тонкой кистью? Где кукла Катя с закрывающимися глазами, с фаянсовыми нежно-розовыми ножками и туфельками-лодочками, в светлом платье, скрывающем матерчатое, набитое пахучими опилками туловище без сосков и ягодиц? Где большие плюшевые медведи с вращающимися лапами и решеточ-

кой на спине, из-за которой, если похлопать мишку по заду, слышится добродушное негромкое рычание?

...Когда на работе начался аврал, и Татьяне предложили поработать сверхурочно, она впервые в жизни взбунтовалась. Она не объясняла причину своего недовольства, но говорила самой себе, что хватит отдуваться за всех, оставаясь на службе до ночи, потому что у нее, как и у других матерей, появилось моральное право приходить домой пораньше, в те часы, когда ребенок еще не спит. Она считала, что девочка, являющаяся только по вечерам, без кормежки погибнет.

Каждый раз, проходя в темноте по территории между метро и Рязанским проспектом среди поломанных деревьев, которые принадлежали некогда частным садам, Татьяна говорила себе, что в один прекрасный день, вернее, вечер, схлопочет тут по голове и будет ограблена. Случаи такие в этом месте бывали, причем у одной старухи отобрали не только сумку, но и зонт.

...Октябрьским ветреным вечером она возвращалась домой в двенадцатом часу. Фонари на проспекте уже притушили, пустырь, который надо было пересечь, вообще не освещался. Было тревожно от безлюдности. Далекие корпуса слепили яркими окнами, но здесь, в зарослях сорного кустарника, было темно, а она плохо видела под ногами и даже наступила в лужу.

Почувствовав недружественное движение у себя за спиной, побежала по тропинке между кустами, с тревогой озираясь и проклиная свои новые туфли на каблуках, которые не давали двигаться с достаточной скоростью. Мужское сильное дыхание слышалось совсем близко.

Выбежала из придорожной зеленой полосы к жилому кварталу и понеслась мимо булочной. Хотела сбросить туфли, но успела отшвырнуть только одну, когда мужик нагнал ее, одной рукой сдавил ей шею, обхватив огромной лапищей так, что пальцы его вжимали ей молнию ветровки в горловую железу. Другой рукой он рвал на ней платье, забирая в ладонь ткань подола. Кругом стояли высокие жилые дома, и она знала, что рядом, за каж-

дым стеклом — люди, но на ее крики «Помогите!» не открылась ни одна фортка.

Пригибая ей голову все ниже, он повалил Татьяну на землю и, казалось, не слышал ни слов о пощаде, ни ее стонов, сосредоточенно сопя и не размыкая жестоких мясистых клешней, перехвативших теперь ее руки. Коленом он прижимал ее к земле, а потом всей массой кинулся сверху, отпустив на миг ее запястья.

И тут, инстинктивно оттолкнувшись пяткой, Таня выскользнула и, из последних сил пытаясь сопротивляться, ударила его каблуком прямо в пах, когда тяжелое тело его уже висело над ней и, казалось, должно было ее расплющить.

Она откатилась вбок, отползла по песчаному краю дороги и вскочила на ноги. И хотя мерзавец с ревом снова двинулся на нее, преодолела рывком прищосейную грунтовую полосу, внезапно обретя силу, потому что каким-то боковым или даже затылочным зрением вдруг увидела, что к булочной подъехала машина «Хлеб», шофер вышел и нажимает звонок служебного входа.

Босиком, задыхаясь, Таня перебежала на другую сторону проспекта, по которому равнодушно следовали автомобили, и понеслась к своему дому.

Ей казалось, что насильник дышит в спину... Она взлетела на свой этаж, ворвалась в квартиру, захлопнула дверь и тут же, прямо у порога, повалилась на пол, потому что ноги не держали, а туловище дрожало и дергалось.

И тут она заплакала, почему-то сразу забыв о том, что произошло только что, но разом вспомнив все обиды, которые пришлось ей перенести в жизни. И порку, которую учинил папа, когда она, трехлетняя, описалась, сидя на коленях у отцовского гарнизонного командира. И школьный бойкот после того, как наябедничала учительнице на девчонок, которые вымазали ей сзади шею чернилами. И ругательства, которыми одолевала ее по телефону жена нынешнего начальника, по глупому навету подо-

зревавшая, что Татьяна состоит у него в любовницах и что все деньги, которые тот не доносит в семью, вместе с ней он прогулял.

Ненависть жертвы сотрясала ее так, что она хотела разбить себе голову и, сидя на старом линолеуме прихожей, время от времени с размаху ударялась черепом в дверь, не чувствуя боли.

И когда она зашлась в таком иступленном, таком горьком вопле, что он проник и в подъезд и отдавался низкогудящим эхом над лестничными пролетами, детские руки в темноте вдруг обвили ей шею и стали гладить залитое слезами лицо. И крик «Мамочка!», звонко пронзая пространство во всю высоту восьмизэтажного дома, заполнил разъяренное Татьянино сердце, чтоб утишить, сдержать истерическое биение оскверненного ее тела.

Хорошая девочка Лида

Когда началась война, Лида Королькова жила в одной из русских деревень с матерью и младшей сестрой. Она только что закончила районную среднюю школу и работала дояркой на ферме.

Планы на будущее были расплывчатыми. Хотелось поехать в Москву и стать артисткой. Лида хорошо пела, слыла лучшей на танцплощадке, была душой любой компании, и даже внешность у нее была для артистки. Хоть и небольшого роста, она была ладно сложена, имела васильковые глаза и копну золотых кудрей.

Первое военное лето жизнь в деревне, казалось, катилась, как и прежде. В июле ходили за черникой, стряпали сочные пироги, сушили ягоду на зиму. Потом шли сенокосы, уборка картошки, злаков, заготовка овощей, а там и первые колючие заморозки.

Вот только не хватало в хозяйстве сильных мужских рук, да голос Левитана из деревенского динамика звучал все тревожнее.

К концу октября лег первый короткий снег, быстро стаял, но холода уже студили избы и покрывали инеем кусты жимолости над рекой.

Решение поехать на войну Лида приняла сама. Она собрала в маленький, еще бабушкин, чемоданчик два своих любимых платя. Одно красное в большой белый горох, а другое голубое крепдешиновое, перелицованное умелой соседкой из маминого. Положила томик Островского, пару вышитых васильками носовых платочков, парусиновые тапочки, пуховый платок и теплые шерстяные носки.

Мать долго ее не отговаривала, напекла на дорогу капустных пирожков, завернула в холст шматок сала и положила на дно сумку старенькую иконку.

Знакомых у Лиды в Москве не было. Прямо на вокзале она пошла в отделение военной комендатуры и попросила устроить ее на курсы связисток. Поначалу девятнадцатилетняя деревенская девчушка вызвала недоверчивый смешок, но упрямство в ее глазах сделало свое дело и, проведя ночь на вокзале, она на следующее утро была зачислена на ускоренные курсы связисток.

Весной курсы закончились. Им выдали новенькое военное обмундирование, провели последний инструктаж и расписали по вагонам, идущим на передовую.

Войну Лида воспринимала не как героическое действие, где все должны показать чудеса храбрости, а как некое необходимое дело, которое необходимо сделать, чтобы потом снова была счастливая жизнь с гармонистами, нарядными платьями, осенними веселыми свадьбами и обязательно с любовью.

Иногда ей становилось страшно, что до этого можно не дожить, столько вокруг погибало сильных и красивых мужчин, здоровых, умелых и никак не готовых к тому, чтобы в расцвете лет закончить свою жизнь.

Именно на этой страшной войне с ее смертями, подвигами, засадами, перестрелками, полевыми госпиталями с молодыми искалеченными солдатами она встретила свою главную и единственную в жизни любовь. Она боялась себе признаться, что тревожится за жизнь этого высокого, стройного черноглазого армянина больше, чем за свою.

Армен Цатурян был не только бесстрашным командиром и отчаянным разведчиком, он был еще веселым, остроумным рассказчиком, в короткие передышки доставал гитару и пел красивым баритоном.

Они поженились в последние дни войны, уже войдя в Магдебург. Вернувшись в Москву, быстро оформили документы и уехали ночным поездом в Ереван. Свадьбу гуляли всем большим армянским селом, пели песни,

плясали, обнимали старых, оставшихся в живых друзей и думали о долгой и счастливой жизни.

Лида приехала на родину мужа уже беременная. Армен пошел работать учителем в сельскую школу, а Лида, едва управившись с первенцем, через пару лет уже ходила дочкой. Первый ребенок, названный в честь деда Кареном, рос подвижным, здоровым и умным ребенком. Рано пошел, в два года уже говорил и обещал стать гордостью рода Цатурян. Девочку называли Зоей, она была в отца черноглазая, а в мать хохотушка, пела в школьном хоре, наряжалась в мамины платья и «выступала» на домашней сцене. Вот только с учебой у нее не заладилось. Отец журил ее, наказывал за двойки, но девочка упрямо не вылезала из троешниц.

Третий сын, Владимир, только должен был родиться, когда случилась беда. Перед обедом из школы прибежала восьмиклассница Нина, упала на крыльце дома и зашлась в недетском плаче. Армен Цатурян, учитель математики старших классов, уже собирал тетради в портфель как вдруг перестал дышать и упал лицом на учительский стол.

Лида родила через месяц после похорон маленького недоношенного мальчика. Она так и не научилась говорить по-армянски, печь их душистые лепешки и различать в огороде нужную для кухни траву.

Добрые люди в селе помогли собраться, дали на дорогу денег, и она уехала обратно в деревню, где ее уже никто не ждал. В заколоченном наглухо материнском доме было пусто и страшно. Вспомнившие ее соседи помогли снять с окон доски, дали дров на первое время, картошки и солений. Ее спасло то, что она была заслуженная фронтовичка, прошедшая всю войну и заслужившая не одну награду.

В райцентре на детей определили помощь, а вскоре Лида устроилась на работу в детский сад нянечкой. Дети пошли в школу. Первая трудная зима перезимовалась. По весне Лида высадила на подоконники рассаду, вспахала колхозной лошадейю огород, посадила картошку,

морковь, репу и другие нехитрые овощи. Молодой, одноногий слесарь, чудом уцелевший на войне, помог сделать парничок. Жизнь налаживалась у молодой еще Лиды Цатуровой. Такую фамилию она выбрала себе, вернувшись в Россию.

Годы пролетели резвыми скакунами в заботе о детях, редких деревенских гулянках, посевных и уборочных, родительских собраниях и новогодних утренниках. Замуж она так и не вышла, жила случайными радостями, оставаясь все такой же неунывающей хохотушкой, охочей до всякой работы и быстрой на ногах.

Ей уже было за пятьдесят, когда однажды услышала по радио о новом городе в Белоруссии. Строили там калийный комбинат, самый большой в Европе. Город быстро рос, работы хватало всем, фронтовикам давали квартиры первым, одним словом, жизнь кипела там молодая и заманчивая.

Дети к тому времени выросли. Карен закончил мореходку в Ленинграде, женился на Фире, и у него уже росла маленькая дочка Леночка. Правда, женщину он взял старше себя, но самостоятельную и серьезную. Она работала в каком-то научно-исследовательском институте и была человеком грамотным, как говорила Лида. Карен уходил в плавания сначала на кораблях, а потом и на подводной лодке и однажды, вернувшись из похода, решил, что больше он с этой серьезной женой жить не будет. Лида погоревала, но сыну советов давать не решилась. Она продолжала дружить с бывшей невесткой, ездила к ним на недельку-другую и приезжала всегда грустная, что ее сын не задержался у такой хорошей женщины.

Карен тем временем женился на молодой голубоглазой Нине и приехал в гости к матери, уже жившей в городе калийщиков Солигорске, вместе с женой и маленьким сыном. Внучку тогда еще не было двух лет, и спрос с него был небольшой, но что-то тревожило Лиду в этом ребенке. Она тайно сходила с ним к бабке, и та сказала, что мальчик будет слабоумным.

То ли этот вскоре подтвердившийся диагноз, то ли что другое, но Карен из семьи ушел. Был он уже не молод, лыс, но отцовы глаза оставались живыми и притягательными.

Зоя, быстро созрев, вышла замуж в 18 лет, устроилась работать на мясокомбинат, что обеспечивало сытую жизнь всей семье. Она быстро родила двоих: черноглазую и темноволосую, как сама, Ирочку, и шустрого пацана Игорька.

Лиде дали хорошую трехкомнатную квартиру в Солигорске, работа ей нравилась, она устроилась смотрительницей в Доме культуры горняков. Ходила на концерты заезжих звезд советской эстрады, спектакли Минского театра оперетты, посещала собрания ветеранов и кружок по вязанию, репетиции духового оркестра, напоминающие ей о войне, победе и безвременно ушедшем муже.

Муж у Зои не задержался, и она вернулась к матери в просторную и солнечную квартиру с видом на памятник шахтеру, выходящему из забоя. Внуки росли неровно. Ирочка успевала в школе, помогала по дому, не сидела долгими вечерними часами на дворовой лавочке, а ухаживала за престарелой дворничихой, когда та болела. Игорек в восьмом классе связался со взрослыми пацанами, рано начал курить, у него всегда водились деньги и от него часто пахло вином. Лида пыталась поговорить с дочерью, но та только отмахивалась, мол, а что ты хочешь, когда в доме безотцовщина.

Да и сама Зойка, как звала ее мать, отбивалась от рук. Кавалеров водила по трое на неделе. Иногда брала отгулы и закрывалась с очередным хахалем дня на три, запасаясь водкой и продуктами. Лида говорила соседке, что у Зойки бешенство матки, и плакала.

Ирочка по окончании школы уехала в Ленинград к Фире, которая устроила ее на курсы бухгалтеров. По окончании курсов Ирочка нашла работу, вышла замуж по любви и совсем редко приезжала в Солигорск.

Зойка к тому времени уже пила, гоняла мать и сына, а то и пила вместе с сыном.

Измотанная и не раз битая дочерью, Лида нашла себе старика, который жил в соседнем доме. Старик был начитанный, занимал должность по молодости, себя содержал аккуратно, умел готовить и читал умные книги. Он был вдовцом и вскоре предложил Лиде руку и сердце.

Они прожили вместе в согласии и гармонии всего пять лет. Старик сначала слегка недомогал, но Лида сказала соседке, что дед не жилец боле. На похороны приехал сын, достали завещание, и сын уехал ни с чем. Лида осталась в квартире и рассчитывала на спокойную и небедную старость. Как фронтовичке ей давали хорошую добавку к пенсии, она все еще сажала огород и умела экономно вести хозяйство.

Приезжая в Солигорск к родителям, я любила приходить к тете Лиде, как я ее звала, на ее уютную крохотную кухню. Самым большим лакомством для меня была ее жареная картошка. Тетя Лида покупала хорошую свинину с белоснежными прослойками сала, поджаривала ее до румянца с луком и только потом клала туда тонко порезанную полукруглыми долькам белорусскую картошку с чужим именем Адретта. Жарилась картошка на большом огне, быстро покрываясь хрустящей корочкой. Потом сковородка закрывалась крышкой, и огонь убавлялся. Эти нехитрые секреты делали картошку мягкой, но необыкновенно вкусной благодаря румяной корочке. Жареный лук давал особый аромат, а кусочки мяса завершали особый вкусовой букет. Так и жила тетя Лида своими тихими радостями, варила варенье, принимала подруг на кухне и рассказывала о безвременно ушедшем молодом муже Армене.

Зойка к тому времени совсем спилась, помутилась рассудком, и время от времени сын сдавал ее на месяц-другой в психушку. Она возвращалась посвежевшая, полная и как будто бы здоровая. Игорек к тому времени женился на хорошенькой, но злой подружке своего детства, и у него родился сын, которого он назвал по отцу

Арменом. С матерью отношения не ладились ни у него, ни у его молодой жены. Заезды в психушку становились все более частыми.

После очередного возвращения домой Зойка вдруг сорвалась на мужика, запила вместе с ним и лютовала по ночам в доме.

В одну из таких ночей она повесилась. Когда наутро позвали Лиду, она ужаснулась, что дочь вся была в синяках и кровоподтеках. Игорек на экспертизу мать не дал, а все телесные повреждения аккуратно затушеввал косметикой жены-злючки. Лида в милицию не пошла, боялась такой же участи.

Хоронили Зойку в закрытом гробу во избежание людских пересудов.

Игорек вскоре квартиру продал и уехал в Ленинград, забрав с собой злючку и Армена. Он купил в пригороде дом и устроился шофером на местный автобус, обеспечивая семье легкий левый доход.

Младшенький Лидин сын Владимир был надеждой всей семьи. Закончил с отличием мореходку. Хоть и не вышел ростом, но в морской форме смотрелся красавцем, в Солигорске успевал за каникулы разбить не одно девичье сердце. Но он проявлял завидную для молодого курсанта верность соседкиной дочери, тоже гостившей на каникулах в городе горняков. Дело шло к свадьбе, решили отложить до Нового года. Вовка уехал на практику в Севастополь. И вот тут вышла ошибочка. Дочь командующего Черноморским флотом через месяц после танцев с курсантами потянуло на соленое. Вовке пришлось жениться на коротенькой, полногубой Инне.

Брак распался через семь лет. К тому времени и у соседкиной дочери рос сын, жила она в далеком южном городе и к родителям наезжала не часто. Вернувшийся к матери Вовка, по странным обстоятельствам отправленный в запас, вновь начал приглашать соседкину дочь на водохранилище поиграть в волейбол.

Время бежало, но работы он не находил, жил на материну пенсию и на то, что даст огород. Потом как-то

устроился на вахтенные работы на Северах. Уезжал на три месяца на нефтянные вышки и возвращался с карманами денег. Завел много друзей, сменил имя на Армена, начал играть и подсел на травку.

Когда деньги заканчивались, он просил у матери, когда не было и у матери, бил ее, и она занимала у соседней. Его нашли мертвым на территории детского садика. Мать сняла накопленные на книжке деньги и проводила сына в последний путь.

После похорон приехал старший сын, он к тому времени уже был в третьем браке, вроде счастливым. Завел новых детей и ушел на гражданку. Ему дали квартиру в провинциальном городке. Он уговаривал мать продать ее квартиру, купить им вместе дом, где она могла бы зимовать, чтобы дом без присмотра не растащили на бревна пьеницы. Лида не соглашалась, и он уехал. Прошло еще два года, Лиде перевалило за восемьдесят. Он вызвала сына и дала объявление в газету на продажу квартиры. Покупатели нашлись на второй день.

В деревне купили дом, и жили там все вместе летом, а на зиму она осталась одна. Деревня была полупустая, из тех, где люди жили только в теплые месяцы.

Ночью Лиду парализовало. Она лежала без движения и вспоминала свою жизнь, детей, когда они были маленькими, любимого и любящего мужа, кровавую войну, первые счастливые годы в Солигорске.

Она знала, что ей пора уходить. В верхнем ящике старенького, купленного по случаю комода лежало приготовленное ею на смерть, но одеть ее было некому.

Карен приехал проведать мать, когда начал сходить снег. Она лежала посреди комнаты маленькая, как только что уснувший ребенок.

Наденька и Зина

В военторге появилась новая продавщица Зина. Она сразу обратила на себя внимание яркостью нарядов и «боевой окраской». После беседы с командиром воинской части Зиночке пришлось потускнеть, надеть темно-синий халат и делать умеренный макияж. Но от этого она стала еще милее. Небольшого роста, белокурая, полненькая, большеглазая, улыбчивая, бойкая, она вызывала симпатию. Вскоре все узнали, что Зина мать-одиночка, ее маленькая дочка Наденька прихрамывает, родовая травма, подвывих бедра. Девочке было лет пять. В школу пошла в восемь, так как Зина считала, что девочка очень слабенька и физически ей будет трудно поспевать за одноклассниками. Наденька до школы прошла всю программу первого класса, и учительская комиссия, в которую входила и наша учительница, определила, что ее можно оформить во второй класс. Так в нашем классе появилась миленькая, маленькая худенькая девочка, к которой буквально все одноклассники потянулись с желанием оказать услугу. Жила она за территорией военного городка в маленьком частном домике, с крохотным палисадником, калитка выходила прямо на шоссе. Мы после школы провожали Наденьку домой. Родители запрещали, боясь, чтоб мы не попали под машину, но никто из нас не обращал внимания на запреты, и это продолжалось около года, пока Наденьке не сделали операцию. Она сначала училась ходить на костылях, а потом стала ходить не прихрамывая. И в четвертом классе не нуждалась уже ни в какой опеке и даже обижалась, когда ей что-либо пытались уступить. Гордая какая, обижались

девочки и постепенно отстали от нее. Только Генка Герасимов продолжал ходить хвостом за Наденькой.

Часто по воскресеньям всем классом ходили в походы, на пешие экскурсии, и только Наденька не принимала участия: Зина боялась, чтоб она не перетрудила прооперированную ногу. Девочка много читала, была самой эрудированной в классе и на любой вопрос имела ответ и свое мнение. Так однажды она заспорила с учителем биологии, и теперь та постоянно занижала ей оценки.

Однажды Зина, когда Марина Иосифовна пришла в магазин за покупками, попыталась поговорить с ней, но помимо того, что та учитель биологии и женщина с большими амбициями, она еще была и женой командира части. Возможно, поэтому и с амбициями. В общем, разговора не получилось, Марина Иосифовна интеллигентно оскорбила продавщицу, а мужу нажаловалась, что Зинка обвешивает и обсчитывает покупателей. Военоторговый магазинчик вскоре прикрыли и открыли продуктовую лавочку в городке, куда Зиночка и устроилась на работу. Теперь она могла беспрепятственно надевать красивый, белоснежный кружевной фартучек и кружевную пилоточку, делать яркий макияж и улыбаться во весь рот кому ни попадя. Радовалась, что теперь она подчиняется управлению городской торговли, а не военному начальству — командиру части.

Наденька часто с книжкой сидела на скамеечке возле магазина или — в плохую погоду — в подсобке магазина. Зина баловала свое чадо, не разрешала ей ничего делать, а тем более помогать ей.

— Твое дело книжки читать, хорошо учиться, получить высшее образование. Стать врачом, инженером или, на худой конец, учителем, чужих придурков учить умразуму.

— Как ты можешь так говорить, тогда и я чужой придурок, и биологичка — «шушара», правильно поступает, что унижает меня и других учеников?

— Ну вот, слова не скажи, все не так, грамотная ты моя! Главное — учеба, чтоб ты получила высшее образо-

вание, хоть сама биологичкой становись, — залиvisto хохотала Зинаида, подперев руки в боки.

Однажды Наденька, сидевшая с книжкой в подсобке, стала свидетелем пренеприятнейшей сцены. В магазин пришла Люська-жаба и разоралась на Зину, что та якобы уводит из семьи ее Леху.

— Ах, ты сучка течная, всех мужиков на себя тянешь, и где только совесть свою зарыла, тварюка сволотная, гадина. Вот напишем на тебя в управление торговли и вышибут тебя отсюда.

— Уймись, Люська, никого я не собираюсь из семьи уводить, а твой Лешка и подавно никому не нужен кроме тебя, уймись! — отвечала Зина, зная, что дочка в подсобке. — Покупай чего надо и катись отсюда, что мне угрожаешь, это я на тебя и твоего Лешку напишу завгару, что тащите все подряд, когда ты на дежурстве. Сторожиха хренова. Все вижу, мимо дома моего тянете из гаража по ночной прохладе. Днем-то жарко, наверно!

Люська притихла, купила хлеб, молоко, печенье и ушла, бормоча себе что-то под нос.

— Да, вот так можно одинокую женщину ни за что ни про что оскорбить, унижить. А у жабы хоть плохонький, да муж, и никто не посмеет варезку раззявить. Ты слышишь Наденька? Только замужем рожать детей надо, держаться за мужика обеими руками.

И говорила это она не столько для Наденьки, сколько для себя. А дочка промолчала, не зная, что ответить. Отложила книжку и призадумалась.

Господи, ну почему такая несправедливость? Мать бьется, как рыба об лед, а на нее все неприятности валятся, как снежные хлопья. Нужно утешить ее, а чем, и не знаю. Из раздумья вывела хлопнувшая дверь, вошли покупатели и, как обычно, Зина с шутками и прибаутками отпускала товар, советовала купить то, что свеженькое сегодня привезли.

Выручку всегда сдавала больше чем все, такого же уровня, продовольственные магазинчики управления. Всегда была внимательной при расчете с покупателями.

Дорожила своей работой, и в управлении торговли была на хорошем счету. Когда Наденька училась в начальной школе, профком выделял путевки на две смены в пионерские лагеря, премиальные выплачивали к каждому празднику. Вроде бы все нормально, но чего-то в их жизни не доставало. Теперь Наденька понимала, чего...

Вечером за столом обе молчали, стояла какая-то неловкость. Зина не хотела оправдываться и объяснять что-либо, Наденька молчала, не зная, о чем говорить. В конце концов, заговорила о том, что ей предложили вступить в комсомол, но она боится, нужно заполнять какие-то анкеты. И она сказала, что подумает.

— А чего думать-то, вступай, тогда и в институт легче будет поступить, и партийным всегда все в первую очередь. Это я все сквозь пальцы пропустила, считай, всю прожитую жизнь.

И Зина заплакала навзрыд, что-то говоря еще, но этого было не разобрать, кого-то укоряла за сломанную судьбу свою. Надя не подошла к матери, не утешила, потихоньку выскользнула за двери в палисадник, села на скамейку и тоже разрыдалась.

О чем она плакала, толком не могла сказать: о сломанной судьбе Зины или о том, что эта сломанная жизнь касается и ее. Теперь она точно знала, что никогда не повторит материнской ошибки, что нужно для счастья иметь полную семью. Чтоб были мама и папа. Теперь она знает, что сказать Зине. Решительно встав со скамейки, зашла в комнату, подошла к столу, обняла мамочку за вздрагивающие плечи и твердым голосом сказала:

— Выходи замуж, хоть за кого, но выходи замуж, я уже взрослая, все понимаю, женщине нужен муж! — и сама разревелась.

Они плакали, обнимая друг друга, изливая наружу накопившееся женское всеобщее горе неустроенности матерей-одиночек и детей из неполных семей. Сколько их вот таких, обездоленных? Для которых не нашлось женского счастья. И сколько их еще будет во все времена.

Утром они смотрели друг на друга совсем по-новому, им казалось, что они стали еще ближе и роднее друг другу, казалось бы, куда еще роднее. Зина обняла и поцеловала Надюшку и с такой благодарностью смотрела ей в глаза, что невозможно выразить словами, а дочка — с любовью и преданностью. И тихо сказала еще раз:

— Мамочка, выходи замуж. Вон сколько вокруг тебя вздыхателей.

— А злопыхателей и издевателей в сто раз больше. Да где ты их видела, мужчин, которые способны быть мужьями? Нет их, моя родная, нет их для меня, моя милая, добрая девочка! — повторила с болью Зина.

А весна уже переходила в лето, и теплынь стояла настоящая, вокруг отцвели персиковые розовые сады, и на деревьях была кругленькая фисташковая мохнатая завязь, из которой скоро появится настоящий персик и станет быстро увеличиваться и зреть. Наденька вспомнила, как они лазили в этот сад, рвали недозревшие персики и с таким удовольствием жевали эту зелень, пахнущую персиком. Однажды их застал сторож, но вместо того чтоб обругать, сказал:

— Погодеть бы надо было недельку-другую и спелый сорвать, а вы, глядь-ко, зелень трескаете, дизентерия может случиться. Приходите, сам сорву, спелых дам через две недельки.

Хором поблагодарили дедушку, и как-то стыдно стало, ведь украли мы эти персики, а он нам еще спелых обещал нарвать. И нарвал через две недели, а мальчишки лазили по деревьям и собирали урожай в корзины, за которыми должны были приехать из санатория. Так и подружились со сторожем.

Ватагой носились летом ребяташки на море, в лес, а Наденька все читала книжки. По-настоящему ни с кем не дружила, даже Гена не годился ей в настоящие друзья. Ни рыба ни мясо, говорила она Зине, когда та звала ее:

— Кавалер твой пришел, пойди, поговори с дружкой.

— И не кавалер он вовсе, а так — одноклассник.

Иногда вечером в воинскую часть в кино ходили вместе. Когда Наденька болела, он приносил домашнее задание. Даже пристрастился к чтению, однажды спросив: а что ты читаешь? Интересная книжка? Дай почитать. После этого обсуждали, и взгляды их то совпадали, то были диаметрально противоположны, но это не разъединяло, а сближало. Постепенно могло бы, возможно что-то произойти из этого общения, но не суждено было этому произойти.

Наденька иногда ходила встречать Зину вечером, когда она об этом просила. И вот однажды, когда уже темно, поднялась по ступенькам к дому напротив магазина и увидела Федьку Квадрата, тот поманил ее и тихонько на ушко сказал:

— Пошли, покажу тебе кое-что. А что именно, сама увидишь...

Наденька, ни о чем плохом не думая, пошла за ним. Они завернули за угол дома и стали спускаться в кочегарку — и тогда не дрогнуло ее девичье сердечко. Вошли, он запер двери и спустил штаны, от неожиданности она онемела и не могла отвести взгляд от розовой подрагивающей, вставшей плоти. Квадрат быстро надвигался на нее, пока она не уперлась в кушетку. Повалив, он быстро сдернул трусики и провел рукой, определив куда надо. Надя и опомниться не успела, как он вошел в нее. Дикая боль полоснула до самой глубины, она закричала, но он зажал ей рот и все быстрее и быстрее двигался в ней, пока не запыхтел: всё...

— Вот видишь, как все просто, была девочкой, а стала женщиной, и не с кем попало, а со мной. Теперь пойдди и скажи всем, что ты Федькина невеста, а еще и забрюхатишь, как твоя мамка когда-то, и родишь ребеночка. Теперь будем здесь с тобой в любовь играть, Наденька! Голубушка ты моя, ты ведь никому ни словечка не скажешь, правда? На салфетки, вытрись и ступай подмойся, там вода. Ты ведь знаешь, как надо там мыть? Смотри-ка, и крови почти нет, может, не цельная ты была, а, Наденька?

От всего, что произошло, она не могла опомниться, а Федька заправил рубаху в штаны, застегнул ширинку и вышел.

Наденька перестала плакать и сказала тихо и обреченно:

— Теперь мне не жить, сколько горя я принесу своей мамочке...

А в голове звучали Федькины слова, и они путались, цеплялись друг за друга: забрюхатишь, невеста, будем играть в любовь, родишь ребеночка, будешь, как твоя мать.

— Мамочка, родная моя, да за что же мне это, за что? Как теперь мне жить? Зачем мне теперь жить? Для кого? Для улады этого борова? Нет, не стоит жить, не стоит, — простионала Наденька.

Она огляделась вокруг и увидела банку с каустической содой. Привела себя в порядок и вышла из кочегарки. К Зине она не пошла, потихоньку побрела вниз к морю. Мысль о том, что больше жить не стоит, не покидала ее. Раздевшись и войдя в воду, она поплыла подальше от берега, нырнула и как пробка выскочила из глубины. Тут же поплыла к берегу. Вода отрезвила и выбросила ее из своей глубины. Вспомнив о маме, она вышла из воды быстро оделась и побежала домой. Зина сидела за накрытым столом, ждала, не ужинала. Посмотрев с укоризной на свое сокровище сказала:

— Заждалась, где загуляла моя девочка, с Генкой? Даже забыла маму встретить. Мой руки и за стол, жду, слюнки глотаю, кушать хочу, а без тебя и кусок в рот не лезет. Давай по быстрому.

Наденька, помыв руки села, но кушать не могла.

— Мамочка, я не голодна, посижу с тобой.

Долгим внимательным взглядом она смотрела, как Зина с аппетитом жевала и нахваливала: колбаску, картошечку жаренную, огурчик, селедочку.

— Ах, какая малосольная, какая вкусенькая. Надюшка, солнышко скушай кусочек, а картошка румянькая, хрустящая, как ты любишь! Давай с огурчиком соленьким.

Надя положила в тарелку всего понемножку и не заметила, как под мамочкины уговоры все съела. Умылась и легла. Долго ворочалась, не могла заснуть, все звучал этот мерзкий голос: «Вот видишь, как все просто, была девочкой, а стала женщиной». Болело, но не так, как сразу в начале. Закрывала глаза и видела перед собой эту подрагивающую мерзость. Нет, не жить мне! До утра не заснув, она поднялась, как в школу, собрала портфель, но оставила его в кустиках за скамейкой в палисаднике и пошла туда, в кочегарку. Зачем она знала, там, в банке, каустическая сода. Она мне нужна, эта сода мне нужна. Взяв банку, пришла домой, налила в стакан и сделала большой глоток, который обжег все, больше сделать она ничего не могла от боли кричала и металась по комнате, проходившая с дежурства бабушка Филатиха заглянула в двери и опрометью бросилась к телефону вызывать «скорую помощь». Заодно позвонила своей соседке, чтоб та сообщила Зинке продавщице, что с ее девочкой неладное, что она вызвала «скорую», пусть бежит домой.

Наденьку увезли в больницу. Сразу не могли определить, что с ней, а она только просила: — «спасите мне больно». Три дня боролись врачи за ее жизнь, но спасти не удалось. Зина за эти три дня выплакала все слезы и только мычала: — «За что? Господи за что? Девочка моя, для кого мне теперь жить?»

Весь поселок гудел. Зачем Наденька выпила каустическую соду? Откуда в доме оказался каустик, Зина не могла объяснить. Никогда она им не пользовалась. Медицинская экспертиза показала, что девочка, была изнасилована, и это послужило причиной ее поступка. Вызывали и опрашивали всех, кто мог знать, с кем Наденька общалась. Одноклассники отпали сразу. Генка Герасимов с родителями уезжал на несколько дней в Судак к родственникам. Были некоторые подозрения, но милиция не очень-то занималась расследованием. Говорили, что мог солдатик зайти в дом, дверь никогда не запирали, Наденька была одна, вот и...

И только Анютка знала наверняка имя насильника, но молчала. Квадрат смылся, как в воду канул. Преступление осталось не раскрытым.

А поселок провожал Наденьку, как положено, собрали деньги на духовой оркестр, и на поминки, цветов и венков было столько, что холмик закрыли в несколько слоев. На похоронах многие из одноклассников были впервые, ревмя ревели, так жалко было Наденьку, а она лежала в белом платье, такая нежная, юная, словно спала. Зина, за эти дни, осунулась, почернела, сгорбилась, превратилась в старушечку. Было невозможно без слез и сострадания на нее смотреть. В магазин она не вернулась. Пошла в церковь служить, чтоб потом направили в монастырь. По тем временам это было неслыханно. Вскоре в ее доме появились новые жильцы, знать и правда ушла в монастырь.

Заговоренная голубика

В деревне, у подножия высоких гор, острыми вершинами растающих в небо, жил камнетес, и была у него маленькая дочка — Василиса: чудо как хороша. Играет — и солнце выглядывает из-за туч, смеется — будто колокольчик на ветру звенит. А уж если петь начинает — все вокруг замирает, заслушавшись.

Однажды отец отправил ее к горной речке за водой, с дороги велел не сворачивать, только туда — и сразу обратно возвращаться. Идет Васси, напевает песню, и течет ее голосок звонким ручьем по тропинке, просачивается сквозь заросли кустарника и древесные кроны, замирает, запутавшись в невесомых нитях паутины. Птицы ловят его отголоски и растаскивают по гнездам. Услышал девочку старый ледяной тролль, и так ему понравился ее голос, что вздумал он отобрать его, повесить себе на шею вместо оберега, чтобы слушать и радоваться, когда делается грустно, или когда днем приходится таиться под темными сводами пещеры — даже тогда радоваться. Сам тролль не мог выйти из своего укрытия: лучи солнца тотчас превратили бы его в камень, поэтому он нашептал на ухо ящерице веретенице заклинание и отправил ее навстречу девочке. Поползла веретеница к речке, и там, на горном склоне, свернулась кольцом в кусте голубики — и не разглядеть вовсе. А Васси весело шла по тропинке, ни о чем не подозревая, и вдруг видит круглые синие ягоды, слегка подернутые белым сахарным налетом. Разве можно мимо пройти и не попробовать? Забралась она повыше, чтобы дотянуться до кустика, набрала в ладонь спелых сочных ягод, так что пальцы посинели от голу-

бичного сока, и тут же не удержалась — попробовала одну. Нагретая солнцем ягода лопнула под языком и оказалась сладкой с запрятанной глубоко, едва различимой кислинкой. Отправилась девочка дальше своей дорогой, хотела снова песенку завести, а не выходит. Сколько ни старалась — не получается. Будто плотина перегородила течение горной реки, так и у нее — только ком в горле. Да что песня, даже слова не вымолвить! Испугалась она и бросилась домой со слезами на глазах. Только синие ягоды бусинами рассыпались по дороге.

Посмотрел каменотес на плачущую дочку и сразу понял: без волшебства не обошлось. Собрал с собой в дорогу немного еды и отправился в сторону гор, возвышающихся над деревней, прячущих колючие вершины под сверкающей ледяной корой. Там берут свои истоки бурные реки, там берет свои истоки и волшебба. Чем выше поднимался он, тем яростнее ветра пытались его остановить. Камни то и дело осыпались из-под ног и позмеиную сползали вниз, но мужчина не останавливался. Вечер уже окунул высокие уступы скал в темно-синюю гуашь, как вдруг услышал каменотес знакомую песенку и пошел на звук. Вскоре оказался он у входа в просторную пещеру. Василисин голос гулко отражался от ледяных стен, метался, искал выход, и никак не мог его найти, словно теперь звенящий ручей был заперт на дне глубокого колодца. Это придало мужчине еще больше решимости, и он смело шагнул внутрь. В пещере жил тот самый тролль. Он сидел вполоборота, раскачиваясь из стороны в сторону, словно на ветру. Каменотес сделал несколько осторожных шагов и увидел у него на шее, на тонкой нитке синюю, похожую на ягоду голубики бусину, и понял: это и есть украденный голос. Тролль то и дело бережно к ней прикасался, и тогда песня звучала громче. Время от времени великан отламывал с пещерного свода гигантские сосульки и ел их, словно морковку.

— Зачем пришел сюда, человек? — не поворачивая головы, спросил тролль.

— Разве ты не знаешь? Это ведь ты украл у моей дочери голос!

— Ты, каменотес, постоянно крадешь камни с моей горы, и что с того?

— Эти камни я не себе присваиваю. Люди строят из них дома. Ты же взял, что тебе приглянулось, без спроса, спрятал в пещере и ни с кем не желаешь делиться.

— А с кем мне делиться, глупый человек? — рассердился тролль. — С людьми, что ли? Они и так одолевают меня, словно мелкий гнус.

Мужчина не испугался. Наоборот, подошел и присел на камень рядом с великаном.

— Проси что хочешь, — примирительно сказал он, — только голос верни Василисе. Она все равно что птица певчая, а ты ее на немotu обрекаешь.

— Все, что хочешь, говоришь? Знаешь ли ты, на что соглашаешься? Я могу съесть тебя прямо сейчас, могу скинуть вниз, как кидаю тяжелые валуны — просто ради забавы, могу оставить здесь навсегда, чтобы ты рассказывал мне истории и не давал скучать долгими летними днями.

Мужчина возражать не стал, только кивнул.

— Не понимаю я вас, людей, — продолжал тролль. — Подумаешь, голос! Он не стоит твоей глупой жертвы. И все ради чего? Вы, люди, и без того мимолетны, как бабочки. Однажды твоя дочь умрет, а с ней стихнет и ее голос. Я же могу сохранить его навечно!

Каменотес только пожал плечами. Так они долго сидели рядом, не говоря ни слова.

— Вот ты говоришь: делишься моими камнями с людьми, — первым нарушил молчание тролль. — Но вначале то я с тобой ими делюсь, во всяком случае, не сильно препятствую. А ты тут в жадности меня обвиняешь.

— Извини. Обидчивый ты больно. — И снова воцарилось долгое молчание.

— Вообще-то я, если захочу, могу и этим со всеми поделиться, — и огромная ручища прикоснулась к маленькому хрупкому камешку, висящему на толстой шее.

— Это как же?

— А вот так, увидишь. Сам сказал, что на все согласен.

— Верно. И чего же ты хочешь?

— Чтобы ты встретил со мной рассвет.

— Но ведь ты превратишься в камень? — изумился мужчина.

— Да, и ты со мной, человек.

— И ты не боишься?

— Это ты боишься, а я слишком стар для страха. Я ничего не чувствую, кроме скуки и усталости. А так хочется чему-нибудь удивиться. Давно хотел посмотреть на восход солнца, — пророкотал тролль, — но тогда мой брат был совсем маленький, ему и тысячи не исполнилось. Как бы он за горой приглядывал? Да и неохота одному.

— А Васси? Кто вернет ей голос?

— Глупый... Голос, стоит его только отпустить на волю, сам вернется к хозяину.

— Ну, тогда ладно. — На том и порешили.

Вышли они из пещеры, сели лицом к востоку и стали ждать.

Вот небо уже порозовело на горизонте, ночь стала прозрачной, начала истаивать, как льдинка в горячем чае. Одной рукой тролль сжал теплую синюю бусинку, а другую положил на плечо человеку. Полоса на горизонте становилась все ярче и ярче, и наконец, натянулась до предела, как тетива лука, готовая выстрелить первыми солнечными лучами.

— Ух ты! — успел поразиться тролль, и тут же превратился в камень. А с ним рядом и каменотес. Но превратились они не в обычный камень, а в турмалин цвета голубики. И что-то сдвинулась глубоко в горных недрах: словно вены протянулись по ним синие турмалиновые жилы. С тех пор в горах стали находить залежи этого минерала.

Минул год с того дня, как Василиса потеряла голос, и однажды, набирая воду в реке, она увидела на дне круглый синий камешек, так похожий на ягоду. Подобрала, сжала в руке и тут же почувствовала, что больше ничто

не спирает ее горло, и забытая песня сама рвется на свободу, только выходит она уже не беззаботной и радостной, а печальной, и горчинки в ней больше, чем сладости.

По прошествии многих лет люди стали звать турмалин камнем музыкантов, поэтов и певцов, потому что в душе каждого из них звучит своя потаенная мелодия, которая так и просится наружу, и камень помогает ей найти выход.

Полчаса, чтоб отдохнуть

Собака, лопоухая, лохматая, с прытью молодого сайгака скакала по поляне; ее рыжие уши взлетали над высокими стеблями зверобоя и душицы, появлялись и снова пропадали; уши вставали по-заячьи и, опадая, с размаху хлопали собаку по глазам. Было понятно, что представление псина устроила специально для своих хозяек, чтобы поднять им настроение. Густой лай сопровождал каждый ее прыжок, собака словно кричала: «Смотрите, как я умею! Полюбуйтесь! Как! Это! Смешно!»

Хозяек было двое — старшая и младшая. Они шли через перелесок в соседнее товарищество, в магазин, именуемый по-старинке «сельпо». Там закупались местные дачники, не имеющие возможности купить продукты в большом супермаркете, который находился в пяти километрах отсюда, если ехать по шоссе. В магазинчике выбор был небольшой, зато имелось самое необходимое: хлеб, молоко, замороженные куриные грудки, а также пиво, печенье и прочие мелочи.

Выгул собак на территории товарищества воспрещался, и трехгодовалую сеттершу Чариту взяли с собой: пусть побегает на свободе. Собака принадлежала старшей хозяйке, но жила она на даче, с младшей. Какой-никакой воздух и простор.

Младшая хозяйка выглядела устало, но молодо. Ее каждое движение было наполнено спокойной уверенностью, которая наступает, когда природа, безыскусная и щедрая, наконец-то празднует в женщине победу.

Возраст старшей, пожалуй, перевалил за пятьдесят. Твердые уголки губ, опадающая линия рта. Слегка прищуренные глаза.

Дорога до магазина через перелесок занимала около сорока минут неспешным шагом. Погода радовала: сезон летних дождей кончился, и август обещал дачникам за последние три недели восполнить недостаток солнца и тепла. Хотя, сказать по правде, август сам по себе ничего не обещал; обещали синоптики.

Пестрый полиэтиленовый пакет, который несла младшая, был заполнен на четверть: наступила грибная и ягодная пора. Женщины шли по тропинке и сворачивали с нее, чтобы сорвать гриб, растущий поблизости. Дальше не заходили; слишком легко было увлечься и нырнуть через перелесок в еловую чащу, где дачники обычно бродили до вечера: прощайте, домашние дела.

Сеттерша уже не прыгала в траве. Она прислушалась к чему-то и нырнула в ельник; рыжий окрас делал ее незаметной.

Младшая хозяйка окликнула ее, но собаки и след простыл.

— Вот дурная псина.

— Ничего, набегается и прибежит.

— Не потеряется? — в голосе младшей прозвучало беспокойство. — А то удрала на днях, по дачам побиравась. А ко мне соседи с претензией.

— Следить надо лучше.

— Петьку бы не проворонить. Он у меня уже два раза земли наелся. А ты — собака...

— Куда ты только смотришь весь день, — недовольно сказала старшая, — В небо, что ли.

Она увидела возле дороги гриб, наклонилась к нему и скovyрнула его ножом. Разломила надвое и бросила на дорожку.

— Червивый.

— Устала я... — вздохнула дочь. — Говорят «устала как собака», а вот собака-то у нас как раз и самая отдохнувшая.

— А что ты хотела? — мать пожала плечами. — Думаешь, мне с тобой, с маленькой, легко было? Мне вообще никто не помогал.

Дочь замолчала.

— На прошлой неделе я вас отпустила в город погулять, — сказала мать. — Вы в гостях были.

Дочь угрюмо кивнула.

— Угу, — буркнула она. — Век бы этих гостей не видеть.

— Ты же хотела выйти на люди.

— Это не я, это Паша хотел.

— Хорошо, в следующий раз сама сиди со своим Петькой.

Метров двести они прошли молча. Из леса раздался долгий залп густого собачьего лая.

Старшая хозяйка свистнула. Лай продолжался.

— Наверно, снова ежика нашла. Охотница.

Женщины свернули с дороги в ельник. Сухие иголки покалывали пальцы ног в открытых босоножках.

Они прошли мимо овражка с сонной водой, мимо старого, уродливо тлеющего мусора, поднялись на пригорок. На пути лежали корявые сосновые корни, выпирающие из песчаной почвы. Воздух в лесу наполнился влагой; в нем еще чувствовался дух вчерашнего дождя.

Собака исступленно лаяла, с силой припадая на передние лапы, так, что в разные стороны летела хвоя, травинки, мелкие ветки и земля.

Она поддевала лапой серебристо-серый колючий комок, и казалось, что этот комок сотрясается в мелкой судороге. Но ежик дышал, часто-часто, отпыхиваясь, будто отплевываясь. Собака оповещала весь мир о своей находке, но не знала, что же делать с ней дальше.

Молодая хозяйка схватила собаку за ошейник и оттащила ее в сторону. Псина упиралась и кашляла, давилась возмущенным лаем.

Старшая хозяйка пристегнула поводок. Приблизившись к тропинке, собака успокоилась, но поводок с нее так и не сняли.

— Ну и слониха.

— Воспитывать надо собаку, — сказала мать.

— Вот сама и воспитывай, — огрызнулась дочь — У меня времени нет.

— С маленькими детьми всегда времени нет, — невозмутимо повторила мать.

— Извини... — дочь осеклась. — Зря я. На самом деле у меня все хорошо.

Мать посмотрела на нее, поджав губы. Дочь улыбнулась.

— У Петьки сейчас самый лучший возраст на свете, — сказала она.

Уголки рта старшей из женщин стали еще тверже; улыбка не получилась.

— Дети — это страшное дело. У них любой возраст самый лучший. Какой ни возьми, — произнесла старшая, чуть помедлив.

Дочь внезапно повернулась к ней, словно собиралась что-то сказать. Но потом передумала и пошла молча. Мать вела собаку возле левой ноги, согласно правилам общего курса дрессировки.

Выкрашенные белой краской стены магазина уже виднелись на той стороне дороги.

— Стой, — приказала мать, передавая поводок. — Я все возьму. Молоко, хлеб, сахар, и дальше по списку.

Стоя с собакой возле двери магазина, молодая женщина смотрела в одну точку на асфальте. Губы ее шевелились. Собака потянулась было к какому-то прохожему, но хозяйка натянула поводок и крикнула «Фу!». Псина послушно села возле ноги.

Мать вышла минут через пятнадцать, груженная объемными полиэтиленовыми пакетами. Женщины переместили содержимое пакетов в рюкзаки и тронулись в обратный путь.

Зашли в лес, но собаку с поводка не спускали.

— У Петьки уже пух на голове потемнел, — сказала младшая задумчиво. — Ты видела? И еще он... Медом пахнет!

— Все дети так, — ответила старшая, одной рукой дергая поводок, другой придерживая лямку рюкзака. У нее начинала болеть спина.

— Мне кажется, не все, — сказала дочь мечтательно. — Только мой.

Они прошли несколько шагов. Младшая вдруг подняла голову.

— Я вот думаю... Я бы еще одного Петьку себе родила, — сказала она. — С пухом на голове. И чтобы медом пах.

Старшая усмехнулась.

— Ну-ну. Давай.

— Нет, а что? — оживилась младшая. — Я бы Петьку в садик, а со вторым сидела бы.

Мать даже остановилась.

— Сидела бы? Ты? Со вторым?

Дочь кивнула.

— То есть, прощай профессия, ты это хотела сказать? — мать смотрела на нее пристально, глаза ее сузились, левый нервно подергивался. — Я растила тебя одна, всю молодость положила, чтобы дать тебе нормальное образование, и что мы теперь имеем? Твой недописанный диплом и нескончаемый декрет.

— Мама!

— Что — мама? — старшая поправила лямку и снова зашагала вперед. — Я уже двадцать два года мама. И содержать тебя с твоим ребенком не буду.

— Меня муж будет содержать! — но в голосе младшей, поначалу окрепшем, вдруг что-то увяло. Старшая хмыкнула.

— Да уж, вижу я, как он тебя содержит, — сказала она. — Так, что мне самой приходится вам еду покупать. И носить ее на своем горбу.

Младшая ссутулилась под тяжестью рюкзака и побрела, промятая упрямым лбом упругую августовскую духоту. Темные бессонные круги под ее глазами стали глубже и отчетливей. То ли от напряжения, то ли от наплывающей жары к горлу подкатывала легкая тошнота.

Ее мать шла по тропинке, уверенно ведя у левой ноги высунувшую язык собаку. Пожилая женщина тоже сгорбилась, ее влажное лицо блестело.

— Давай разгрузим твой рюкзак, — сказала одна женщина другой.

Но вторая не ответила.

Молча, глядя под ноги, они дошли до своего участка.

Дома было тихо: отец и сын все еще спали. Аккуратно, не проронив ни слова, женщины опустили рюкзаки с покупками на деревянное крыльцо.

У них оставалось еще почти полчаса, чтобы отдохнуть.

Черный вход однажды захлопывается

«Рэйверы — безграмотные отморозки дебильного вида, напичканные наркотиками и наряженные в нелепые шаровары». Это то, что моя мама знала о рэйверах. В ледящем душу сне она не могла увидеть, что я — рейвер и ночи напролет угораю на вечеринках.

От стереотипного мышления обывателей крутило спазмами тело, повседневность и рутина пугали, как застывшие глаза мертвеца, и я вступила на тропу войны. Я не училась, не работала и не рожала детей. Я не хотела делать добрые дела и быть полезным членом общества. Я предпочитала оттягиваться и развлекаться. Жить в свое удовольствие, чтобы остро замирало сердце, чтобы в животе уютно мурлыкало, а под лопатками наклевывались крылышки. Наши родители так жить не умели, они даже не догадывались, что это возможно. Каждый день моя бедная мама ходила на работу, и каждый день она думала, что я сижу на лекциях.

Каждый день я просыпалась в пять вечера и каждый день серьезно и вдумчиво выбирала наряд для вечеринки. Это была философия и медитация, йога и шахматы, фэйсбук и айфон. У каждого костюма — своя легенда и персонаж. Пышное платье пятидесятых: ты — романтическая красотка, сбежавшая на каникулы из Рима, строгие линии шестидесятых — Катрин Денев из «Дневной красавицы», скромная и порочная. Мужской брючный костюм говорил о твоих феминистических настроениях: вооружившись манифестом Валери Соланс, ты готова дать яростный отпор каждому, кто приблизится на расстояние вытянутой руки. Разноцветный балахон свиде-

тельствовал: ты — беззаботный мотылек, залетевший на праздник.

Пока мама, трудящаяся дегустатором на покосившихся крымских заводах, пробовала кислое вино, я экспериментировала с сознанием. Я всегда любила «ходить по лезвию бритвы», пробуя все, что запрещено. Но я не употребляла героин, не валялась под забором и не корчилась в ломках. Я не продавала себя за дозу и не выносила из дома антиквариат бабушки. Я «примерная девочка», занимаюсь эквилибристикой, ловко балансируя на канате между реальностью и «запредельностью». Смело иду на штурм небес. Начитавшись Кастанеды и подружившись с группой «Медгерменевтика», я хочу управлять тайнами вселенной. Но как рассказать об этом маме? Юлить и скрывать — мелкотравчатая унылость. Надо честно посвятить маму в стиль прогрессивной экспериментальной жизни.

Однажды мой знакомый Ваня, тощий продвинутый интеллект, загадочно подмигнул мне и шепнул, что я готова. Можно познакомиться с Настенькой. Там я получу ответ на болезненный вопрос о маме.

В назначенный будний, исполосанный дождем день я принесла с собой скромное серое платье с белым воротничком, длина до колен. Хлопчатобумажные советские колготки, волосы — в косе. Мама любила скромность. Я представляла, что Настенька — молодая грудастая африканка с бубном на животе и осколками рогов мамонта в ушах. «Настенька» оказалась флакончиком с прозрачной жидкостью.

Мы собрались в пустой квартире, растопырившей комнаты в разные стороны. Высокие потолки и огромные окна как бы подготавливали к простору воображения. Для встречи с «Настенькой» существовал церемониал. Надо придумать, для чего ты это делаешь и послать запрос в космос. Меня интересовало, как моя догматичная, воспитанная в православии мама отреагировала бы, узнав о моем занятии. Это был вектор моего химического путешествия.

Дальше музыка. Мы с Ваней предлагали хоралы Баха, ведь они напоминают техно и гармонизируют. Несутся, хватают, кружат, вовлекают и отпускают. Музыка Баха — наша подушка безопасности, нить Ариадны, с помощью которой мы вернемся обратно.

Место мистерии — огромная кровать, остров, где все должны лежать обнявшись, чтобы не потеряться. Девочки-ангелочки застелили кровать шуршащим, хрустящим, вкусно пахнущим бельем, белым, как облако.

Приглушенный свет, свечи, звучит Бах, все нарядные, все готово. Мы приступаем.

Я ложусь на краю облака-кровати и начинаю думать. Думать о сути мамы. Мысль разворачивается и мелькают картинки: мама яростно вопит и выгоняет меня из дома, рыдает и сокрушается, потом лежит с мигренью, а на следующий день демонстративно не разговаривает. Мама — человек вспыльчивый и консервативный, жалко маму, я ее совсем не радую. Хорошо, что музыка Баха оказывается сильнее моих дочерних чувств. Ноты цепко хватают, перемальвают в фарш и стремительно уносят. Фарш расплзается на тысячи частиц. Они твердеют и звонко рассыпаются, а потом какие-то шарики складываются в дурацкую фразу: «Фаааарш невозможно повернуть назаааад, и мясо никогда не восстановишь...» — крутится кольцом, явно не в моем, а в каком-то другом, низком сознании.

И вот молекула отрывается, слова распадаются на отдельные буквы и оказываются внутри хорала. Начинаются «американские горки» по гуттаперчивому тоннелю. Хочется осмыслить свое положение. Но как это сделать? Я перестала быть человеком, я — часть ноты в фуге Баха, я стремительно лечу в хрустальную высь далеко вперед. Резко поворачиваю. И улетаю опять. А живот словно катается на «американских горках».

Серый потолок нависает, обрушивается, вдруг заставляет понять, что все закончилось. Я лежу с открытыми глазами и обнаруживаю, что ничего не узнала про маму. Неужели я плохо подготовилась? Или я все же что-то узнала, пожив внутри ноты Баха. Но что?

Я пытаюсь спустить ногу с кровати, колени дрожат. Тело — свинцовый мешок, голова намертво прилипла к плечам. Блин, куда делась моя шея? Вдруг зеркало показало, что шея вроде на месте. Нет, не на месте. Ладно, не важно.

Я выдохнула и прошлепала к холодильнику. Достала торт бизе «Полет», лучший образец советской кондитерской промышленности. Взяла нож, длинный, острый, бесконечный нож, зачем такие хранят дома?

Положила, на всякий случай, нож на место, отломала кусок руками. Жадно съела, затем проглотила оставшийся торт. Шея вернулась на место, а я вернулась в комнату. С ходу произнесла: «мээээ», на меня никто не взглянул. Тогда я громко сказала: «А можно...» Ваня бросил ледяную руку мне на губы. Разговаривать нельзя. Надо ловить постсостояние.

Я села, закрыла глаза и стала ловить. От неразжеванного торта, который я заглотила на кухне, тошнило. Я приоткрыла глаз и, набычившись, как циклоп, разглядывала компанию «астронавтов». Художник икал, писатель лежал мешком, отвернувшись к стене. Живучий толстяк сидел с пустыми зрачками, прислонившись к спинке кровати. Астеник отпаивался водой без газа. Кучка мелких воришек, пытающихся ухватить Знание. Пробрались на праздник Мудрости через черный ход.

Я стащила с себя тесное серое платье, натянула опять свои джинсы и синий свитер из ангорки. Вышла на улицу.

Тихо падал снег. Я огляделась и не поняла, куда мне идти. Пошла прямо. За мной никто не гнался. Я убегаю, мчусь вперед, а меня никто не догоняет. Я протестую, а мне никто ничего не запрещает.

Вижу, на бетонном столбе трепыхается бумажка с текстом, присматриваюсь, читаю: «На праздник Мудрости и Знаний герои попадают ТОЛЬКО через парадный вход. Мама».

Что?

Я прищуриваю глаза, читаю медленно: «Работа. В кооператив „Милосердие и Знание“ требуются квалифицированные медсестры. Диплом обязателен». Отрываю

ключок с номером телефона и засовываю бумажку в карман промерзших штанов.

Стою. Мимо идут три девушки, смеются. Интересно, сколько сейчас времени?

Потом я рассказала о мамином объявлении Ване. Он хмыкнул и обещал подумать. Друзья не стали считаться с такой мелочью, как «получать Знания через парадный вход». Они отправлялись в полеты снова и снова, пока их не унесло не понятно куда, и однажды они не вернулись.

А я поехала домой, к маме.

Когда я добралась до южнобережного поселка и просочилась в узкую квартиру, заставленную ненужным хламом, мама сидела на кухне, под иконами. Она допивала вторую бутылку красного игристого, первая, пустая, стояла у ножки табуретки.

Не успела я снять кеды, как мама громко объявила, что штрих-код, густые черные полосы, которые начали появляться на товарах в европейских странах, содержит три шестерки. Число зверя! Число, описанное в Откровении. И вот это число вторглось в наш мир вместе с цифровыми технологиями. Пока оно ставится только на товары, но не далек тот день, когда мы получим число зверя на лоб.

Мама протянула этикетку, содранную с французского шампуня.

— Вот, полюбуйся!

Я взяла бумажку. Прямоугольник из черных штрихов. Две тонкие длинные линии по бокам и пять коротких, затем опять тонкие линии по центру и пять коротких. Две тонкие полосы — закодированная цифра «шесть». Каждый штрих-код содержал три двойные длинные линии, получались действительно три шестерки. «666».

Я испугалась и выросла в пол. Страшное «число зверя» объявилось так прозаично, на восьмиметровой кухне, на старой клеенчатой скатерти, среди заурядного фаянсового чайника и чашки с отколотой ручкой.

— Не далек час, когда три шестерки будут окружать нас повсюду, — не унималась мама, — сатана вышел из подполья, не берусь предположить, что он натворит!

Я смотрела на пунцовые щеки мамы, ее взъерошенные седые кудри и сверкающие глаза и постепенно успокаивалась. Она держит руку на пульсе, у мамы свой стиль продвинутой жизни.

Я пробурчала, что цивилизация жива, и мы развиваемся. Человек не уступит своих позиций, он тысячелетиями сражается за Добро. И мы, воины света, стараемся не спать. Мы изучаем Дьявола, чтоб понимать его языки и бить его же оружием.

И я отправилась в душ. Вода быстро смывала пыль, насевшую на меня в плацкартном вагоне поезда. Пузырилась мягкая пена, шуршала шелковая занавеска, а мама стучала в дверь и требовала, чтоб я жила бдительно.

— Нечего умничать! Стоит только связаться с Дьяволом, так он и не выпустит! Не таких крутили! Ишь, самонение! Открывай дверь!

— Зачем?

Зачем, мама не знала, наверное, ей было страшно за меня, наглую и гордую. Возвращавшуюся из Большого города с огромными синяками под глазами и похудевшую до костей.

Стоя под струйками холодеющих капель, которые безжалостно разрушали домики мыльной пены, я обещала маме и себе, что буду жить с оглядкой. Разгляжу личину сатаны, даже если она затаится среди пены красных дорожек кинофестивалей.

Я вышла из душа в легкой смуте и заглянула на кухню. Мама, отправив в рот последние капли игристой жидкости, беззаботно закуталась в плед, секунду посидев в задумчивости, встала и так же задумчиво ушла в спальню. Дверь захлопнулась. Мама всегда была для меня загадкой.

Я вытерла со стола хлебные крошки, выкинула тяжелые бутылки в пластиковое ведро и отдернула шторы.

На ребристой ветке грушевого дерева тихо покачивалась полная луна. Она казалась близкой и спокойной. На другом конце света танцевали рейверы, и дьявол делал свою работу. Он казался далеким и вымышленным. Но он слишком близко подошел ко мне? Я надолго закашлялась.

И подарил Бог зеркало

Благословляйте гонителей ваших;
благословляйте, а не проклинаяте.
Никому не воздавайте злом на зло,
но пекитесь о добром пред всеми человеками.
Если возможно с вашей стороны,
будьте в мире со всеми людьми.
Не мстите за себя, возлюбленные,
но дайте место гневу Божию.

Послание апостола Павла

Утром он долго брился, подпирая правую щеку языком изнутри, затем так же основательно принялся за левую. И все говорил-говорил-говорил. Его язык выбрасывал в пространство страшные слова, выходившие из него, как дождевые черви, такие же скользкие и извилистые, хотя и звучали они красиво. И сам он был красивый. Смуглый, узкий, тонкий. Вдобавок ко всему перечисленному стильная прическа, ладные уши, классический подбородок. Совершенные мужские линии. Она влюбилась в него сразу, как только увидела. Не влюбилась, пропала. Вот так взяла и пропала. В один момент закончилась сила, ушло мужество, а стальные нервы стали мягкими, как капроновые нити. Железная женщина превратилась в обычную, размагниченную бабу с тривиальными запросами. Сразу захотелось постирать ему рубашку, носки и трусы заодно, хотя выглядел он мужчиной с запросами. Аккуратный, подтянутый и мужественный, одет с иголочки. Ничто в нем не говорило о том, что ему нуж-

но постирать что-нибудь, рубашка и носки у него были чистые. И все равно захотелось приготовить что-либо вкусное и накормить.

Катя покраснела. Это материнский инстинкт. Когда женщина влюбляется, она хочет накормить любимого. Он заметил ее горящие глаза, подошел, и как-то незаметно они сблизились, мигмом почувствовав единение душ. Он любил поэзию, а Екатерина его. Когда он читал стихи, она притворялась, что слушает, а сама обмирала от счастья лишь от того, что идет рядом с ним. Что он здесь, близко, рукой подать. Тронь его, и почувствуешь биение пульса, услышишь стук сердца, ощутишь жар родного тела. Екатерина не любила поэзию. Она не верила в полет мысли. Все, что есть на земле, все реально. Все, что можно потрогать руками. Небесное надо оставить небесам.

— Понимаешь, ты ее отражение. Ты зеркало своей матери. Она — это ты. Ты — это она.

— Нет! — Екатерина наблюдала за ним, стоя у двери в ванную. Он брился тщательно, словно собирался на военный парад. Любитель поэзии любил аккуратность во всем, и если брился, то до синевы. Предыдущей ночью Екатерина имела слабость рассказать ему о своей матери. Собственно, а почему слабость? Они собирались пожениться, и надо было посвятить любимого мужчине в семейные тайны. Все равно рано или поздно пришлось бы рассказать. И все-таки Екатерина не ожидала такой реакции от него. Он выслушал, затем резко поднялся и пошел в ванную. И бреется уже два часа. За это время щеки стали глянцевыми от бритвы.

— Нет! Я не повторение своей матери. Она мне чужая!

— Это тебе кажется, родная, — голос у него утомленный, словно он устал объяснять очевидные вещи. Он не сердится, что его не понимают. Просто устал. Его голос потух.

— Тебе кажется, что вы чужие, а вы отражения друг друга. Бог сделал вас такими. Зеркальными.

— Нет!

В этом «нет» прозвучало столько боли, что он прервал бритве и скосил на нее на нее глаз, долго смотрел, изучая, затем вновь принялся скоблить и без того выскобленную щеку.

— Ты — не израненная женщина. Нет. Ты — сплошная рана. Вечная рана. С такой раной невозможно жить. Я бы не стал жить с женщиной с незаживающей раной. Это приговор. Я никак не мог понять, что с тобой не то. Теперь стало ясно, откуда в тебе это. От матери. Ты — не женщина, а каменная баба. Истукан. В тебе нет эмоций. Совсем не умеешь плакать. Тебя уже ничто не расшевелит. Ты застыла от незаживающей раны. Это что-то вроде проказы. Мужчины не любят раненых женщин. Кто станет жить с прокаженной? Разве что ненормальный какой. Мужчины любят здоровых. Все дело в естественном отборе. Мужчина хочет получить от женщины здоровое потомство, а такая женщина, как ты, может родить только дауна.

— Здоровая женщина тоже может родить дауна, — прошептала Екатерина, изнемогая от ужаса.

— Да, у нее есть риски, но у тебя их больше!

Сказал как припечатал. Изнутри поездил языком по щекам, погладил их руками, проверяя гладкость, после этого положил бритву в целлофановый пакет с замочком. Какая-то ценная бритва, которую он всегда носит с собой. Металл в ней особенный, не режет кожу, не срезает прыщики, а мягко снимает даже однодневную щетину. Хотя у него и прыщиков нет, и выбрит он всегда гладко, до глянца. Само совершенство. Екатерина усмехнулась. Она и не могла полюбить несовершенного мужчину. Только такого, высшей категории. Умница, эстет, любитель поэзии. Не бабник.

— Я желаю тебе удачи, родная, — он мягко улыбнулся.

— Как же так? — прошелестела губами Екатерина. — А я? Что будет со мной? Мы же хотели жить вместе!

— А я не смогу! Я теперь всегда буду видеть в тебе твою мать. Всегда. А это невозможно. Я люблю тебя больше жизни, может, я умру без тебя, но жить с тобой не

смогу. И пробовать не хочу. Оставайся свободной женщиной, Екатерина!

Хлопнула дверь, Екатерина вздрогнула. Давно пора сменить замок. Этот щелкает, словно бомба взрывается. Как нелепо все. Почему он ушел? Почему? А потому! Екатерина медленно сползла на пол и уткнулась лицом в колени. Такого ужаса она еще не испытывала. Много было в ее жизни ужасов, но этот самый страшный. Это ведь не предательство, не измена, не расчет. Это ужас. Сколько вообще на свете существует ужасов? Сто, две-сти, триста? Они видоизменяются, всякий раз принимая изощренные формы, превосходящие по мере воздействия все предыдущие ужасы.

А как красиво все начиналось! Они уже ходили в мебельный магазин в поисках подходящей детской кроватки, искали удобный письменный стол и кресло. Екатерина глухо рыкнула. Она не могла плакать. Слез не было. От рыданий она себя давно отучила. Когда в ее жизни случался очередной ужас, она глухо рычала. Почему-то именно кресло стало самым обидным воспоминанием. Он очень хотел удобное кресло, но они никак не могли выбрать нужный вариант. Все что-то мешало, то подлокотники твердые, то посадка низкая, то обивка смешная. В мебельном изобилии не нашлось нужного кресла. Екатерина каталась по полу и рычала, пугая себя нечленораздельными звуками. Потом вспомнила, что соседка снизу в это время возвращается со смены. Екатерина замолчала и скорчилась на полу, поджав колени к подбородку. Она хотела замерзнуть, чтобы появилось желание согреться. В таком состоянии любое желание может вернуть к жизни, отодвинув видоизмененный ужас на задворки памяти. Ее трясло от озноба, и чем больше она мерзла, тем больше сворачивалась в комок.

Она росла в поселке на окраине страны. Зброшенное поселение тихо вымирало от пьянства и безделья. Многие выживали за счет тайги и огородов, хотя что может вырасти в условиях Дальнего Севера, лишь картошка да свекла. В доме Екатерины часто сидели без хлеба. Катина

мама изо всех сил старалась прокормить двух детей и себя — мать-одиночку. Дети родились от разных отцов, не оставивших после себя ни имени, ни фамилии, ни воспоминаний. Коротая утомительные командировочные часы, переспали с симпатичной молодухой, после чего бесследно пропали. Ни тот ни другой не знал, что после него остался ребенок. В поселке почесали языки, а потом привыкли. Молодуха быстро превратилась в зрелую женщину, утратив привлекательный вид. Местные мужчины больше не заглядывались на нее, из чего женщины сделали вывод, что источник зла полностью исчерпал себя.

Тем временем дети подрастали. Старшая девочка хорошо училась, на людях вела себя прилично, младший был тихим и спокойным мальчиком. И никто из местных не догадывался, что творилось в небольшой избе окнами на большак. Екатерина рано узнала, что такое кулак, ремень и палка. Мать била ее часто, почти ежедневно. Била изощренно, не оставляя на теле дочери следов насилия. Обычно била без повода, превратив избиение в ежедневную процедуру. Екатерина часто думала, что могло служить этому причиной? И не находила ответа. Обвинять легче всего. Понять сложно. Почему так случилось?

В семь лет Екатерина поняла, что жаловаться на мать нельзя. Если кто-нибудь узнает о побоях, ее с братом заберут в детдом. Больше всего Екатерину волновало, что станет после этого с матерью. Куда она денется? Если детей отнимут, в поселке ей не жить. Местные не простят позора. Здесь еще живы старые традиции. Могут и ворота дегтем обмазать, и красного петуха пустить, лишь бы выжить беспутную женщину куда подальше.

Иногда Екатерине казалось, что мать подняла на нее руку еще при рождении, хотя впервые ощутила удар в четыре года. Они должны были пойти в магазин за хлебом. Мать быстро собрала младшего ребенка, а Катя заупрямилась, не желая надевать широкие шаровары. Девочка хотела выглядеть нарядной. У нее были другие штанишки, красные, узкие, очень красивые, как ей казалось. Штанишки достались по наследству от подростшей

соседской девочки. За ослушание она получила сполна. Мать била ее долго, от иступления на лбу у нее выступил пот. Крупные капли ползли по красному от ярости лицу, застилая глаза и попадая в рот. Мать отдувалась от капель, они мешали ей, а Катя кричала, зная, что ее никто не услышит. Она уже тогда знала, что в этом доме можно кричать бесконечно, до соседей не докричатся. А потом уже не кричала, а молча терпела, пережидая, пока у матери сойдет на нет острый приступ злобы. Еще она понимала, что мать вымещает на ней обиду на одинокую и голодную жизнь, полную тяжелого труда и унижений.

Екатерина совсем не ревновала брата. Рука матери ни разу его не ударила, только гладила. Катя любила брата. Они дружили. И она знала, что мальчик жалеет ее, хотя и не понимает, почему так происходит. С каждым годом Екатерина становилась старше и тверже. Она совсем перестала плакать. Она больше никогда не плакала, лишь иногда думала, что мать становится более озлобленной из-за того, что дочь всегда молчит. От этого Катя еще больше замыкалась в себе.

И чем больше становились удары, чем дольше затягивались жестокие экзекуции, тем лучше училась девочка, зарабатывая отличные отметки. Школа гордилась самой лучшей ученицей. Катя приносила домой грамоты и призы, стараясь прятать награды подальше от матери. Любое упоминание о способностях дочери вызывали в женщине еще большую ярость. Начиная с пятого класса, Екатерине доверили представлять школу на соревнованиях и олимпиадах. Отовсюду девочка привозила первые места. Чем больше дочь тянулась вверх, тем сильнее темнела лицом мать. Истязания превращались в пытку. Однажды мать неудачно приложила и повредила дочери глазной нерв. Левый глаз сплюснулся и заплыл. Женщина испугалась: если узнают в школе, мигом сообщат в прокуратуру, а там быстро разберутся. Не только родительских прав лишат, но и в тюрьму запрячут.

В больнице она сказала, что неудачно колола дрова, одно полено отлетело — и надо же так случиться — доче-

ри прямо в левый глаз. А сама виновата, нечего стоять под колуном. Неаккуратная девочка растет. Доктор заохала, заахала. Как же так? Ведь Катя послушный и примерный ребенок, как бы без глаза не осталась. Мать вздохнула и больше не допускала неосторожных ударов.

Впрочем, была еще одна серьезная травма. Как-то мать так разошлась, что раздробила Катину колено до кости. В больницу они не пошли. Не было больше больницы в поселке: закрыли по причине малочисленности населения. И хотя при школе работал фельдшерский пункт, идти туда было опасно из-за нежелательной огласки. Мать лечила колено самостоятельно, без помощи медиков. Сама накладывала жгуты, бинтовала и смазывала колено мазями. Откуда-то принесла змеиный яд. Екатерина все терпеливо сносила, наблюдая за лицом матери. Оно ничего не выражало. Абсолютная маска, лишенная человеческих эмоций, но как оно оживало, если рядом пробежал младший брат! Мать менялась на глазах, становилась счастливой, а Катя тихо обмирала от ощущения ужаса, чувствуя себя лишней в этом доме. Несколько раз она пыталась уйти куда глаза глядят, но всегда возвращалась. Она прекрасно знала, что сумеет дойти лишь до первого объезда на большаке, а дальше за ней приедет милицейская машина. И все начнется сначала.

В седьмом классе Екатерина неожиданно вытянулась и в один месяц стала выше матери. Однажды она перехватила занесенную над ней руку, немного подержала, глядя в глаза мучительнице, а затем, продолжая крепко удерживать в своей руке, медленно отвела в сторону. Они долго смотрели в глаза друг другу. Мать поняла, что выросшая дочь сумеет постоять за себя, и больше не испытывала судьбу, боялась, что в следующий раз отпор может оказаться куда сильнее.

В гнетущем молчании они прожили еще несколько долгих лет, казалось, продолжавшихся целую вечность, пока Катя не окончила школу. Она ушла из дома рано утром, не попрощавшись, только поцеловала спящего

брата. Мальчик шевельнулся во сне, но не проснулся. Екатерина улыбнулась ему и тихонько выскользнула за дверь. В руках у нее был маленький школьный рюкзак, где лежали одно платье, зубная щетка и тапочки. Трусов не было. Почему-то мать скупилась именно на трусы. Екатерина ходила в одних и тех же годами, каждый день стирала их и сушила на печке, пока те не истлевали до полной непригодности.

Екатерина не любила вспоминать первые самостоятельные годы в большом городе. Пережитые унижения заставляли содрогаться от ужаса, но это был другой, какой-то совсем невыносимый ужас. Катя ни в чем себя не винила. Она много работала, почти без передышки, много училась, еще больше голодала, а как же без этого? Но этот, новый ужас состоял не в преодолении трудностей, а в том, что приходилось скрывать от всех свое прошлое. В Катиной теперешней жизни не было места матери и брату.

Она не боялась никакой работы; бралась за любую, лишь бы выбиться из нищеты. В свободное от учебы время мыла полы, разносила почту, подметала дворы. Катя знала, что должна превзойти всех на пути к вершине, а без опыта ничего не удастся. Она истязала себя работой, умалчивая о своих родственниках, скрывая их в анкетах и разговорах. Если рассказать чужим людям, что в семье есть психическое заболевание, которым к тому же страдает родная мать, никто не посочувствует. Все станут разглядывать, дивиться, мол, как это диковинно, что в двадцать первом веке происходят такие ужасные события. Люди любят смотреть на зверей в клетках. И сами могут быть зверями. А других превратить в зверей им только в радость.

Именно этот ужас был самым невыносимым, самым страшным: нужно постоянно прятаться от людей, делать вид, что у нее нет никого на свете. Будто она родилась сама по себе, без помощи отца и матери. Словно ни матери, ни брата вообще не было в ее жизни. Катя не хотела ничего объяснять. Она хотела забыть, а оно не забыва-

лось, лезло изо всех щелей, проникало в грудную клетку, заставляя сжиматься сердце и не давая дышать.

Через два года мучений у Екатерины появилась крохотная надежда, что она сможет выстоять в непрекращающейся борьбе за существование. Сбежав из общежития, она сняла комнату в коммунальной квартире, и долго радовалась, что у нее появился собственный угол, в котором она может находиться одна. А потом вдруг исчезло чувство сосущего голода. Заработанные деньги давали возможность нормально питаться. На вечернем отделении Екатерина считалась одной из лучших студенток. Не самой лучшей, как она привыкла, а одной из лучших. Это было самое высокое достижение, сродни первому месту на олимпиаде. Так она шла к успеху, медленно, ступенька за ступенькой, поднимаясь и падая, скользя и опускаясь вниз, и снова карабкаясь наверх. И доползла, долезла, докарабкалась, но вышла все-таки в люди. Екатерина получила техническое образование, нашла работу, купила квартиру, а через некоторое время машину. Все далеко не роскошное, даже скромненькое. Но с поселковым этот уровень и сравнить было невозможно.

Екатерина надеялась, что все эти достижения лишь фундамент для новых свершений. Опираясь на него, она взберется на самую высокую вершину, круче которой уже ничего нет. И тут она встретила одноклассницу. Никогда бы не узнала она в крупной полной женщине тоненькую девочку из выпускного класса поселковой школы.

— Катя?

— Наташка?

После первого восторга пришло отрезвление. Екатерина молча смотрела на видоизмененную одноклассницу. Годы без жалости изуродовали ее. Потухшие глаза, бесформенная фигура, одежда с рынка вконец изуродовали молодую женщину. Следы лака на треснувших ногтях, остатки помады в уголках губ и ярко-голубые тени, слипшиеся в толстые складки на припухших веках делали ее еще более жалкой.

— Наташка, ты проездом?

— Не бойся, в гости не напрашусь! — отрезала одноклассница, почувствовав на себе брезгливый взгляд. — Ты-то как?

— Да нормально, — неопределенно бросила Екатерина, весело хмыкнув. Хвастать успехами она не любила.

— А-а, нормально так нормально! — одноклассница с завистью оглядела Екатерину. Симпатичная, нет, даже красивая. Стильное пальто с джинсами, кроссовки, удобная и вместительная сумка — все это выглядело на Кате более чем прилично.

— А твои бедствуют! Хоть бы проведала их.

— А чего они бедствуют-то? — нахмурилась Екатерина. Сумка сразу стала тяжелой и неудобной. Оттуда полезли забытые журналы, батон и пучок салата, словно им надоело сидеть взаперти. Екатерина запихнула продукты обратно и поморщилась. Почему прошлое всегда выглядит отвратительно? Почему бы ему не прийти в роскошном мантио с тросточкой в изнеженной руке? Так ведь нет: явилось в голубых слипшихся тенях над глазами и в облезлом маникюре.

— А они оба не работают. Работы в поселке нет. Брат выпивает. Бражку варит.

Екатерина хотела спросить про мать, но раздумала. Наверное, им вдвоем хорошо, раз до сих пор не уехали из поселка.

— Если есть бражка, значит, уже не бедствуют. Блаженные люди блаженны во всем! Бывай, Наташка!

Екатерина резко обогнула одноклассницу и пошла, стараясь выглядеть прямо, но модная сумка тянула книзу.

— Подожди, Катя! Все хотела тебе сказать, — крикнула вдогонку Наташа, — а ведь мы все знали про тебя.

— Что — знали? — не оборачиваясь, спросила Екатерина. Сумка оттянула руку, казалось, они весит не меньше сотни килограмм. Пора перестать таскать такие тяжести. Женщина не обязана быть грузчиком.

— Весь поселок знал, что мать тебя бьет. Хотели в прокуратуру идти жаловаться, да пожалели Зинаиду.

— А что ж меня-то не пожалели? — Екатерина как остановилась, так и стояла спиной к бывшей подруге, не поворачиваясь к ней.

— И тебя пожалели, — неожиданно всхлипнула Наташа, — чего тебе было по детдомам мотаться? А при матери ты и школу окончила, и человеком стала. Вон какая выросла! Завидки берут.

— А ты не завидуй, — буркнула Екатерина, — не дай тебе бог того, что я пережила!

— Да как не завидовать, ты вон какая, а я... — хлопнула носом Наташа. — А у твоей матери маниакально-депрессивный психоз. Это наша медичка так говорила: Зинаида вымещает свои обиды на дочери.

— Нет! — вскрикнула Екатерина. — Нет. Это не МДП! Это что-то другое. На других же людей она не бросалась. И брата пальцем не тронула. И при чем здесь женские обиды?

— Так она же такая несчастная всегда была, все ее бросали, предавали. И ты ее бросила. Если не МДП, тогда что это было? — растерялась Наташа.

Одноклассница не ожидала, что Екатерина будет спокойно рассуждать о прошлых обидах. Ей бы слезами заливаться, так нет же, стоит и улыбается, красавица. Только в глаза почему-то не смотрит.

— Это не психоз. Что-то другое. Тебе этого не понять. Впрочем, мне тоже. Это тайна.

Неожиданно сумка снова стала легкой как перышко. Сто килограмм веса куда-то исчезли. Катя побежала в сторону дома, небрежно помахивая модной сумкой, уже не боясь, что из нее выпадут продукты. Хотела обернуться и позвать Наташку в гости — надо же хоть чаем человека напоить — но вместо этого только прибавила шагу и побежала к дому уже вприпрыжку. После этой встречи Екатерина выбросила из головы пустые воспоминания. Нечего забивать голову. А потом встретила его: красивого, умного, стильного. Он был воплощением ее давней мечты о лучшей жизни. До встречи с ним Екатерина думала, что другой жизни не существует, разве что

на далеких планетах, где-нибудь там, за оборотной стороной луны. Оказалось, нормальная жизнь есть на земле. Она существует, этой жизнью можно наслаждаться, а не мучиться и терпеть в ожидании чего-то еще более тяжелого и страшного.

Он ушел, поставив точку в их отношениях. Возврата не будет. После его слов вся жизнь рассыпалась в прах. Она стала пылью. И нет надежды, что когда-нибудь на ней прорастет сонная трава. Эта могила останется открытой. Ее нечем закопать.

Екатерина долго лежала на холодном полу, пока не впала в беспамятство. Организм автоматически отключил все ресурсы, чтобы спасти Екатерину. Она не сошла с ума и не заболела. Утром проснулась и пошла на работу, окинув отражение в зеркале равнодушным взглядом. Ей было все равно, как она выглядит, в чем одета, о чем думает. Совсем не хотелось есть.

Прошло много дней и ночей, прежде чем Екатерина научилась спать. После его ухода она всему училась заново. Говорить, работать, дышать. И все равно ужас от последних слов любимого мужчины оставался внутри нее. Он никуда не делся. Она поняла, что надо научиться жить с этим ужасом в душе. И потянулась череда одинаковых дней. Екатерина знала, что уже не сможет полюбить другого мужчину. Никакого. Никогда. Ей больше никто не нужен.

Только через три года она научилась быть счастливой в своем замкнутом мирке. Екатерина не боялась косых взглядов и не наблюдала за чужой счастливой жизнью. Она смирилась с собой: приняла свой крест и несла его с гордо поднятой головой. Плохонький крест, да мой, сама его понесу, в ничьей помощи не нуждаюсь. Несмотря на подавленное состояние, карьера Екатерины летела наверх со скоростью космической ракеты. Она привыкла жить в достатке, даже, можно сказать, роскоши. Многого себе не позволяла, зная, что люди станут завидовать. И хотя чужой зависти не боялась, но все-таки морщилась, наталкиваясь на злобные взгляды окружаю-

щих. Стараясь не замечать зависти, не отвечала на колкие выпады, лишь кротко улыбалась. Не обессудьте, люди добрые, так уж вышло, одна я осталась в этом жестоком мире. И не я сама тому виной.

Екатерина ничего не знала о любимом мужчине, который так жестоко предал ее. И не хотела знать. Как, впрочем, ничего не хотела слышать о своей матери, пока не встретила на перекрестке в центре города ту самую одноклассницу, наговорившую ей когда-то обидные слова. Но это была совсем другая Наташа. Симпатичная женщина в модной куртке, глаза веселые, на щеках ямочки. Легкомысленные кудряшки кокетливо выются вокруг гладкого лба. В ушах дорогие серьги.

— Катя?

— Наташка?

— Какими судьбами? — закричали обе в один голос, не обращая внимания на прохожих. Как и на то, что они стояли на «зебре», мешая остальным пешеходам.

— Да я перебралась в большой город, — затараторила Наташа, обнимая подругу за плечи. — Что там, в поселке, загибаться-то? Бросила все и уехала. На тебя посмотрела: ты же не побоялась начать с нуля, ну а я чем хуже?

— Ты не хуже, Наташка, ты лучше! — воскликнула Екатерина, радуясь за подругу. — Молодец, что решилась. А где работаешь? Замужем?

— Замужем, двое ребятишек уже, работаю парикмахером. Помнишь, я всегда кукол причесывала? Вот, пригодилось. Разряд получила. На курсы повышения квалификации хожу. А давай в кафе посидим?

Они перешли на тротуар, чтобы не навлечь на себя гнев автомобилистов. В город медленно входила осень. Она желтела редкими листьями на деревьях, студила кровь холодными порывами ветра, но лето упрямо не желало сдавать позиции. Солнце щедро рассыпало по городу каскады теплых лучей, вскипающие веселыми огоньками в глазах школьных подруг.

— Не могу сегодня, Наташка, давай, в воскресенье? На работу опаздываю.

Вдруг Екатерина увидела, что взгляд одноклассницы погас. Наташа вздохнула и помрачнела. Солнце поспешно спряталось за гряды облаков.

— Катя, а твои-то померли.

Екатерина проследила, куда спряталось солнце. Оно плотно засело за темную тучу, неведомым образом пробравшуюся на небо в теплый августовский денек.

— Сначала Зинаида померла, потом твой брат. Он совсем плохо, не по-людски. В канаве его нашли. А у Зинаиды сердце остановилось. Аневризма, сказали. Похоронили их по социалке. Ну и местные чего-то собрали. Поминки устроили. Ты теперь можешь ваш дом продать. А то пустой стоит. Хотя кому он нужен? Там все дома пустые.

Екатерина засмеялась, подумав, что жизнь не изменилась, она продолжала играть по своим правилам, не уставая удивлять как живых, так и мертвых. Еще одна разновидность ужаса настигла Екатерину в солнечный погожий день уходящего лета, когда настроение было на пике счастья, пусть укороченного, обрубленного, но своего, честно заработанного счастья. Пронзительно заняло травмированное в детстве колено.

— Чего ты смеешься? — удивилась Наташа. Она смотрела на подругу круглыми от ужаса глазами.

— Я не смеюсь. Я плачу.

И Екатерина пошла по тротуару, все норовя сойти на проезжую часть. Ей мешали люди. Она хотела остаться одна. Екатерина шла по городу, забыв про Наташу, про свое обрубленное счастье. Сейчас она думала о матери. О брате. О жизни. О том, что смысла нет, но в то же время он есть. А в чем заключается смысл жизни, никто не знает. И как разгадать его, как найти корни, чтобы докопаться до истины, тоже никто пока не додумался.

Она долго бродила по городу, стараясь понять, почему все так случилось, почему жизнь решила погружать ее в состояние непреходящего ужаса от рождения до бесконечности? Потом успокоилась и поняла, что ужаса нет.

Это все выдумки. Есть, есть смысл жизни, и он заключается в преодолении. Для начала нужно преодолеть себя, чтобы отыскать смысл собственного существования. Простить мать невозможно, это немыслимо, но понять надо. И не только понять, но и похоронить почеловечески, а то свалили их в одну яму, зато на поминки денег не пожалели. Для матери и брата уже не столь важно, в какой могиле они будут лежать, это нужно самой Екатерине.

Она остановилась, пытаясь сообразить, где находится: оказывается, она стоит в кассах Московского вокзала. Вокруг шумела кипучая вокзальная жизнь. Громко перекрикивались пассажиры, звучали голоса диспетчеров, пронзительно звенела сигнализация. Наверное, кто-то бросил машину у вокзала. Сейчас ее отвезут на эвакуаторе. Екатерина подошла к окошку.

— Мне нужен билет до Новосибирска.

— А, да, пожалуйста!

В вечернее время кассирша выглядела не лучшим образом, но голос звучал дружелюбно. Женщина в окошке улыбалась.

— А дальше как поедем?

— А почему вы спрашиваете? — Екатерина натянуто улыбнулась в ответ.

Откуда бы знать кассирше, что от Новосибирска Кате предстоит дальняя дорога?

— Работа у меня такая! — с гордостью заявила женщина, поправляя седые волосы. Ей далеко за шестьдесят, но ей идет спецодежда, она мило улыбается, да еще старается проникнуть в душу пассажира. И ведь не лень ей; вроде бы должна уже устать от людей.

— Из Новосибирска самолетом полечу.

— А, так это мы сейчас устроим! Мы вам отсюда билет закажем, чтобы там в очереди не стоять.

И кассирша принялась куда-то звонить, объяснять, доказывать, вовлекая в житейский водоворот измученную душу Екатерину. Через два часа поезд весело несся по рельсам, унося с собой все прошлые печали. В грохоте

состава слышалась надежда на лучшие времена. Екатерина сидела за столиком, прикрыв глаза. Она впервые ощутила, что внутри у нее больше нет ужаса. Его вообще нет. Вместо него обычная нормальная жизнь. А если на белом свете что-то есть, то к нему обязательно прилагается смысл. Так положено по инструкции, составленной высшими силами.

Старушечье счастье

В подъезде было сыро, но тепло — под ногами у самого порога красовалась живописная лужа, в которую падали мутноватые капли с плохо побеленного потолка. Крыша протекает.

Рита остановилась, перекладывая из руки в руку два тяжелых пакета — тонкие ручки врезались в кожу, оставляя там сизо-бордовые вдавленные следы, и ладони вспыхивали болью. Решившись, женщина перешагнула через натекащее озеро воды и пошла наверх, по заплываным и немытым ступеням.

Нужная ей квартира стояла распахнутой настежь — на мгновение Рита замерла, разглядывая открытую дверь и сглатывая противный комок, который скользил в горле, не давая нормально вдохнуть. Пакеты тянули руки.

В душе противно тянуло что-то совершенно иное, только такое же тяжелое. Шагнув в прохладу и едкое марево запахов, Рита закрыла за собой дверь, поставила пакеты на пол и стянула куртку с плеч. Зашла в комнату.

— Мам?.. — голос мгновенно утонул, поглощенный грудями наваленного хлама, что украшали тесную и неудобную квартирку. На козырек подоконника с ритмичным стуком рыдали сосульки. В комнате было темно и зябко: все шторы задернуты, все форточки распахнуты.

Тишина.

Пробравшись сквозь башни из старых книг с пожелтевшими страницами, наваленные стопки истлевающих газет, тарелки с присохшими кусочками пищи и вазы с гниющими цветочными стеблями, Рита, пытаясь не морщить брезгливо нос, подошла к кровати и присела на

самый край. Кровать взвизгнула, но лежащее неподвижно белое полное тело и не шелохнулось.

— Мам, — выдохнула Рита, осторожно рукой касаясь плеча, теплого и шершавого. Теплого. Самое главное.

Женщина, беззаботно спящая на старенькой продавленной кровати с матрасом, из которого в ребра сильно впивались ржавеющие пружины, подскочила от испуга и судорожно обернулась. Глаза ее, вытаращенные, темные, с расползшимися на всю радужку зрачками, походили на глаза испуганного ребенка, мало что еще смыслящего в мире.

— Все хорошо, мама, — быстро и успокаивающе произнесла Рита, глядя белые полные плечи, и в голосе различимо засквозило отчаяние. — Это я пришла. Дочка. Маргарита.

— Здравствуй, Рита, — отозвалась мать, неуклюже усаживаясь на кровати. Под бледным телом вперемешку были навалены старые вещи и покрывала, одеяла и пледы. Чьи-то порванные колготки, маленькое кружевное черное платьице, блузка с мерцающими в полутьме пайетками...

— Почему опять не одеваешься? — спросила вроде бы сурово Рита, но переживания и тяжелая неделя на работе дали о себе знать, голос надломился, а глаза мгновенно повлажнели. — Прикройся хоть. Лежишь голой.

Мать непонимающе скользнула по дочери взглядом, но все же согласно взяла из протянутых рук старенький, недавно выстиранный халат и набросила на обнаженное тело, скрывая белые складки и темные старческие пятнышки, что как проказа расползлись по коже. Взгляд оставался таким же мутным, отрешенным.

— Дверь опять была открыта, — пожурела Рита, скрепящая безвольно свисающие руки и отводя глаза. Мать, кряхтя, усаживалась на кровати, подвязывая халат истрепанным пояском.

— Нет. Я закрывала.

— Настежь распахнута. Я что, врать тебе буду?

Мама молчала. На подушке, недалеко от ее руки устроилась тарелка с колбасными очистками и шкурка-

ми помидоров. Тарелка наклонилась, и теперь бледно-розовый сок стекал на наволочку, покрытую желтыми пятнами, словно разбавленная кровь.

— Просыпайся. Сейчас таблетки будем пить.

Поднявшись, Рита пошла на кухню, по дороге схватившись за ручки пакетов и волоча необъятные сумки следом за собой. Босые ступни прилипали к полу. Сгорбившись, женщина даже не бросила привычного взгляда на большой портрет в потемневшей старинной раме — мама, молодая и суровая, статная, с величественной осанкой и твердым взглядом светлых глаз. Темные пышные кудри вились, прикрывая высокий белый лоб, тонкие губы чуть приоткрыты, в глазах — сталь и выдержка.

Внизу подпись — «Лидии Никитичне на добрую память от сотрудников и друзей».

На кухне царил полнейший бедлам — стоило ржавой лампочке под потолком вспыхнуть и начать источать несвежий и грязноватый свет, как Рита остолбенела на пороге, неверяще оглядываясь по сторонам. Тяжелые пакеты остались в коридоре на засаленном полу — женщина даже не поняла, когда скрюченные ручки выскользнули из ладоней.

Мусор. Грязь. Вонь.

Крошечная кухонька была сплошь завалена хламом разного толка: старая сломанная мебель, чья-то растрескавшаяся миска, закопченные незнакомые сковороды, пробитые кастрюли, детское белье, пустые упаковки из-под шампуней, чистящих средств, косметики, выброшенные настенные календари, дневник первоклассника, игральные карты... На Риту с уроком смотрела бубновая дама.

Не выдержав, женщина рванулась обратно. Мать, уже встав с кровати, стояла, чуть покачиваясь, и бледными ладонями держалась за металлическую спинку.

— Мам, я неделю назад устроила здесь генеральную уборку! — вспылила Рита, устремляясь вперед и подхватывая маму под руки, не давая той упасть. Щеки пылали гневом. — И что я вижу?! Что ты опять сотворила с квартирой?

Лидия Никитична молчала, глядя исподлобья. Подбородок у нее трясся, по нему ниткой потекла слюна. Устыдившись своего крика, Рита усадила маму обратно на заваленную вещами кровать и, выудив из кармана кружевной платок, аккуратно вытерла бледное, покрытое сетью морщин лицо.

— Ладно. Прости. Таблетки...

Таблетки лежали в старой коробке из-под тепловой пушки, и там, в разномастной чехарде из блистеров и высыпавшихся капсул, покоились стройными рядами бесконечные лекарства. От сердца, от давления, от тахикардии. Для улучшения работы мозга, для сил встать с кровати.

Для жизни. Или существования?..

Пробежав глазами по пачкам, Рита поняла, что мама опять пила таблетки без разбору — в каких-то ячейках не хватало по пять нужных, какие-то блистеры были почти полными. Значит, опять пьет не по графику. Это плохо. Опасно.

Страшно.

— Ты неправильно пьешь лекарства, — с легким укором произнесла Рита, выщелкивая мелкие бледные таблетки в руку, сверяясь с длинным перечнем, напечатанным большими буквами, вывешенным прямо над кроватью. Рите с дочерью пришлось печатать список в типографии — большой и глянцевый, он всегда должен был быть бабушке подсказкой. Какие таблетки утром, какие капсулы днем, какие блистеры перед сном. Все по графику.

— Неправда, — упрямо, словно ребенок, отозвалась мама. — Нормально... пью.

Рита вздохнула и сыпала таблетки в темную и скрюченную ладонку. Сбегала на кухню, с трудом нашла в немытой посуде более или менее светлый стакан, отмыла его под краном, принесла холодной воды.

— Смотри по списку, пожалуйста, — вновь бессмысленно возвала Рита. — Это опасно, мам. Я сейчас приберусь, и мы померим давление.

— Не надо... уборки! — мать с трудом подобрала нужное слово, и сморщенное лицо исказилось, словно в испуге. В том году ее ударил инсульт, и теперь они с Ритой могли часами пытаться вспомнить, подобрать нужное слово. То, о чем пожилая женщина хотела сказать, но чему никак не могла найти форму в своем поврежденном мозгу.

— Оглядишься, — коротко посоветовала Рита, и, не обращившись, пошла на кухню.

— Не надо! — грозно крикнула мать, прямо как раньше, в молодости. Заскрипели пружины кровати. За стеклом взвыл порыв ветра, и капель стала совсем безумной.

— Это называется синдром Плюшкина, — заорала с кухни Рита, закатывая рукава блузки, оглядывая творившийся вокруг беспорядок. Слух у матери сильно сел, и дочь не была уверена, что та ее услышит. — Когда в дом тащат всякий хлам! Ты превращаешь квартиру в помойку! Неужели самой приятно жить на свалке?!

Ответом была тишина, и Рита принялась за работу.

К мокрому лбу прилипали мелкие каштановые кудряшки, и Рита пыталась их сдуть, но ничего не получалась. Руки, покрытые мыльной пеной и застарелым жиром, чесались и зудели, внутри поселилось мерзкое и противное чувство, но Рита, игнорируя все на свете, методично расчищала кухню.

Чьи-то выброшенные вещи — в черные пакеты, хоронить и завязывать на узел. Сломанные упаковки, бутылочки, пустую грязную тару — туда же, щедро присыпать мусором из тарелок, объедками, костями... Запах стоял жуткий, резало и кололо глаза. Рите то и дело приходило подавлять рвотные рефлексy, утыкаться носом в собственный рукав и мелкими глотками цедить воздух.

Никакие перчатки и маски не помогали. Сгребая мусор, хлам, киснувшее и гниющее, она относила пакеты в коридор и громоздила их там, зная, что потом несколько раз придется бегать на мусорку. Отмывала посуду, за-

мачивала почти в кипятке и долго терла железными губками, в которых застряли куски пищи, вонючей и мерзкой.

Пришла мать, нетвердо ступая. Встала, опершись руками о стены, пристально наблюдает, словно надзиратель.

— Что ты стоишь и высматриваешь? — спросила Рита глухо, отдирая высохшую еду от тарелки. Мама молчала, глядя на порхающие в мойке руки.

— Ничего... не выбрасывай, — с трудом наконец-то произнесла она, тяжело дыша. Ее крупное тело трепыхалось и дрожало, будто желе, но мать стояла, не желая оставлять дочь без контроля.

— И без тебя разберусь. Иди! Ложись!

Маму пришлось под руки вести обратно в спальню и усаживать на кровать. Старушка смотрела на собственную дочь, словно обиженный младенец, чуть выпячивая нижнюю губу.

На кухне все вокруг — шкафы, плита, раковина, пол, стол и подоконник — было покрыто липким, грязным и несвежим. Абсурд. Помойка. Рита же только неделю назад... К черту.

В холодильнике было не лучше, но женщина, чувствующая, как подгибаются ноги, сунула купленные продукты на полки, вылила особо отвратительно пахнущее и противное. Пошла в коридор. Застыла на пороге.

Мама, сгорбленная и скрюченная, стояла над пакетами, быстро и судорожно вытаскивая оттуда сплюснутые упаковки из-под шампуней и наматывая на морщинистые руки чужие бледно-салатовые брюки. Увидев тень дочери, что упала прямо на лицо, она обернулась, ворвато бросая взгляд.

— Не смей выбрасывать... — она помолчала, подбирая слова. Лицо ее стало пустым и вытянутым. Озарение мелькнуло в бесцветных глазах: — Мои вещи!

— Это мусор, мама, — устало возразила Рита, делая к ней шаг. Этим спорам было уже столько лет... Женщина протянула руку, намереваясь забрать хлам, но мать

оскалила зубы, и, резко дернувшись, бросилась в комнату, прижимая добытое к груди. Старая, немощная, она почти побежала, мелко семеня полными ногами по немывтому полу в грязных разводах.

На линолеум градом посыпались старые бусы, сломанные шашки, ободок с короной...

Остолбнев, Рита остекленевшим взглядом проследила за матерью. На секунду у дочери возникло чувство, что старуха вот-вот вопьется желтоватыми зубами в руки, которые связывают мусорные пакеты.

Не желая ничего говорить, Рита сгребла в кучу мусор, который смогла унести, набросила куртку на сгорбленные плечи, вышла прочь из зловонной квартиры и крепко заперла ее. Даже не попрощалась. Не смогла. Решительность и силы оставили, и женщине показалось на мгновение, что сейчас она — лишь пустой воздушный шарик, сморщенный и некрасивый. Провернулся в скважине ключ раз, второй... Не выдержав, Рита прижалась лбом к обитой дерматином двери и заплакала — без слез, сухо, всхлипывая тихонько и не понимая, почему это происходит именно с ней.

... Вечером кухня опустела — муж, съевший все котлеты со сковороды и опустошивший тарелку со слипшими макаронами, ушел посмотреть шизофренически бормочущий телевизор, дочка только вернулась с прогулки и раздевалась в прихожей. Рита, сгорбившись за столом, размешивала в чае сахар — мелкие веточки чабреца, душицы и зверобоя плавали там в припадочном танце, цепляясь за ложечку.

— Мам, я дома, — на кухню заглянула дочка, выудила йогурт из холодильника и остановилась, прижимаясь бедрами к шкафчику. Пристально всмотрелась в бледное материнское лицо. — Что-то случилось?

— Нет. Все по-старому.

— У бабушки была? — проницательно спросила дочка, слизывая йогурт с этикетки. Лицо у нее вытянулось, в движениях появилась подростковая угловатость. Распущенные кудрявые волосы подсвечивала лампочка,

и казалось, что голова девушки окутана ровным сияющим светом.

— Да.

— И что там? Все плохо?.. Помойка?

— Помойка, — отозвалась Рита, пристально наблюдая за кружащимися в чае листочками. — Она опять натащила полную квартиру. И как сил хватает бегать на мусорку?.. Двери нараспашку. Спит без одежды. Разговаривает с трудом.

Лидка вздохнула грустно, отвела глаза.

— Таблетки пьет?

— Путаает. Знаешь, чуть не укусила меня, когда я попыталась выбросить всё, что она с помойки принесла, — Рита горько ухмыльнулась уголками губ. — Господи, как это страшно... Знаешь, я больше всего на свете боюсь, что однажды стану точно такой же. Старость — самая страшная болезнь.

— С нашей точки зрения, — философски отозвалась Лидка, усаживаясь прямо на тумбу, скрещивая тонкие ноги. — Все когда-то окажемся в такой жизни. Деменция не дремлет. Но... Ведь это нам, НАМ тяжело. Нам печально видеть ее... такой. Но, быть может, ей нормально.

— В этом ничего нормального нет, — покачала головой Рита. — Мозг не работает. Начинаешь тащить все подряд, живешь в грязи, не понимаешь этого... Почему это происходит? В чем смысл вообще такой жизни: в боли, в таблетках, в неосознавании, непонимании?

— А в нашей жизни какой смысл? — резко спросила дочь. — Сходить на работу? Съездить на природу в выходные? Выбраться в ресторан на праздник? Потренировать мозг сериалами?.. Не нам судить о ее смысле. Он только ее.

— Не знаю. Не понимаю, наверное, просто. Уж лучше... лучше уйти ночью, во сне, ничего не почувствовав и не поняв, как умирает твое сознание. Душа.

Лидка замолчала, придавленная грузом материнских слов. Ложечка с йогуртом замерла на полпути, словно у дочери не хватало сил донести ее до рта.

— В бабушке иногда просыпается что-то, — продолжала Рита, отхлебнув чая, обжигая губы. — Препрежнее. Она смотрит на весь бедлам вокруг круглыми глазами, спрашивает у меня: «Неужели я с ума схожу?». Я успокаиваю. А она опять уходит в себя и начинает бороться за каждую порванную упаковку из-под молока.

— Ей нужна наша поддержка, вот и все. Это болезнь, не прихоть.

— Я знаю. Мы поддерживаем, как можем. Но можем не всё. У тебя учеба, у меня работа... Мне кажется, что лучше бы Бог забирал таких людей, мучающихся, к себе, чтобы они не страдали на земле. Я бы не хотела так уходить... Для чего вообще столько мучений? Инвалиды, больные и страдающие люди, старые и угасающие... Зачем им это всё? Что за изощренная пытка?

— Это пытка для тебя, — отозвалась Лида и глянула светлыми глазами, в которых мелькнула знакомая сталь. — Ты же не можешь ей в голову залезть. Да, для нас это боль. Тяжело убираться постоянно без результата, выбрасывать груды мусора, испытывать стыд и горечь, смотреть на нее такую. Только вот я рада, что бабушка еще с нами, пусть и вот такая уже, непохожая на себя... Да и кто знает, быть может, для нее все это побиршничество — счастье?..

— Глупости говоришь, — улыбнулась Рита. — Взрослеешь вроде, а не понимаешь ничего...

— Еще бы, — Лидка фыркнула и слезла с тумбы. — Чего на философию тебя потянуло? Пусть бабушка живет, сколько ей дано. Будем помогать. Поддерживать. А чего нам еще остается?

— Ничего, — отозвалась Рита и поставила кружку, словно точку в их разговоре.

* * *

Лидия Никитична проснулась далеко после полудня — в окна били косые солнечные лучи, сосульки за стеклом застыли и теперь переливались, отбрасывая

блики на ее кровать. Старушка лежала, глядя на высокое голубое небо, что мелькало за раздуваемой ветерком сероватой занавеской. Прохлада окутывала тело, пробегалась по бокам невидимыми пальцами и отзывалась где-то внутри.

Ныло сердце, голова была тяжелой и гулкой, но Лидия Никитична лежала, глядя на небо, и оно отражалось в светлых глазах, почти затянутых шторами из набрякших морщинистых век.

Старушка не знала, сколько прошло времени, прежде чем она дотянулась до коробки с лекарствами и принялась отсчитывать таблетки. Огромный плакат над кроватью приковал ее внимание, но читать в последнее время становилось все труднее и труднее — буквы разбежались в разные стороны, мешая составить фразу, поэтому пожилая женщина полагалась лишь на собственную память.

Добраться до кухни теперь стало настоящим приключением — переваливаясь с ноги на ногу, тяжело ступая на скользкий линолеум и держась рукой за стену, она шла шагком за шагком, никуда не торопясь. Ее маленькое королевство — бесценные газеты «Уральский рабочий», которые она раньше выписывала на работе и читала от корки до корки, собственная библиотека из множества старых книг... Что-то блеснуло под ногами, и Лидия Никитична с трудом склонилась, подбирая маленький прозрачный попрыгунчик, в котором застыли разноцветные мерцающие пылинки.

Постояла, глядя на него сквозь солнечный свет. Улыбнулась сморщенными губами. Сердце продолжало немного ныть, но голова стала гораздо яснее. Слабость во всем теле едва давала сдвинуться, но старушка никуда ведь не торопилась, так?..

В холодильнике обнаружили яблоки — крупные, красные, с восковыми боками. Лидия Никитична вгрызлась желтоватыми пеньками зубов в сочную поверхность, и по подбородку потек сладкий сок...

Присев на кособокий табурет у окна, женщина продолжила грызть яблоко, едва чувствуя, как дрожат губы

и подбородок. Устроив полные белые локти на подоконнике, старушка вгляделась в заснеженную улицу. Весна только-только пробиралась в город, пригибаясь и прячась в подворотнях, но в форточку уже закрадывался сладковатый свежий запах скорого пробуждения мира...

Положив огрызок на какую-то тарелку, Лидия Никитична задвинула ее подальше, опасаясь, что дочка придет и снова выбросит всё в мусорное ведро. Все ее сокровища, ее добычу, вещицы, радующие безмерно и бесконечно. В последнее время пожилая женщина все больше и больше боялась визитов родных, стояла у них над душой, покачиваясь от слабости, контролируя, чтобы ничего не выбросили.

Они не понимали. Не чувствовали ее...

В голове воцарилась блаженная тишина. Ни мыслей тебе, ни беспокойств, ни тревог и волнений, ни бешеной гонки жизни. Тихо. Хорошо. Спокойно. За окнами бегают мальчишки и девчонки, сдернувшие надоевшие за зиму шапки — швыряются снежками, хохочут звонко и залиvisto, а теплый взгляд Лидии Никитичны скользит по их маленьким фигуркам.

Прохожие спешат по делам, проносятся глянцево-машины, карагач под окнами стоит в убранстве из сосудов. Свежесть льется сквозь форточку и щекочет белый пух седых волос на голове у старушки.

Ей хорошо. Легко. Спокойно.

В замочной скважине скребутся ключи, но старуха ничего не слышит. В этом тоже есть своя прелесть — никаких надоедливых звуков, крикливых соседей, шумных ремонтов и разрывающей тишину музыки... Она видит мир чуточку нечетко, лучше и красивее, да и слышит точно так же.

— Бабушка! — кричит в прихожей Лидка, помня про севший слух. Останавливается, стягивая с шеи колючий шарф, вынимая из рюкзака пакет с апельсинами, иррадирует светлым бабушкин силуэт на кухне. Белоснежная, необъятная, она напоминает тесто в кадке.

Только вот слепить из этого теста уже ничего нельзя.

— Бабушка, — девушка заходит на кухню, стараясь не глядеть на выросшие руины из мусора и хлама, чувствуя лишь каждой клеточкой поселившуюся в квартире кислую и затхлую вонь. Спустя полчаса Лидке, напоившей бабушку лекарствами, предстоит схлестнуться с грязью, завоевавшей квартиру, но пока это лишь маячит впереди, а о плохом думать никогда не хочется.

— Бабушка! — стучит легонько по холодильнику слева от силуэта, и старушка вздрагивает, оборачиваясь. Секунда — и в ее пустых водянистых глазах вспыхивает узнавание, лицо расцветает улыбкой.

— Внучка, лапушка! — бабушка тянет бледные дряблые руки к девушке, прижимает ее к себе, целует мочкрыми губами в лоб и щеки. Лидка смеется, убирает торчащую прядь светлых волос со сморщенного лица, присаживается рядышком на корточки.

— Как дела? — спрашивает она у бабушки, глядя ее руки. От старухи пахнет потом, чем-то кислым и терпким (мама редко вынуждает ту залезть в небольшую ванную и вымыться), но запах этот — из детства, и девушка от него даже не морщится. Она знает, что все люди неидеальны. Она помнит бабушкин портрет в спальне — острые скулы, высокие черные брови, красивые светлые глаза.

Детское восхищение бабушкой давно прошло, на место ему пришли бесконечная горечь и забота, словно за малым ребенком, сожаление и меланхоличная светлая грусть. Принятие похоже на маленькое чистое счастье. Иногда, когда ничего изменить уже нельзя, остается лишь тепло улыбнуться и просто быть рядом.

Держа липкие от сладкого яблока руки в своих ладонях, Лидка гладит их и улыбается, глядя бабушке в лицо.

— Дела? — старушка морщится, вспоминая слова, шевелит тонкими губами, морщится, вглядываясь в застывший идеалистический пейзаж за стеклом. Бегают с гомоном и хохотом дети. Сыплются вниз стеклянные сосульки. — Дела?.. Лучше всех!

— Я очень рада, — смеется немного преувеличенно Лидка и обнимает бабушку за плечи. — Что, пойдём пить таблетки?..

Лидия Никитична улыбается и гладит полными руками спину внучки. Ей так нравится обнимать их, дочку и внучку, слушать рассказы про их суматошную жизнь, смотреть в родные глаза, порой вспоминать что-то едва уловимое, но такое теплое и приятное...

Она улыбается и будто светится изнутри, несмотря на чумазные ладони и намертво въевшийся несвежий запах. Кажется, что даже сердце перестает ныть на мгновение.

Для счастья ей ничего больше и не надо.

Поклонение луне

Луна. Она светится слишком ярко. Она слепит меня. Я вижу ее и с закрытыми глазами.

Я вижу ее ночью и днем, утром и вечером.

У нее то живое лицо, то мертвый синий череп; она катится передо мною то горячим блином, то медной сковородкой, то алым апельсином, то золотой тыквой; у нее то детский затылок, то святой и светлый, как на иконе, нимб, то круглый беременный живот, то мокрая, вся в слезах, щека.

Круглое, горячее, ледяное. Катится и крутится. Мимо, мимо.

Недвижно стоит в живой черноте.

Звезды — рой белых пчел, россыпи алмазов на черном бархате? Дудки. Звезды — белые черви во мраке земли, черви, что питаются вчера еще живым, нынче уже погребенным. Белые черви-звезды съели моего отца. Моих деда и бабу. Всех моих предков. Они съели тысячи поколений, прошедших по земле живыми ногами до меня.

Мои ноги живые. Они идут. Они еще идут. Они идут по стылой осенней земле, и скоро зима, и луна высоко, гордо поднимает в ночи белое царское лицо над жемчужным ожерельем. Луна, ты царица, а я твоя холопка. Я пройду и уйду, а ты будешь светить и катиться во тьме. Я кутаю холодное лицо в меховой воротник. Я закрываю нос старой варежкой. Я гляжу в пустые глаза луны и бормочу: я скоро уйду, а ты будешь лить белое молоко свое на мой заброшенный в снежных полях крест, на могилу мою? Дети зароят меня, выпьют на поминках и забудут в делах своих; внуки не придут, не приедут — они будут

жить в других странах, для них Россия станет книгой, сказкой, картой в атласе. Ты, моя родная, ты одна останешься у меня.

Все говорят — ты мертвое небесное тело. Нет! Ты живая.

И я еще у тебя пока — живая.

Мы обе с тобой живые.

Она стояла высоко над моей головой, когда я еще лежала в коляске. Мама, качая легкую летнюю коляску, показывала рукой вверх, на вечеряющее зеленое небо, тихо и весело говорила: «А вот луна, Леночка, это луна!» Я, младенец, тянула за нею послушно: «Луня-а-а-а». Я рано научилась говорить. Очень рано. Тогда, когда младенцы еще не говорят, а только сосут сиську матери.

Потом мама прикатывала меня в коляске в старый дом, осторожно вынимала меня из коляски, развязав холщовые ремешки-змейки, и сажала на диван. И я смотрела, как мама моет и режет крупные красные помидоры, и режет селедку, и чистит картошку. И разглядывала стены комнаты, и водила пальцем по грязным обоям, по мелким розочкам и круглым, с зазубринами, листьям.

Тысячелетие спустя, когда я выросла и помнить не помнила, в каком городе, при какой власти, в какое время мы жили — и как выжили, — я описала маме рисунок обоев, эти розочки с шипами, эти листики и лепесточки, и она всплеснула руками и воскликнула: «Боже мой! Боже мой! Неужели ты помнишь? Точно такой рисунок! Боже мой, но тебе же было тогда полгода отроду! Я тебя еще грудью кормила! Ты просто не можешь помнить! Так не бывает!»

...в жизни всегда бывает все не так.

В жизни всегда все: «Так не бывает».

И жизнь проходит, и вот ее уже нет — как не бывало.

...и та луна растаяла, как и не бывало ее.

Но я ее помню. Помню.

Красно-рыжая, с апельсиновой коркой, медленно катилась она по небу, по жаркому степному небу, в степном волжском городе, где мы жили тогда; а внизу копоши-

лись люди, колобками катились по сонному городу, выжженному дотла дневной жарой, все молились, чтобы скорей пришли вечер и прохлада, — и появлялась луна, ее золотой глаз насмешливо возгорался над умирающим от жары степным становищем, и луна смотрела на молодую черноволосую, смуглую, как цыганка, чернобровую женщину с ребенком, сидящую в городском сквере; женщина смотрела на маленькие наручные часики — она следила за временем, она гадала, не пора ли домой, — а дома было пусто, дома мужа не было, он был художник и вел свободный образ жизни, он шатался по ресторанам, по выставкам, по мастерским друзей, выпивал там с друзьями и закусывал, смеялся и обнимался с красивыми женщинами, — а жена его сидела с малюткой-дочкой в городском сквере, и она была спокойна, и спокойней небесной луны был ее смуглый лик. И она в последний раз взглядывала на часы, а потом поднималась и медленно, царственно шла, катя перед собой коляску с девочкой — ее гордостью.

И девочка поднимала лысую головенку, закутанную в кружевной чепчик, прямо к небу, поднимала ручки с маленькими пальчиками-червячками, видела луну и радовалась ей, как спелому апельсину, тянула ручки выше, еще выше, будто хотела ее достать.

И девочка пела, пела тоненьким голосом котенка, мяукала:

— Луна-луненька-луна-а-а-а!.. Луна-луненька-луна-а-а-а!..

И суровая мимохожая бабка, оцениваяюще глянув на чудесного младенца, играющего в коляске с живой лунной, бросила в спину матери:

— Поэтессой будет.

«Мама, мама!.. Мне сказали — она будет поэтессой!.. Наверное, цыганка сказала, гадалка... А может, бессарабка... У нее волосы такие... сизые, синие, и глаза как маслины... Пристала к нам на улице...»

«Ах ты батюшки!.. Поэтессой... Нехорошо... Поэтессы все — синие чулки... Это плохо, очень плохо... Будет мы-

тарствовать, голодать... Не знать будет, как прокормиться, как двум курицам зерно дать поклевать... Ах, горько...»

«Да она рифмует!.. Она что-то такое поет про луну... что-то такое чудесное!..»

«А ты не запомнила, доченька?..»

«Нет... Не запомнила... Но что-то очень красивое...»

Моя бабушка и моя мама тихо говорили обо мне. И я все понимала, что они говорят.

Их руки медленно летали над столом, наливали из кувшина молоко в белые чашки, раскладывали сугробы творога по тарелкам, отрезали от солнечного лимона тонкие прозрачные круги.

А на землю с небес падала ночь.

И глубокой ночью в дом пришел отец девочки. Высокий, с пухом золотых волос вокруг просвечивающей сияющей, как нимб, лысины, подвыпивший?.. нет, изрядно пьяный, качался, как маятник, на длинных ногах еле стоял, — в светлом костюме, в галстук-бабочке, как денди, как фронт столичный, ох и любил он пускать своей столичностью пыль в глаза в степном провинциальном городишке: в Академии художеств учился, у самого Грабаря в мастерской, у самого Иогансона!.. краски на палитру перед самим Николаем Ромадиным выдавливал!.. — и рукав чесучового костюма был испачкан в красной масляной краске — шматок краплака или, быть может, кадмия красного. А жена подумала, что это кровь, и, глядя на рукав, тихо заплакала. И отвернулась к окну, чтобы не показать пьяному мужу слез.

А он силком повернул ее к себе. И бухнулся перед ней на колени. И покрыл колени поцелуями, и руки ей целовал, и говорил: прости, прости, чернушечка моя, прости!.. последний раз я так налакался... но такая выставка была... и такие друзья собрались!.. из Тбилиси приехали, Алеша Вепхадзе, любимый мой, обожаемый грузин, и Володя Корбаков из Вологды, и Рустам Яушев из Москвы, и... да много там всех собралось!.. без счета!.. такой банкетнице закатали!.. и там я был, и мед я пил, у моря видел дуб

зеле-о-о-оный... И все целовал ее, целовал, а она все отворачивала лицо.

А девочка спала в маленькой кроватке с прутиками, чтобы на пол не вывалиться. Кроватку ей папа сделал. Сам смастерил.

Ее папа пил слезы со щек ее мамы.

Ее мама простила папе эту пьянку. В который раз. В последний раз.

Не в последний раз.

Сколько еще она будет прощать... сколько...

Девочка не слышала ничего, спокойно спала, потом вдруг проснулась.

Она проснулась оттого, что в окно глядела луна.

Она глядела строго и пристально. И пугающе.

Страшно глядела она.

И была она не золотая, как апельсин, как всегда, а ярко-синяя, мертвенно-серебряная — оттого, что взошла высоко, выкатилась почти в зенит, — и с ее белого лица темно и страшно смотрели вниз, на мир людей, темные глаза, пустые безводные глазницы. Что видела она? О чем думала?

Девочка села в постели. Папа с мамой лежали, обнявшись, на кровати. Папа был в одежде, а мама была в ночной рубашке, и ее голое плечо светилось во тьме в мертвенных лучах луны. Девочка смотрела на родителей: они были как две рыбы, лежащих друг на друге в корзинке. Ей показывали такую корзинку с серебряными рыбами — их принесли с Волги рыбаки, и мама купила всю корзинку, всю, давала дядькам-рыбакам маленькие кружочки и шуршащие бумажки из своей сумочки. Это называлось — «купить».

А луна, луна-то была как круглая серебряная денежка из маминой сумочки, девочка расстегивала крючок на сумке, вытряхивала денежки и играла с ними, играла, как с рыбьей чешуей... Да они и были — рыбья чешуя, только твердая и холодная... Или, может, это была чешуя дракона. Про дракона ей рассказывал старый дядя Иван Николаич — у них мама с папой снимали малень-

кий домик, где они жили. «Жили» — означало: ели, пили и спали. И каждый день мама выходила с ней из домика на улицу. Много людей, еще много неподвижных драконов с шумящей листвой (они назывались «деревья»), много железных повозок, выпускающих вонючий дым (они назывались «машины»), много птиц в небесах — они рассыпались в горячем небе внезапно, как крошки хлеба, будто чья-то огромная теплая рука подбрасывала их...

И вдруг луна спустилась ниже.

И вдруг — еще ниже.

И вдруг она подкатилась прямо к окну — и ее широкое лицо прижалось к стеклу окна, заглянуло в комнату, и девочке стало страшно и хорошо, как тогда, когда папа подбрасывал ее вверх, к потолку, играя с ней.

— Луна-луненька-луна, — сказала девочка одними губами, — ты пришла, чтобы взять меня к себе? С собой?

И луна тоже разлепила губы. Они у нее были сморщенные, старые, все в оспинах и трещинах. С ее седых волос стекали звезды. Ее пустые глазницы обжигали.

— Нет. Рано. Еще рано. Ты еще только родилась на свет. Ты должна жить. Ты будешь долго жить. Долго. А потом я все равно возьму тебя к себе.

— Долго? Что такое — долго жить? Долго есть? Долго спать? Долго гулять? Долго... что такое?..

И луна улыбнулась. Не улыбнулась: оскалилась. Так скалится череп. Девочка никогда не видела череп человека, но она все равно испугалась серебряных, голых зубов.

— Долго — это совсем мало, — беззвучно сказала луна. — Долго — это один миг. Но за этот миг ты успеешь все перечувствовать. Все передумать. Всех перелюбить. Всех перененавидеть. Со всеми сразиться. Со всеми помириться. Все простить. Во все поверить. Во всем извериться. Все понять. Все забыть. От всего устать. Всех покинуть. И в конце — лишь к одному-единому протянуть руки. Сморщенные, старые, дрожащие руки.

— К чему — протянуть?..

— Ко мне. Ко мне одной.

И девочка протянула руки к плачущему лицу луны. И тоненько заплакала:

— Не плачь! Не плачь, милая луненька-луна! Я с тобой... Я с тобой! Может быть, я — твоя дочка! А не мамина! Может, это ты меня моей маме сбросила с неба... Я летела долго, долго... и мама меня подхватила, схватила крепко! И к сердцу прижала! И я у нее родилась! Но ведь ты — моя настоящая мама... Да?! Правда?! И я все равно уйду к тебе... Я приду к тебе все равно, не плачь!

Луна, прислонив тяжелое, мощное лицо к окну, истекала черной кровью высохших тысячелетия назад слез. Она плакала вместе с девочкой.

Но стекло, прозрачное стекло стояло между ними преградой.

— Возьму тебя, — прошептала луна. — Подожди.

— Хочу обнять тебя! — плакала девочка.

— Долго ждать... Сейчас нельзя...

— Хочу сейчас! — плакала девочка.

И луна сказала:

— Закрой глаза. Все произойдет.

Девочка закрыла глаза. Она почувствовала, как в комнату входит женщина в белых холщовых одеждах, длинных, юбка пол метет, кофта вроде мешка, и берет ее из кровати на руки. Девочка ощупывает ее лицо, голову. Холщовый балахон хорошо, свежо пахнет. Он пахнет небом и звездами. У женщины холодное, как лед, лицо, восковой нос, мраморный подбородок. А шея — внезапно — горячая, как костер. И девочка целует этот огонь, обжигает об него губы, щеки. И плачет еще сильнее, еще неудержимей. А женщина несет ее к окну. И окно внезапно распахивается, и они обе — женщина с девочкой на руках — вылетают в окно, в синюю жаркую, степную ночь, и летят над городом, потом над Волгой, блестящей под луной, как огромная серебряно-розовая рыба, потом над степью, над лесами, над деревнями — слышно, как в сараях кричат петухи, видно, как горят окна в избах и рыбацкие костры близ рек и озер, — над всей широкой ночной землей несет жен-

щина девочку, и у девочки закрыты глаза, но она все видит.

И она слышит, как женщина говорит — будто изнутри нее, будто это говорит она себе сама:

— Широкий мир хорош и прекрасен. Ты можешь прожить в нем тысячу жизней. Ты можешь верить в нем во всех богов. Ты можешь жить в одном времени и в другом, в сотом и в тысячном, и везде ты будешь — ты. Ты сама. Ты одна. Широкий мир — это твой простор. Люби простор. Целуй его сердцем. Когда ты вырастешь, ты станешь женой простора. Тебе не страшно? Летим дальше?!

— Да, да, дальше летим...

Маленькая ручка цепляется за горячую, сильную, со вздувшимися жилами, шею женщины. Обе женщины — большая и маленькая — летят в широком небе над спящей землей.

И простор, ее будущий муж, видит ее.

Маленькую свою невесту, несмышленного грудничка.

Видит — и радуется: хорошую жену ему луна родила. Хорошую: с сердцем, полным любви.

Что же она так горько плачет на руках у луны, что так рыдает? Что не успокоится никак, маленький слепой котенок?! Ну хватит уже, хватит, хватит...

Ночное небо покатилося на них черным, тяжелым занавесом.

И стали они, женщина и ребенок, стремительно падать к земле.

И, пока они падали, старик Простор протянул женщине в балахоне бутылку огромную из темно-зеленого стекла, и она схватила бутылку и отпила из нее, и дала глотнуть девочке. И девочка отхлебнула сладость невозвратную! Пьяные звезды взорвались в головенке, живот расколотой дыней покатилося, волосы иголками воздух прокололи...

Мать зашевелилась. Рубаха сползла с ее плеча. Грудь обнажилась. Простыни сбились в комок. Отец крепче обхватил ее, зачмокал во сне губами.

Ни на матери, ни на отце не было нательных крестиков. Они оба еще детьми были крещены во Христа, но крестиков никогда не носили. Нельзя было: церкви закрывали и взрывали, в кафедральных соборах хранили картошку, в деревенских храмах лошадей держали, священников сажали в тюрьмы, над Богом смеялись.

Мать прислушалась. Девочка хныкала в кровати. Мать привстала на локте. Прищурилась: нет, из кровати не выпала, плачет, видно, во сне. Призрак кровати в темноте... призрак иконы на стене... призрачно белеющие простыни, наволочки, доски стульев, безумная россыпь райских цветов на обоях... Райский сад. Эдем. Помидоры, недоеденные в миске. Холодная картошка в чугуне. Старая мать раскатисто, вкусно храпит в гостиной, через тонкую стену слышно. Смутно белеет, плывет сторбленная фигурка: ее дочь сидит в кровати, рыдает... голодная, что ли?.. Неужели вставать, среди ночи ребенка кормить?.. А грудь набухает молоком, грудь поднимает, подпирает рубаху, грудь бьется, томится... жить, жизнь, живое...

Отчего-то матери захотелось перекреститься.

И она неловко, будто стесняясь глядящей в окошко луны, перекрестилась — быстро и нежно, невесомо, еле слышно. Призрачный крест. Сонная молитва.

Отец сильнее обнял ее. Положил ногу ей на бедро. Он был пьян и уснул одетый.

Мать осторожно выпросталась из-под него и стала тихо раздевать его, и осторожно, медленно клала его одежду на стул: вот пиджак, вот светлые чесучовые брюки, ах, испачканы все, надо стирать, — вот рубашка с винными пятнами, а ведь красивая, новая, — и галстук-бабочку через голову стащила, не смогла расстегнуть, — и когда он остался в одних трусах, она залюбовалась его загорелым сильным рослым телом, в буграх и пластинах мышц: прежде чем стать художником, он был моряком, он умел прыгать с вышки, вот недавно прыгнул, тоже подвыпивший был, не рассчитал, падал вниз животом, мог бы разбиться насмерть, да ловко повернулся в последний миг,

упал боком, синяк потом был — во весь бок... — она любовалась им, мужем своим, и плакала от горя, что вот он пьет, от счастья, что он такой красивый и любимый ею, от боли, что ничего нельзя сделать, остановить жизнь, остановить время. Что суждено впереди? Что будет с ними со всеми? Что их ждет? Война? Мир? Кем станет ее дочь? Сумасшедшая прохожая старуха вон сегодня сказала — поэтессой... Только этого не хватало... Поэты все нищие... и безумные...

А девочка все плакала в кроватке, вцепившись руками в ее деревянные ребра, все плакала горько, неутешно. И луна пила несоленые слезы с ее круглого, маленького, искаженного плачем мокрого лица.

Обручальные лучи

Солнцевич сидел на берегу озера и лепил из воды облака. Делал он это очень просто: опускал руки в воду, она сразу закипала, пузырилась. Солнцевич ловил пар и рождал из него фигурки зверей: вот ожил Слон, появился одногорбый Верблюд, Заяц поплыл по небу.

Недалеко — в тени огромного дуба — прятался старичок. Стараясь не мешать светилу творить, он ожидал паузы.

— Ты чего? — заметив гостя, Солнцевич протянул руку для приветствия. Старичок от рукопожатия воздержался.

— Я тут с недавних пор, — смущенно улыбнулся старик, — голову потерял.

— ...и, — ждал продолжения Солнцевич.

— Забыл! — Старик торопливо полез в карман, вынул бумажку, прочитал, изумился. — Меня зовут Мухоморыч.

— Это я знаю. Читай дальше.

Старик, отмечая строку, повел ногтем по бумаге.

— Понимаешь, у нас расцвела, вернее, выросла новая Поганка. Прекрасная, удивительная! Голова — во!.. — Мухоморыч широко раскинул руки. — Фигура — во!.. — старичок, показывая достоинства любимой, выставил тонкий скрюченный мизинец. — Кривая! Косая! Сама бледно-пребледная, а по краям синяя! Я такой красоты век не видывал! По голове меня погладила...м-м-м — я обалдел! Околдовала она меня так, что имя свое забыл, — мечтательно закатил глаза Мухоморыч.

— И поэтому ты пришел?

— Ну да.

Солнцевич недовольно дернул плечами. У него, как у единственного светила земли, забот невпроворот. А тут! Попрощавшись с Мухоморычем, он направился к дому.

Мухоморыч расстроился. Нахлобучив мухоморную шляпу на лысину, он неожиданно попросил.

— Успокой меня, пожалуйста.

— Чай, кофе? — проявил радушие Солнцевич.

Старичок обжегся кипятком, обиженно надул губки и засопел.

— Она... это... тут, недалеко.

— Кто? — удивился Солнцевич.

— Так Поганка моя, с нашими детками — опятками.

Солнцевич уже не злился, он покатывался от хохота: голова откинута назад, из горла выскакивало протяжное кудахтанье...

— Ё-мое... говорят, смех продлевает жизнь. Я с тобой на пять тыщ лет помолодел... уф!

— Пеньки неудобный вид транспорта. Вовсе старость не уважают.

— Подожди, подожди, какие пеньки? Ты говоришь, у вас с Поганкой родились опята? — все-таки не вытерпел Солнцевич. — Получается... ерунда получается.

— Никакая не ерунда, очень хорошие опята получаются, — возразил Мухоморыч.

— Не могу поверить, — прикрыл глаза Солнцевич. — Ты мне объясни, как Мухоморыч может сеять опята?

Ухмылка на лице старичка сменилась испугом: ему показалось, что таким вопросом его пытаются оскорбить или просто поставить в тупик. Проявив не свойственную его годам резвость, Мухоморыч привскочил, воскликнул:

— Так ведь талант! Куда его девать? Прибавь сюда трудолюбие, удачу, любовь к Поганке. Такая гремучая смесь чё хошь сотворит.

Солнцевич тяжело вздохнул.

— Надеюсь, опята ложные?

— Чего вдруг? Не... у нас с Поганкой все по-настоящему, по обоюдному желанию. Токо мы с ней к тебе за помощью.

Солнцевич улыбнулся:

— Да вы, похоже, и без меня хорошо справляетесь.

— Ну да. Меня Поганка словно зельем одурманила, я все на свете забыл, помню только, что вопрос очень серьезный, — умоляюще заглядывая светиле в глаза, простонал Мухоморыч, потом зачитал: — Нам бы повенчаться.

— Так в чем дело? Венчайтесь, — не понял проблему Солнцевич.

Дед вздохнул:

— Все отказываются. В мэрию ходили, в сельсовет, профком. На тебя вся надежда! — Брови на лбу деда соединились домиком.

— Делать мне больше нечего? — возмутился Солнцевич.

— Пожалуйста! — бухнулся дед на колени.

Солнцевич бросился помогать деду встать.

— Не, не. Не надо, — испугался дед. — Я ж сгорю... от страсти к Поганке.

— Где твоя Поганка? — сдался Солнцевич.

Надо было видеть реакцию Мухоморыча. Он вскочил, резвым скакуном подбежал к дубу и выволоч оттуда смущенную Поганку.

— Я знал, что у тебя на нас хватит тепла, — без конца кланялся он светилу.

— Ты согласна? — улыбнулся Солнцевич невесте. Та кивнула, спряталась за спину Мухоморыча. — Ну и дела!

Солнцевич сходил в дом, принес бархатную коробочку. На алой подушке обручальными кольцами лежали два луча солнца, переплетенные в вечном союзе согласия.

— Дети мои, объявляю вас мужем и женой! — торжественно произнес Солнцевич. — Живите в мире. Во веки веков.

Новобрачные обменялись кольцами, и, как это обычно бывает в сказках, во время поцелуя старик помолодел, Поганка стала красавицей, а их дети, рожденные в любви, никогда не были ложными опятами.

Содержание

От составителя (<i>Надежда Ажгихина</i>)	3
<i>Светлана Василенко</i> . Мама и парад Победы	5
<i>Нина Горланова</i> . Детеныш Ксюха	33
<i>Наталья Рязанцева</i> . Моя Украина	40
<i>Саша Николаенко</i> . За минуту до счастья	48
<i>Татьяна Набатникова</i> . Бабушка в командировке	58
<i>Аглая Набатникова</i> . Первенец	69
<i>Ксения Драгунская</i> . Ложь во спасение	72
<i>Лидия Григорьева</i> . Отец Александр	75
<i>Ирина Горюнова</i> . «Дядю мыть надо»	83
<i>Надежда Ажгихина</i> . «Разбитое сердце»	87
<i>Ирина Витковская</i> . Растащица	106
<i>Раиса Белоусова</i> . Недокормыш	117
<i>Мария Брегман</i> . Челновая	118
<i>Светлана Мосова</i> . Капут муртуум (уроки жизни)	128
<i>Арина Обух</i> . Мы когда-нибудь перестанем об этом говорить, но не сегодня	131
<i>Наталья Биттен</i> . Скоро он придет	142
<i>Нина Ягодинцева</i> . Тысячелистник	146
<i>Юлия Калинина</i> . В любой непонятной ситуации вспоминай маму	159
<i>Надежда Васильева</i> . Чаша сия	169
<i>Ольга Харламова</i> . Рецепт моей бабушки (из серии «Хроники девяностых»)	180
<i>Вера Линькова</i> . В сумерках английской королевы	183
<i>Рада Полищук</i> . Продается мать	196

Содержание	399
<i>Юлия Беломлинская. О чем мечтает туннельная крыса</i>	211
<i>Дарья Александер. Одна девочка</i>	227
<i>Ирина Цхай. Тэги</i>	233
<i>Галина Щекина. Хороший знак</i>	238
<i>Александра Полянская. Строгая мама</i>	246
<i>Светлана Смирнова. На разных языках</i>	248
<i>Анна Парижская. Считалочка</i>	251
<i>Елена Бажина. Шапка</i>	253
<i>Светлана Забарова. Отражения</i>	268
<i>Наталья Якушина. Хочу быть нормчелой!</i>	277
<i>Ирина Львова. Бабье лето</i>	283
<i>Александра Свиридова. Помидоры из Херсона</i>	291
<i>Елена Громова. Зеленоглазое такси</i>	307
<i>Ольга Постникова. Малышка</i>	313
<i>Наталья Оуэн. Хорошая девочка Лида</i>	322
<i>Татьяна Парусникова. Наденька и Зина</i>	330
<i>Юлия Линникова. Заговоренная голубика</i>	339
<i>Ольга Аникина. Полчаса, чтоб отдохнуть</i>	344
<i>Ольга Дарфи. Черный вход однажды захлопывается</i>	350
<i>Галия Мавлютова. И подарил Бог зеркало</i>	356
<i>Ирина Родионова. Старушечье счастье</i>	372
<i>Елена Крюкова. Поклонение луне</i>	385
<i>Саня Шавалиева. Обручальные лучи</i>	395

Литературно-художественное издание

ДОЧКИ-МАТЕРИ
Сборник женской прозы

Редактор *В. С. Кизило*
Дизайн обложки *Екатерина Арт (Омельченко)*
Корректор *М. Л. Куракина*
Верстка *Л. В. Васильева*

Подписано в печать 29.11.2019. Формат 60 × 90¹/₁₆.
Печ. л. 25. Тираж 1000 экз. Заказ № 2814.

Отпечатано в типографии ООО «Контраст»
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 38, лит. А